

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
А. Н. Тимофеев (Москва)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Михаил Косарев
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Дмитрий Рябов
начальник отдела общественно-политической жизни

Елена Богданова
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая
Верстка: О. Н. Вялкова

6/2021

Содержание

ПРОЗА

Виталий ЛОЗОВИЧ. За духов неба и тундры! Повесть.	3
Роман ГОРЕПЁКИН. Кошка с пулей в голове. Рассказ.	21
Татьяна КЫРОВА. Завиток. Рассказ.	48
Николай ЛЕУШЕВ. Отец. Рассказ.	55
Татьяна РОМАНОВА. Наперекор. Рассказ.	74
Андрей КОРОЛЕВ. Ночной футбол. Рассказ.	79
Владислав ОГАРКОВ. Листья. Короткие рассказы о природе.	91
Ольга ДРОБОТОВА. Не жмись! Рассказ.	104

ПОЭЗИЯ

Алексей ИВАНТЕР. Образок в конверте. Стихи.	42
Тихий улов. Андрей НОВИКОВ , Олег МОШНИКОВ , Надежда ГЕРМАН , Андрей КУЛЮКИН , Анастасия СКОРИКОВА . Стихи.	70
Святослав МИХНЯ. «Грозовой сгустился свет...» Стихи.	88

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Геннадий ПРАШКЕВИЧ. Архипелаг исчезающих островов. <i>Поиски литературной среды и жизнь в ней. Окончание.</i>	123
--	-----

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Николай ЗАЙКОВ. «Оттепель». Эпизоды детства. 1957—1961. Часть первая.	152
Кристина ГОРТМАН. Телега с культурой и искусством.	181

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

Любовь Лазарева: детский взгляд на взрослый мир.	188
--	-----

<i>Авторы номера</i>	191
---------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Виталий ЛОЗОВИЧ

ЗА ДУХОВ НЕБА И ТУНДРЫ!

П о в е с т ь

В середине десятых годов нашего века в феврале под Воркутой случилась беда. В полусотне километров южнее города бригада оленеводов перегоняла стадо оленей через железнодорожный путь. Стадо большое — сотни голов. Животные выходили на насыпь не спеша, озирались по сторонам, хоркали носами да принюхивались, выискивая на земле корм. Олени, в отличие от коров, идут сами, подгонять их невозможно. Кнутом здесь не пощелкаешь.

С юга в это время полным ходом шел порожний товарняк — шестьдесят вагонов под уголь — на обогатительную фабрику Воркуты. Утро выдалось мгlistым, светало медленно, видимость была метров пятьсот.

Когда машинист тепловоза заметил на путях стадо оленей, то вначале даже не понял, что происходит. Потом понадеялся, что оленеводы отгонят животных с путей. Потом начал тормозить... Но время было потеряно.

Олени переходят дорогу не поодиночке, не волчьей вереницей, а бок о бок, гурьбой. На свистящих тормозах, на скорости семьдесят километров в час двухсоттонный тепловоз врезался в стадо, словно грузовик в курятник. Первые десять оленей тут же взвились в воздух и, пролетев метров сорок над тундрой в разные стороны, упали в снег, хоркая горлом, дрыгая ногами, истекая кровью. За ними последовала другая партия, что переходила дорогу чуть в стороне, выстроившись в ряд, и была еще больше. Словно мягкие игрушки взлетали вверх и там уже разрывались на части, забрызгивая снег красными кровяными пятнами...

Когда состав наконец остановился, в тундре стоял хрип умирающих животных. Погибло около сотни оленей, примерно десятая часть стада.

На место происшествия прибыли представители прокуратуры, следственного комитета, полиция. Ходили по путям, по снежной целине, считали убитых животных, определяли, можно ли было избежать столкновения, что-то там еще... На другой день оленеводы стали собирать куски



туш, что годились в пищу, но уже к вечеру в тундре пошел снег, подул ветер, и в метельной кутерьме подбирать убитых животных стало невозможно.

А через сутки с Баренцева моря в Воркуту пришла пурга. Настоящая, с оттепелью. Снег валил крупный, мягкий и влажный, прилипал ко всему, с чем соприкасался. Два дня город жил в белоснежном хаосе. Потом все утихло.

Утром на пару часов вышло солнце. Было воскресенье. Проснувшись, воркутинцы увидели привычную картину — город засыпало. Вместо дорог и тротуаров образовались сугробы, в которых уже темнели проторенные тропинки, а на месте парковок во дворах высились снежные холмики, скрывшие частные автомобили.

Савелий Гирский, сорокалетний мигрант с Украины, работал в Воркуте водителем КамАЗа. Возил на отсыпку шахтную породу там, где прокладывали трубы газопровода, что тянулся с полуострова Ямал через Байдарацкую губу, потом на юг через Воркуту и всю Большеземельскую тундру, а там уже поворачивал на запад.

В Воркуте Савелий жил десять лет. Купил квартиру, благо жилье здесь оказалось недорогое. Сменил несколько профессий: был шахтером, экспедитором, штукатуром-маляром, каменщиком... Шахтером долго не выдержал: парни там что надо, но темно внизу, под землей. Тесно в шахтных выработках. Не для него. Экспедитором — просто не смог: побоялся, что воровать начнет. На всякие малярные краски — аллергия пошла. Вернулся к шоферской работе. У себя на Украине, в Полтаве, Савелий не один год проработал водителем тяжелого грузовика, потому и здесь его взяли без особых вопросов.

Через пару лет, как обустроился, Савелий съездил в Полтаву, женился на красавице Наташке, увез ее на Север дальний, в Россию. Наташка вначале ершилась, но потом, быстро взвесив по-женски все «за» и «против», поняла, что будущим детям лучше в пурге, да накормленным, чем в теплом украинском раю, да с неизвестностью — а что там завтра.

Дочка родилась. Назвали Оксаной. В квартире стало тепло, уютно. Еще через два года родился сын — Володька. Наташка собралась было его в метрике записать по-украински как Володимира, но Савелий сразу пресек эти попытки, заявив:

— Вот еще, будешь здесь дурью маяться! Чтоб смеялись над пацаном? В России живем.

А жить в Воркуте было непросто. Частных хат и деревенских дворов здесь не было. Куры не квохтали, как на родной Украине, петухи по утрам не пели, собаки по ночам не брехали на чужих. Так, орут да визжат иногда под окном молодые девки, да бранная речь изредка рвется снизу до третьего этажа стоквартирного дома, где поселились Гирские. Зимой темно с ноября по февраль, мороз под сорок, метели такие, что соседнего дома в тридцати метрах не видно. В воздухе не хватает кислорода, деревья не растут...

Савелий был человек прижимистый, склонный к накопительству. В общем, как любой порядочный да хозяйственный хохол. Пару лет назад купил он себе старенький снегоход, который то работал, то не работал. Прав на управление снегоходом у Савелия не имелось, да и ездить, в сущности, на нем было некуда. Так, катался по тундре недалеко от города. Все ждал, что случится раньше во время этих прогулок: снегоход сдохнет или гаишники рядом нарисуются? Зачем купил, сам не знал. Продавали задешево, вот и взял.

После случая со стадом оленей на железной дороге потянулись по Воркуте слухи, что туш этих резаных в тундре сейчас бесхозно валяется столько, что можно весь город накормить.

Безхозно? Как же так?! Разве можно, чтобы просто так валялось мясо! Если бесхозное, надо прибрать... к рукам. По-хозяйски.

И Савелий тут же засобирался в тундру на своем снегоходе. Быстро собрался. Только пурга стихла, сразу и покатил. Внеочередной выходной выпросил у начальника, пообещав тому кусок оленьей вырезки. Утром сказал пятилетнему сыну Володьке:

— Папа в магазин. Далекий магазин, за мясом. Будем сегодня строганину есть.

Мысль о дармовом мясе Савелия мучила давно. Когда прикупил снегоход, она сама собой всплыла. Товарищи по работе рассказывали, что недалеко от города иногда бродят всякие ничейные олени. Если с ружьем поехать... понимаешь?

Ружьецо, правда, как-то все откладывалось: времени не было проходить комиссию да курсы в полиции. А здесь такая удача! Это же просто дар небес — поезд задавил сотню оленей! Вряд ли оленеводы смогли собрать все мясо. Пурга два дня сыпала, прикрыла туши снегом. Надо срочно ехать и хорошенько поискать.

В гараже Савелий достал собственноручно изготовленные санки-салазки в полтора метра длиной. Они представляли собой обычный лист фанеры, спереди загнутый вверх по форме лыж, которые были намертво привинчены по бокам. Сверху салазок на рояльной петле сидела откидывающаяся часть, которая при необходимости увеличивала их длину до двух метров. Конечно, вид такого прицепа мог навести местных полицейских на всякие мысли... но, как говорится, не пойман — не вор! А на обратном пути Савелий пройдет до речки Воркуты и по ее руслу выйдет к городу со стороны ТЭЦ. Вечером народу там не так много. Можно проскочить. Дом-то Савелия на окраине города стоит.

День выдался так себе. Пурга только-только уgomонилась. Небо было хоть и в тучах, но не такое хмурое, как обычно перед непогодой. Солнца не наблюдалось. Намело много снега, он простирался по тундре свежими белыми языками от одного скопления кустов тальника до другого. Ветер практически отсутствовал. Снегоход Савелия шел легко.

На месте трагедии останков оленей, зарезанных тепловозом, практически не было. Кое-где валялись поломанные рога да оторванные копыта.

А так — пусто, снежно, и не более. Однако Савелий сдался не сразу и долго тархтел снегоходом вначале с одной стороны железнодорожных путей, потом с другой.

Своего оленя Савелий нашел метрах в ста от места столкновения. Тушу уже приморозило, пурга закидала ее снегом так, что виднелись лишь копыта. Рога были обломаны напрочь, голова разбита. Похоже, этот олень встретил тепловоз «лицом к лицу».

Савелий на всякий случай огляделся, достал небольшую лопатку, за три минуты откопал тушу и уложил ее на санки. Ноги оленя нелепо торчали. Савелий достал топор и прямо на снях обрубил голяшки с копытами. Развернул заранее приготовленный брезент, обернул им тушу, перевязал ее капроновым шпагатом, осмотрел со стороны — на что похоже? Долго смотрел, пытаясь понять. Наконец признал: только на тушу оленя и подходит.

Едва он тронулся в обратный путь, как задул ветер, началась низовая метель. Низовая метель — это не страшно. Ветер подхватывает снег, крутит его, но видно все на километр вперед. Задувало с запада. Неудобно, но терпимо. А Савелию сейчас даже выгодно: поменьше вылезет в тундру таких же любителей пожить в бесхозной оленьей. А может, позвонить напарнику Сашке, чтобы к Оленьсовхозу подскочил на грузовичке? Прямо в тундру в районе кладбища? Спрятали бы оленя за борта... Нет. Тогда придется напарнику четверть или даже полтуши отдавать. Обойдется.

О!.. Савелий похлопал себя по карманам. А телефон-то сотовый он дома в спешке позабыл. Вот дела! И ладно. Меньше будет соблазна напарникам всяким звонить. Главное — тихо добраться до дома. Довезти тушу без приключений и встреч с кем бы то ни было. Мама дорогая, это же теперь у него чистых полцентнера дармового мяса!.. Пятьдесят кило! Рублей четыреста за каждый килограмм. Это, если перемножить... Двадцать тысяч выручки!

Минут через тридцать Савелий вышел к ручью с обрывистыми берегами. По нему надо было пройти до речки Воркуты. На ручье мело поменьше: русло часто виляло и ветру негде было разогнаться.

«На речке тоже будет потише, чем в открытой тундре. Руслом пройти до ТЭЦ, потом — до стадиона “Юбилейный”, а от него еще триста метров дворами — и дома! В пурге и проскочу».

На очередном повороте Савелий остановился... и замер. Ему даже показалось, что и его «Буря» заглох от увиденного. Прямо перед ним, метрах в пятидесяти, из сугроба, наметенного в русле ручья, гусеницами вверх торчал вездеход. Большой, помятый, грязно-зеленый вездеход. Лежал он здесь уже около суток, судя по снегу, что успел осесть на гусеницах. Высокий обрывистый берег над упавшей машиной был весь изрыт и вспахан, словно там взорвали бомбу.

— Это как же тебя?.. — застыл от страха да изумления Савелий. — Прямо со скалы кувыркнулся?

Он подкатил ближе, слез с «Бурана», осторожно подошел к перевернутой машине. «Только чтобы без людей! — вдруг заколотилось от страха в голове. — Вездеход перевернулся, люди вылезли и ушли в город за помощью... Только чтобы без людей!»

Он склонился к водительской двери и крикнул:

— Живые есть?..

Никто не ответил. Слава богу! Савелий открыл дверцу — пусто. Заглянул глубже — и в сумраке вездеходного салона увидел торчащие в разные стороны копыта... А-а, вот как! Еще один любитель оленьего мяса! Савелий усмехнулся. Сколько же здесь туш? Штуки три?

Только он хотел влезть в кабину, как откуда-то из полутемного нутра вездехода раздался слабый хрип, потом стон... Савелий дернулся, словно туша оленя ему копытом под дых ударила. Всмотрелся в глубину кабины и увидел там скрюченного человека с намотанной на голову тряпкой.

— Ох ты йе-е-е! — вырвалось у него. — Ты кто? Эй, слышишь меня?

Пронзила страшная и холодная мысль: раненый!.. Да не дай бог!..

Быстро забравшись внутрь, Савелий разглядел человека. Парень как парень, лет тридцати, тряпка на голове оказалась полотенцем, насквозь промоченным кровью. К обеим ногам в районе голеней были привязаны по две небольшие доски, похоже, выполнявшие роль медицинских шин, — значит, ноги сломаны. Не удивительно: такой кульбит на вездеходе сделать с обрыва! Стоя на четвереньках, Савелий аккуратно подхватил парня под мышки, потянул на себя, к выходу, при этом елозя коленями по оленьим тушам.

— Мать твою, по мясу ходим! — выругался он.

Парень опять застонал.

Так, поминая чью-то мать, совершавшую весьма разгульные поступки в своей жизни, а также перечисляя интимные детали как женской, так и мужской физиологии, Савелий в несколько рывков вытащил парня из кабины наружу. Усадил его на снег, привалив спиной к вездеходу.

Парень открыл глаза, губы его дрогнули, и он спросил еле слышно:

— Ты что тут делаешь?..

— Живой! — тяжело выдохнул Савелий. — С тобой еще есть кто-нибудь?

Парень качнул головой и вскрикнул от боли.

— Кто такой будешь? — спросил Савелий, с тревогой оглядываясь.

Снег теперь крутился сильнее, вихри его рождались ниоткуда и столбиками, похожими на елочки, поднимались вверх. Когда низовая метель начинает мести с легкими завихрениями, поднимая снег в небо, а ветер меняет направление — это верное предвестие пурги.

— Леха, — ответил парень через силу, словно одновременно поднимал тяжелый груз. — Обрыв не заметил... Снег валил, а «дворники» сломаны... Залепило стекло, а тут ручей... Перевернулся я.

— Что с ногами?



— Сломаны... Очнулся — весь в крови... Встать не могу... Перевязать себя успел... Кровь долго остановить не мог — может, вена... или как ее... артерия... Холодно.

— Вездеход чей? Искать будут?

— Личный вездеход... списанный он... Не будут.

— Телефон есть? Позвоним в МЧС.

— Телефон тут, — кивнул Леха себе на грудь, на внешний карман куртки. — Пробовал звонить. Не берет — далеко...

Савелий выругался еще раз себе под нос, вновь оглянулся. Ручей как ручей, что тут смотреть? Что смотреть, что смотреть! А делать-то что?.. Как вот с этим Лехой теперь? Куда его? За собой на «Буран» не посадишь: ноги сломаны, голова висит... А место на санках занято. Ну да, занято... Эти санки — они вообще тут случайно, понимаете? Он же их брал не раненых перевозить. Это для мяса. Для оленя, так сказать...

«А вот и твой олень, так сказать», — проговорил кто-то у него в голове. Тихо так проговорил, но внятно.

Савелия пронзила жуткая мысль, точнее даже, она без разрешения поселилась у него в голове и теперь никуда не уходила. Тушу оленя придется оставить здесь! Выбросить!.. От этой мысли заныло где-то под горлом, да так сильно, что перехватило дыхание. Да что ж ты будешь делать-то, а?! А может, положить парня на тушу оленя? А что? Шкура от человека нагреется в минуты! И Лехе тепло, и олень останется... Гупо. Шкура не нагреется в минуты, потому что это не шкура, а туша! Замороженная.

И что же он прямо не поехал, вдоль «железки»? Поехал бы прямо, никого бы не встретил, не мучился бы теперь раздумьями. М-да, хреново...

— Пуржить начинает, — выговорил парень. — Что делать будем? — Глянул на Савелия и, будто прочитав его мысли, предложил: — Если не можешь... так езжай. В городе позвонишь в МЧС, скажешь им, где я... Идет?

— Да нет, не идет, — мрачно ответил Савелий, ругаясь про себя новоизобретенными бранными словами. — Куда тут «езжай»!

Он глянул злыми глазами на раненого, который сейчас воровал у него с таким трудом добытую оленину. Который в одну секунду просто обокрал его на полцентнера мяса! Который... А может... Что, если... Или... Нет, не может.

Тушу оленя придется бросить здесь.

При этой мысли внутри все вновь перевернулось от негодования. О боже! Полцентнера мяса надо сейчас просто вышвырнуть на снег... Ну что за жизнь?! Только нашел — и тут же потерял!.. И не потерял даже, а своими руками выбросил!.. Тьфу!

Савелий тяжело вздохнул и стал отвязывать тушу от санок. Отвязал, отволоч ее в сторону, под обрыв, где намело много снега и мясо можно было легко зарыть.

— Ты лучше его в вездеход забрось! — хрипло подсказал Леха. — Там песцы не достанут.

— Ага, — кивнул Савелий, припорошивая мясо снегом. — А потом эмчэсовцы вместе с твоим вездеходом и твоими тушами его себе заберут... Нашел дурака!

Санки он разложил полностью, откинув заднюю площадку. Ростом бог Леху не обидел, да и весил он килограммов под девяносто. Вытянет ли его «Буран»?

«Буран» вытянул. Он даже вначале как-то излишне легко потащил за собой санки с Лехой, замотанным в брезент, как только что туша оленя. Прятаться теперь необходимости не было, и Савелий решил ехать в город по прямой. Теперь получалось — чем быстрее они выйдут к людям, тем лучше. А если встретят вездеход в тундре — вообще красота! Тогда можно будет сдать Леху, а самому назад за оленем... а?

На подъеме из русла ручья «Буран» пару раз побуксовал, выбросил из-под себя вихри пережеванного гусеницами наста да и выполз на равнину.

Был полдень. Пошел мелкий снег. Ветер не стихал, а усиливался. Низовая метель уже определенно превращалась в обычную пургу. Превращалась быстро, занимая хлопьями и вихрями снега все пространство вокруг Савелия. Ветер попытался пару раз прорвать снежную завесу, да не получилось. Снегом обдал, и все. Но в этих коротких прорывах Савелий увидел далеко впереди черную полосу неба над горизонтом. Там дымил город.

Ветер переменился, он сейчас южный, в спину. Этого курса и надо держаться.

Савелий обернулся назад, глянул на Леху — тот лежал на санках перемотанный брезентом, как мумия. «А вот поехал бы ты, Савелий прямо, — тут же хихикнуло внутри, — так лежало бы на санках оленьего мяса! Пятьдесят килограммов свежего мяса! А еще не поздно вернуться за тушей, а? А Лехе пусть помогает МЧС... Не вытянешь ты его. Не вытянешь...»

И тут же сверху обрушился снег, такой густой и вязкий, что все пространство утонуло в снежном «молоке». Волочащийся сзади сверток с Лехой стал еще больше напоминать покойника.

— В страшном сне такого не увидишь! — пробормотал Савелий, зачем-то прикидывая: если бы он тушу оленя привязал за санками и волочил по снегу — вытянул бы «Буран»?.. Жадность, да? Нет, ну а что такого? Еще неизвестно, что важнее — этот чужой парень или мясо в дом родной! Савелия же дома с оленьей ждут, а не с этим... Савелия вообще здесь могло не быть. Он случайно проезжал. Он...

«Ладно, молчу».

Вокруг расстилалась тундра — плоская, снежная, без кустов. Похожая на пустыню. Впрочем, ее сейчас практически не было видно. Бушующая белая мгла как раскрывалась перед путниками на пять или десять метров, так тут же и закрывалась. Очень скоро летящий снег стал жестким, ледяным. Он жалил лицо Савелия, налипал на ресницы, таял и стекал вниз по щекам. Снегоход шел медленно, словно ощупью про-

бирался вперед, стараясь не сбиться с нужного направления. Монотонно гудел мотор.

В пургу жизнь в тундре замирает. В такое время вы не встретите ни куропаток, что при любой опасности всегда стрекочут, словно деревянные трещотки, ни мохноногих канюков, что обычно парят в вышине неба, выискивая на снегу зазевавшегося лемминга да изредка оглашая белые просторы своим клекотом. Не мелькают в кустах осторожные, но любопытные песцы с пушистыми хвостами, прижимаясь носами к насту, вынюхивая норки мышей. Да и вся прочая живность прячется в непогоду в укрытиях, свернувшись клубком, или хотя бы под кустами — и ждет затишья. Причем в десятке метров от какого-нибудь зайца может сидеть его хитрый враг — белая сова, моргать глазами, крутить головой и не двигаться с места, потому что пурга — это в лучшем случае буря, а в худшем — вообще ураган, который сносит все живое. Но едва пурга стихнет, зайцу конец.

Снегоход шел тихо, едва перекрывая своим урчанием завывания ветра. Хорошо хоть снег был мелкий, колючий, холодный — такой не липнет сразу на наст, а собирается в ложбинках и трещинах, не мешая движению. По жесткому насту и снегоход, и сани движутся свободно, легко.

Савелий старался держаться так, чтобы пурга постоянно подгоняла его в спину, рассудив, что ветер не мог так быстро сменить направление, а значит, идут они ровно на город.

Почему-то в голове постоянно прокручивался путь от железной дороги до ручья, а после этого в голове возникала картинка места, где Савелий под обрывом тушу закопал... потом — в какую сторону поехал... затем — как можно вернуться к этому обрыву... А все правильно — тушу ведь надо будет забрать!

Видимость на десяток метров впереди — ровно столько, сколько надо при такой скорости, чтобы успеть остановиться и не кувыркнуть с обрыва, как Леха. Савелий изредка оборачивался назад, смотрел на раненого. И на кой же леший ты, Савелий, поехал к реке Воркуте? Эх, Савелий, Савелий! Двинул бы напрямик по «железке» в город. Леха бы, скорее всего, сдох в своем вездеходе, это да... Но оленя-то как жалко! Под покровом пурги Савелий спокойненько по городу прошмыгнул бы с мясом, и все!.. А теперь кто знает — найдет ли он потом тушу и сможет ли привезти. Вот же напасть!

И надо же было Лехе за этими тушами поехать! Мяса ему подавай... Мародер хренов!

Ветер сзади бил так, что снег набивался Савелию за воротник, где был плотно уложен шарф. Резкие порывы насквозь продували и зимнюю куртку, и кожанку под ней, и шерстяной свитер, ощутило холода спину. Савелий поднял капюшон, застегнул «молнию» под самый подбородок. В голове мелькнуло: поди, Лехе тоже под брезент снег задувает, нет?

Савелий остановился, сошел со снегохода, повернулся и двинулся к саням. Встречный порыв ветра едва не опрокинул его навзничь. Он устоял, склонился над раненым. Снег запорошил того уже полностью, тело в



брезенте вызывало в памяти картины блокадного Ленинграда... Но щеки у парня были мокрые — снег таял.

— Живой? — громко позвал Савелий.

Леха с трудом открыл глаза. Посмотрел куда-то вверх, попытался что-то сказать. Сразу не получилось. Собрался с силами, прохрипел:

— Я, кажется, отключился... Где мы?

— Не знаю. По дороге в город, будем надеяться. Может, тебя вернуть? Вон как снегом замело всего... Если ногами вперед поедешь, меньше будет в лицо задувать...

— Сдурел? Ногами вперед!..

Савелий вывернул кусок брезента у Лехиной головы, немного прикрыл парню лицо, чтобы на него лишний раз не порошило. «Буран» двинулся дальше.

Пурга выла, кружилась и куражилась. От налипшего на ресницы снега глаза не закрывались полностью и моргали как-то наполовину. Савелий хватал ресницы пальцами и держал их, пока они не оттаивали. Снег оседал на щеках, таял, ручейками стекал вниз и щекотал горло. Снег плясал перед глазами, искрился и рисовал Савелию непонятные призрачные картинки.

Крайний Север, Заполярье, территория Арктики. Обычное для этих краев ненастье.

Сколько часов шел его старенький снегоход в пурге, Савелий не знал. Он уже потерял ощущение времени и только ждал, что впереди за снежной завесой вот-вот вырастет город... Савелий ушел из него на юг, а что у нас в городе с южной стороны? Вокзал, Оленьсовхоз, кладбище... Еще вояки какие-то были... Может, они с Лехой выйдут к воинской части.

Когда темнеет в феврале? Часов в пять или шесть? Никогда об этом не думал. Темнеет себе и темнеет. Если начнет темнеть — значит, уже пять или шесть часов... И что это означает? Ничего хорошего. Дальше придется идти в темноте, в ночной пурге, что еще тяжелее. Почему «идти», мы же едем? Значит, ехать придется в темноте... ехать придется в темноте... ехать...

Савелий вздрогнул. Он засыпает! Ветер его убаюкивает. Монотонное кружение снега перед глазами отключает внимание, и человек погружается в сон... Спать нельзя! Кувыркнешься, как Леха!

Впереди образовалась прореха, снегоход резко встал. Ручей. Просто заметенный ручей, русло в низине. Преодолеем.

Савелий не понял, когда именно начало темнеть. Просто снег внезапно стал серым, пурга — мутной, а снегоход ни с того ни с сего вдруг заглох и остановился. Савелий дернул стартер. Мотор чавкнул и смолк. Савелий дернул еще раз. Потом еще... Потом слез с машины. В технике он разбирался прекрасно. Проблему определил мигом — горючее на нуле. Бензина было достаточно для того, чтобы съездить за полсотни километров и вернуться в город, но не для того, чтобы целый день кружить по тундре.

Савелий сел на сиденье, руки положил на колени. Приехали!

— Что там? — донеслось со стороны саней.

— Сдох коняка. Бензин вышел. Не рассчитывал я на такую прогулку.

Разговор на этом закончился. А что тут скажешь? Вокруг стонала и выла пурга. Ветер то и дело взвизгивал так, словно радовался беспомощности людей. Савелий взял горсть жесткого холодного снега, протер им лицо. Стало легче... Да нет, легче не стало.

Сколько Леха протянет без помощи врачей? Сутки или, может, всего несколько часов? А если оставить его здесь, одному добраться до города и вызвать спасателей — как искать его потом? Заметет полностью, не найдешь даже по снегоходу — «Буран» Савелия тоже может занести за одну ночь, тем более в низине, где они сейчас...

— Есть мысли? — долетел до него голос Лехи.

— Есть одна, — отозвался Савелий.

Он подошел к раненому, не торопясь отцепил санки. Потом залез в багажник своей заглохшей техники, нашел там пакет с НЗ: хлебом, салом, спичками, зажигалкой, сухим спиртом, чем-то еще... Сделал лямку из троса, которым санки раньше были прицеплены к снегоходу, впрягся и потащил их вместе с Лехой в темноту.

Тот все понял и застонал:

— Да не надо этого!..

В первые минуты Савелий даже как-то порадовался: идти оказалось не так уж тяжело. Лямка давила на плечи и грудь чуть ниже горла, Савелий немного оттягивал ее руками. По старому насту санки с Лехой катили легко, словно по льду, а вот на белых языках только что наметенного снега — тормозили. К счастью, намело его не так много. Хуже было то, что тундра неровная. Низины сменяются в ней возвышенностями и наоборот. Когда Савелий двигался вниз, санки приходилось сдерживать, а когда вверх — ему казалось, что от натуги у него глаза вылезают из орбит.

Кромешной тьмы в тундре зимой не бывает. Даже в безлунную ночь что-то да видно вокруг, хоть какие-то очертания местности. Снег отражает любой свет, вплоть до звездного. Сегодня на небе явно присутствовала луна, и, хотя саму ее за тучами видно не было, слабое сияние просачивалось сквозь их покров.

Савелий упрямо шел туда же, куда дул ветер. Он давно уже потерял в пурге другие ориентиры. В низинах порывы южного ветра ослабевали, к ним примешивались какие-то блуждающие мелкие ветерки. Здесь Савелий путался: куда идти? Вроде только что дуло туда, а теперь в обратную сторону... Куда из низины выходить?

Лямка от саней все больше натирала плечи и шею. Савелий пропустил ее под мышками наподобие хомута, но и там она давила нестерпимо. Сил оставалось все меньше, все сильнее хотелось завалиться на снег и уснуть... хоть на немного, хоть на полчаса.

Он невольно остановился.

Из брезентового тюка раздался слабый голос:

— Савелий! Телефон возьми. Может, уже ловит...

Вот дурак! Савелий даже по голове себя хлопнул. Заигрался в героя. Телефон же есть!

Он быстро отвернул брезент, пошарил рукой по Лехиной груди, нашел у него в кармане мобильник. Включил. Дисплей вспыхнул в ночи яркими цветными огоньками. Цивилизация!

Савелий глянул на дисплей. Связи — ноль. Полный, безжизненный, безнадежный ноль.

— Себе возьму, — сказал он. — Буду проверять. Может, где пойдем сеть.

Вставать со снега не то чтобы не хотелось, просто не могло. Они опять отдыхали в низине, здесь было относительно тихо. Можно было спокойно сидеть и даже ровно дышать, не лоя воздух ртом, как там, наверху, в пурге. Но надо было выбираться наверх и идти дальше — в город, к людям.

«Леха долго не протянет» — эта мысль занозой сидела в голове у Савелия.

— О чем думаешь? — вдруг спросил раненый.

— Ни о чем, — уклончиво ответил Савелий.

— Скажи. Легче будет...

— Легче не будет, — сказал Савелий. — «Буран» сдох, мясо потеряли, пурга усилилась, а идти все равно надо... И дойти — надо.

— У тебя семья есть? — спросил Леха.

— Есть. Для них и корячился.

— Может, дальше один пойдешь? Так быстрее будет. Там объяснишь все... МЧС и другим...

— Один не дойду, — сказал Савелий. — Ветром сдует.

Он поднялся, подобрал лямку, впрягся и потащил сани из низины наверх.

Наверху ветер рвал и бил, словно хлыстами, но это иногда даже помогало двигаться вперед. Особенно на спусках он подгонял так, что Савелий придерживал санки ногой. Потом опять вверх и опять вниз. То поперек груди лямку, то на шею, то поперек, то на шею... В какой-то момент Савелию показалось, что в мире вообще ничего не осталось, кроме снега, ветра и ломящей боли в плечах. Вначале он часто поглядывал на дисплей телефона, надеясь, что тот обнаружит сеть, но потом перестал. Телефон был бесполезной игрушкой среди разбушевавшейся природы.

Савелий падал, вставал, хватал летящий снег ртом, подбирал его рукавицей с наста и жевал до ломоты в челюстях. Ужасно хотелось пить, а воды не было. Про хлеб и сало Савелий ни разу и не вспомнил. И все чаще хотелось закрыть глаза и уснуть. Уснуть прямо на ходу, хоть на несколько минут, чтобы нынешняя явь исчезла, как... как кошмарный сон. А еще лучше — упасть и никогда больше не вставать!

Но Савелий шел, бездумно передвигая ноги, ничего вокруг себя не видя. Просто надо идти в город, в тепло, к людям, домой: у него, Савелия, там сын Володька, дочь, жена... И обязательно нужно дотащить санки с этим человеком, потому что сам он идти не может.

Ночь оказалась длинной. Несмотря на пронизывающий холод, с Савелия крупными каплями катил пот, одежда промокла, и тело охлаждал ветер, даже куртка не спасала...

Пару раз Савелий крикнул что-то Лехе. Крикнул просто так, без дела, без нужды — лишь бы тот ответил. Но на голос тоже нужны силы, а у раненого их, видимо, совсем не осталось. Савелий подумал: может, Леха умер? Скончался вот так тихо человек, никому ничего не сказав. Можно его здесь оставить: труп же, что ему будет? Разве что песцы могут обгрызть или еще какая живность... Нет, так нельзя! Это не по-людски — бросать на произвол судьбы другого человека, даже мертвого... Не по-русски это. Надо тащить... Только вот куда?

У Савелия подкосились ноги, и он упал на колени. Постоял так, сколько — и сам не знал. Он как будто ненадолго уснул, и это время показалось ему просто черной дырой, зато вроде бы подарило отдых. Савелий и дальше бы не выныривал из этой черноты, но...

— Сава! — позвал женский голос.

Он вздрогнул, словно его ударили. Очнулся. Голова раскалывалась от боли.

— Савелий! — услышал он теперь голос Лехи.

Савелий понял, что так и стоит на коленях. Поднялся, подошел к санкам.

— Савелий, — сказал Леха из-под брезента, — я забыл... У меня во внутреннем кармане фляжка... В ней спирт с золотым корнем... и лимонным соком... В дорогу брал... Хлебни. Золотой корень силы дает.

Савелий не сразу понял, чего от него хочет раненый. Какой спирт, какой еще лимонный сок?.. Сок... Пить!

— Где? — хрипло спросил он, шаря по груди Лехи. — Где сок?..

— Не сок, Савелий. Спирт, разбавленный лимонным соком... Глотни пару раз. Он с золотым корнем. Силы даст на время... Только много нельзя. Опьянеешь — уснешь.

Савелий нащупал тонкую выгнутую фляжку во внутреннем кармане Лехиной куртки, вытащил, отвинтил крышку и сделал глоток. Потом другой. Потом третий... Сразу захотелось есть. Он достал из пакета НЗ хлеб и нарезанное сало.

— Что ж ты молчал? — придя в себя, спросил Савелий. — Спирт тебе нужен в первую очередь. Ты же много крови потерял! Когда доноры много крови сдают, им всегда наливают то вина сухого красного, а то и спирту... Это, кстати, какой спирт? Медицинский?

— Да нет, Савелий, — пробормотал Леха, — гидролизный это спирт... Сушит от него по утрам сильно, если переборщить. Но не отравишься, не бойся.

— Спирта бояться, скажешь тоже! — жевал сало Савелий, ощущая, как по венам струится кровь и как вместе с нею бежит по телу неведомо откуда взявшаяся сила.

— Холодно, — прошептал Леха. — Спины не чувствую... Помираю, что ли? Сдохну — ты брось меня. Потом найдут, весной. Знаешь, под

погибшими людьми снег не тает, и весной в тундре появляется снежный «гриб», а сверху на нем — тело человека... Жутко, правда? Пошевелиться бы мне... холодно под спиной...

Савелий стянул с себя куртку, свернул ее в три слоя, как это делают в магазинах, когда упаковывают такие вещи, быстро развернул брезент, приподнял раненого и засунул куртку под него.

— Дурак, — сказал Леха благодарно. — Тебе важнее, ты же меня тащишь... Савелий...

— У меня кожанка, — показал тот во тьме короткую потертую кожаную куртку, — и еще свитер под ней — чистая шерсть. Ну-ка, давай!

Савелий снова приподнял Леху, поднес к его рту фляжку. Леха отпил пару глотков, поморщился и попросил:

— Зажевать дай...

Савелий быстро достал кусок хлеба с салом. Леха откусил, пожевал еду, смешанную с залетевшим в рот снегом, и сказал немного окрепшим голосом:

— Ну да... Сдохнуть веселее навеселе!

Савелий уложил его обратно, поправил брезент, впрягся в лямку и потащил сани дальше.

Ночная пурга губит человека вернее. Она крутит им, словно он попал в мясорубку, но на шнек этой мясорубки никак намотаться не может. Бывает, что даже посмотреть вперед — большая проблема, потому что, едва поднимешь лицо, отхлещет снежными плетями так, что начнешь отмахиваться неизвестно от чего да и опять голову вниз.

На одной из возвышенностей Савелий в очередной раз достал Лехин телефон. Сети не было, часы показывали два часа ночи.

Силы, что дает алкоголь, заканчиваются очень быстро, если их неразумно расходовать. Например, если тащить сани с человеком. На это никакого алкоголя не напасешься. Энергия пьяная выйдет с потом за полчаса, а отравление останется. И прикладывается человек к фляжке снова и снова, и заканчивается это порой трагически...

Теперь Савелий видел, что творится вокруг, и соображал, что он сам делает. Пообещал себе: если начнет сдавать, если глаза станут смыкаться — только тогда можно будет хлебнуть еще. Пить можно только для поддержания сил, а не для расслабления. А чтобы не спать и не отчаиваться, надо думать о чем-то веселом и хорошем... О бабах, например. А может, лучше стихи читать или песни петь?

Он стер ноги обувью, промерз насквозь весь от макушки до пят, обморозил руки, потому что ему приходилось держать их сжатыми в кулаки, а этого в мороз делать никак нельзя — нарушается приток и отток крови. Но как иначе лямку перед собой удерживать? Савелий уже привык к темноте, под ногами снег просматривается — и слава богу! Иногда перед глазами вспыхивали какие-то круги белого света, причем там, где он их видеть не мог никак, потому что вокруг стояла стена крутящегося снега.

Савелий то и дело обтирал ладонью лицо от облепивших его снежинок, рука мерзла еще сильнее. Он быстро прятал ее в рукавицу, сти-



скивал в кулак, чтобы пальцы хоть немного согрелись друг о друга, — не помогало. Выпускал на время лямку, сжимал и разжимал пальцы внутри рукавиц, но тогда лямка соскальзывала и давила ему на грудь. Савелий останавливался, какое-то время стоял беспомощной неподвижной фигурой в ночи, потом, словно бурлак, поднимал лямку и опять шел, тянул за собой сани с Лехой...

А кто ему этот Леха?.. И даже не ему, а в принципе — кто? Он вообще — Леха этот — есть на самом деле или это мираж, видение... и это... как его там?.. наваждение?

Тут Савелия словно ухнули сверху по голове тяжелой, набитой крупным пером подушкой и сказали прямо в уши: «Это не наваждение — это наказание, дружок. За жадность твою, за скупердяйство! Или мяса дома не было? С голодухи помирал? Зачем в тундру поперся? На дармовщинку поживиться! Может, олени — твои? Может, это ты их растил, от волков охранял, пас в тундре на перегонах, в реках ледяных спасал, из-под льда вытаскивал?.. Дармоед ты!»

«А Леху за что?» — не выдержал Савелий такой откровенности.

И тут же услышал: «А за то же!» Потом наступила жуткая, неземная тишина; ветер умолк, но не улегся; пурга била во все стороны, а стоны и вой ее пропали. Савелий тряхнул головой — и вой ветра вернулся.

Савелий тут же рванулся вперед, а под нос себе сказал:

— Ну так мы же мясо оставили там... Олени-то там, а мы здесь. Чего теперь-то?

Пурга провыла что-то в ответ.

Она внезапно еще усилилась. Тучи стали плотнее, и сделалось по-настоящему темно. Савелий судорожно озирался, хотя среди темноты и вьюги это было бесполезно. Лямку он снял — хотел было пропустить под мышками, чтобы руки немного отдохнули и отогрелись, но тут внезапным порывом ветра его бросило на снег и покатило по насту.

Савелий встал — и не увидел саней.

— Леха! — крикнул он во тьму.

Ветер, вой, какой-то издевательский свист.

— Леха!!! — крикнул снова что было силы.

Тут же подумал: ори не ори, а Леха ведь крикнуть в ответ не может.

Савелий достал фляжку, сделал один глоток, второй... Хватит.

Быстро, соображая буквально на ходу, он вытоптал маленькую площадку, чтобы отметить место, где сейчас стоит. Оставляя в снегу глубокие следы, сделал десять шагов в одну сторону — пусто. Вернулся по следам, нашел площадку. Сделал десять шагов в другом направлении — пусто. Крикнул — не ответили. Вернулся. Пошел в третьем направлении — пусто. В четвертом — пусто... Может, его отнесло ветром намного дальше, чем кажется?

В какую сторону его катило? По ветру, конечно. Почему же тогда он не находит сани?..

Савелий вернулся. Постоял, стараясь прочувствовать спиной, ровно ли по ветру стоит... Новый порыв согнул его пополам, так что он уперся

руками в снег, а следующий и вовсе сбил с ног и опять прокатил по снегу. Савелий встал на колени, стал искать площадку, свои следы в снегу — ничего. Наст здесь был ровный, чистый.

Теперь все ориентиры потерял...

— Эй, — сказал он куда-то вверх, — вы чего там — совсем, что ли?! Леха-то как?!

Ветер попробовал напасть в третий раз, но Савелий плюхнулся в снег ничком и так лежал какое-то время. Когда порывы стихли, он поднялся, стал оглядываться. Куда идти? Где та площадка, что он вытоптал? Надо искать ее быстрее, иначе заметет так, что не найдешь, и тогда Лехе конец!

Савелий достал таблетку сухого спирта, выкопал перочинным ножом маленькое углубление в снегу, положил в него таблетку и поджег ее зажигалкой. Пламя заколыхалось, стало разгораться. Руки бы обогреть, да нет времени: пурга замечает следы. Он поднялся и пошел ровно против ветра. Где-то здесь... где-то здесь... Обернулся пару раз назад — горелка его сияла теплым островком жизни среди ночного ненастья. Где-то здесь... Савелий встал на четвереньки, стал искать, словно пес, чуть ли не внося носом по насту. Вот! Вот его следы! Сделал пару шагов в сторону — и нашел то, что осталось от вытоптанной площадки: неглубокая впадина и едва заметные следы от его ботинок. Теперь еще дальше против ветра... Стоп!

Савелий вновь выкопал ножом углубление в снегу, поджег еще одну таблетку спирта и опустил ее туда.

Часто озираясь, пошел навстречу ветру. Сделал пятнадцать шагов. Пусто. Посмотрел назад — огонь, хоть слабо, все же был виден сквозь месиво пурги. Савелий пошел дальше.

Через пять шагов он наткнулся на сани. Есть! Вот он — его друг Леха! Никогда бы Савелий не подумал, что может так обрадоваться чужаку, да еще в смертельно опасной ситуации, в которую как раз из-за этого человека и влип. Что ж за жизнь-то такая, а? И главное — мясо ведь из-за него потерял!..

Он упал перед Лехой на колени, откинул брезент. Раненый открыл глаза.

— Ага, — сказал Савелий. — Ну да... Я тут это... Нельзя одному никак, понимаешь?

Дальше он шел, уже почти не чувствуя боли в плечах, холода, усталости и не видя ничего, кроме наста под ногами. Сани покорно тащились за ним. На санях безвольно лежал человек, жизнь которого сейчас стоила ровно столько, сколько Савелий готов был выдержать ради ее спасения.

Он достал телефон, глянул на дисплей — три часа ночи. Сети нет. Светает в это время года где-то в шесть... Еще три часа, три часа до рассвета! И поможет ли ему рассвет?

Похоже, скоро будет спуск: слишком долго пришлось упираться, волоча санки в гору. Наконец полозья заскользили свободно, — значит, путники сейчас наверху.



— Что, не видно города? — услышал Савелий сзади, от тюка на санях.

Быстро подошел, откинул брезент. Леха был живой, моргал глазами в полумраке.

— Метет, собака! — ругнулся Савелий. — На пять метров впереди видно, дальше — стена.

— С пути не могли сбиться?

— Ветер по-прежнему в спину. Перемениться не должен был за это время... Да ты не бойся — вытяну.

— Савелий, — слабым голосом спросил Леха, — ты ведь русский, да?

— С чего ты взял? — удивился Савелий и даже чаще захлопал обледенелыми ресницами.

— Русские своих не бросают.

— А-а, — промычал Савелий. — Ну да... тогда русский.

Помолчал и добавил:

— А так-то я украинец. С Полтавы.

— Спирт как пьешь?

— Понемногу. Берегу.

— Пьешь, говорю, как?

— По глотку.

— Да я не о том... Помощи при этом просишь?

— Что? — Савелию подумалось, что Леха начал бредить.

— Когда пьешь, надо помощи просить у духов неба и тундры, — продолжал тот.

— К-как это?

— Так. На полном серьезе.

Савелий хотел смолчать, чтобы не обидеть Леху. Что взять с полуживого человека? Потом не выдержал, глянул вокруг и чуть насмешливо поинтересовался:

— И что просить надо? Вездеход, вертолет или машину скорой помощи?

— Да то, что они тебе дать могут, — сказал Леха.

Савелий сел на снег рядом с Лехой, достал фляжку, сказал самому себе: мол, что сейчас ни делай, хуже не станет. Отвинтил пробку, чуть взмахнул фляжкой на вытянутой руке, как в приветствии, и крикнул вверх что было мочи:

— За духов неба и тундры! За духов неба и тундры, слышите?! За вас! Дорогу покажите! Город мне покажите! Город!

Встал на ноги, глянул в ту сторону, куда шел. В полярную ночь, в крошечную темноту, в стену снежную.

— Покажите город!

— Тучи сносит, — заметил Леха.

И внезапно все стихло. Как-то по-сказочному стихло, словно кто-то дунул — и снег улегся. Темнота осталась, а снежная стена растворилась. Это длилось мгновение и было невероятно красиво. Мела пурга, а перед

ними вспыхнула огнями Воркута — так, словно Савелий стоял на горе, а город расстился под ним. Вспыхнула на секунду в просвете пурги, показалась, как мираж оазиса в пустыне, — и тут же пропала.

— Город! — заорал Савелий, смотря перед собой в поднявшуюся опять стену пурги. — Город, мать вашу!

Подхватил лямку и побежал вниз.

Бежал Савелий так, что сани позади дергались, словно лодочка, привязанная за большим кораблем. Иногда они догоняли его и били по ногам, но он этого не чувствовал. В голове у него сияла картина переливающегося огнями города — обещание жизни и спасения. А ветер выл теперь еще сильнее, стегал порывами еще резче, поднимал и крутил снег еще гуще и беспросветнее, словно испугался, что Савелий убежит от него.

Савелий достал фляжку, сделал пару глотков. Закусывать не стал — не до закуски сейчас, они уже рядом, уже вот-вот...

И упал. Не потому, что запнулся. Организм выдохся. Сердце захотело стучать так, словно выскочить хотело. Савелий лежал и шептал:

— Не спать... не спать... не...

Что-то толкнуло его в ноги. Он открыл глаза, приподнялся... Рядом, уткнувшись носом в его ботинки, стояли сани.

— Савелий! — позвал Леха. — Не спи! Я звуки слышу...

— Что? — Савелий собрался с силами, поднялся и, склонившись над Лехой, отвернул брезент. — Какие звуки? Где?

— По металлу стучат, — сказал тот, с трудом шевеля бескровными губами. — Это вокзал, Савелий! Это путейщики по колесам своими молотками... Вот, слышишь?

Савелий не слышал, но Лехе поверил. Ни за что не поверил бы, если бы только что не видел перед собой в низине светящийся огнями город. Они идут с юга, на юге в городе действительно находится вокзал... Скорее бы рассвело!

Через полчаса город не появился. Савелий достал телефон — сети не было, часы показывали около четырех утра.

Снежная кутерьма под утро не утомилась. Было жутко холодно, и при этом по лицу, по телу ручьями катил пот. Савелий понял, что где-то потерял шарф, — потому что больше не чувствовал подбородком его узел. Жалко шарф, он денег стоил...

Если сейчас бросить сани — он точно выживет, дойдет до города и расскажет эмчеэсникам, где искать Леху... Найдут ли? А леший их знает, как они ищут... Зато он увидит рассвет, он выйдет к людям, он вернется к детям, к жене...

Он. Вернется. Один.

Да нет же — русские своих не бросают! Откуда эти слова? Савелий уже и не помнил.

А Леха — русский? Свой? Да какая разница...

Савелий упал, уткнулся носом в жесткий наст и от боли очнулся. Сел на колени, некоторое время безучастно смотрел перед собой. Снежное

«молоко», больше ничего. То есть как — молоко? Значит, белое? Значит, светает?..

Он достал телефон. Сеть не ловилась, на часах было почти шесть утра... Утро! А он и не заметил. Пока он, Савелий, размышлял, как будет сани бросать, — пришел рассвет!

Его залихорадило от страха, что свет сейчас исчезнет, что часы врут, что все это его предсмертный бред. Но свет не исчезал. Больше того — вдруг, словно провозглашая наступление утра, где-то недалеко ударил колокол... Звук был тонкий и короткий. Разве колокол, даже маленький, может звучать так коротко? Савелий замер. Звон повторился.

Тогда он поднялся и пошел на звук. Как так, думал он, мы что — уже в городе, возле церкви?..

Сил не было, но он шел без сил. Его тело сейчас могло выполнять только одну работу — переставлять ноги. Оно и переставляло.

Третий раз колокол ударил совсем рядом. Савелий поднял голову, посмотрелся — и метрах в десяти от себя увидел тепловоз. За ним — вагоны. Рядом с тепловозом стоял путеец и, не обращая внимания на пургу, молотком на длинной ручке стучал по колесам.

...Какие-то мужики тащили Савелия под руки куда-то через пути, другие мужики, охая и ахая, волокли следом сани с Лехой. Как-то быстро нашлась большая машина — грузовик, автобус?..

Чей-то голос слева бубнил:

— Тихо, тихо тащи! Телефон у него выпал, подыми, вона... Сунь в карман.

Другой голос удивленно спросил:

— А что ж он МЧС не набрал?..

— Так вышка же грохнулась у сотового! Забыл?..

Только погрузились, только сели куда-то на лавку, только Савелий закрыл глаза — и уже надо выходить. Где они? Куда приехали? Домой? Савелий сам спуститься из машины не мог. Помогли, повели куда-то... Он то закрывал, то открывал глаза. Его посадили в кресло в каком-то коридоре. Он непрестанно повторял:

— Я в порядке, только устал очень... Леха... Леху гляньте, у него голова...

Леху унесли на носилках. Савелий остался один. Он достал фляжку, отвинтил крышку, хлебнул крепко. Достал сало и хлеб, закусил как следует.

Сознание вернулось почти мгновенно. Он был в городской больнице номер один, в коридоре приемного покоя. Напротив лежали его санки с брезентом, на них — куртка.

Савелий еще раз хлебнул спирта, опять закусил, лег на санки — и через секунду уже спал беспробудным сном.

Роман ГОРЕПЁКИН

КОШКА С ПУЛЕЙ В ГОЛОВЕ

Р а с с к а з

1.

Работает у нас один типчик — Андрюха. Андрюха Займи-Ню-Выпей. Длинный, худой, сутулый, грудь впалая, руки веревками, ходит на полусогнутых. Алкаш, естественно, глазки вечно масляные. Лицо серое, а под длинным сломанным носом — усишки. Поганые такие усишки, всегда шевелятся: Андрюха все время что-то бормочет либо просто кривится в усмешке. Его бы на съемки «Мастера и Маргариты» — типичный Фагот!

Вот заходит к нам в комнату как-то этот Андрюха — он частенько у нас ошивается под предлогом проверки исправности электроприборов и освещения, потому что электриком числится. Это он от Петровича прячется. Петрович — начпроизводства, мужик суровый, и кулаки у него тяжелые — с Андрюхой не стесняется, может с лету отоварить по уху. Андрюха у него — заместо чернорабочего, на все самые грязные и вредные дела поставлен. От которых и отлынивает при первой же оказии.

И вот этот Андрюха — в своей вылинявшей офицерской гимнастерке (память о службе в артиллерии), драном кителе без погон и «подстреленных», севших от множества стирок штанах — открывает дверь в нашу длинную комнату и прямо с порога начинает:

— Это вашу кошку тут... хе-хе... подстрелили? Валяется там... хе-хе... Живая еще! Хе-хе!

А усишки так и прыгают по его землистой морде, танцуют на пару с глумливой лыбой. И идет он по проходу между столами к нам с Юрой, в наш дальний тупик. Доходит, озирается, тут же начинает клянчить.

— Юра, дай попить... — Тянется бесцеремонно к Юриной кружке, получает по рукам.

Лезет ко мне:

— Займи два рубля!

Андрюха вечно бродит по конторе, сшибает мелочь, набирает таким образом червонец и к вечеру — на кочерге. Покупает в соседнем проулке



стакан чудовищного первача, который гонят, похоже, из досок от уличного сортира. Потом валяется в кустах и канавах. Однако есть у него пунктик: всегда носит с собой блокнот, в который тут же, по факту получения денег, аккуратно записывает, у кого и сколько взял. Бухгалтерию свою ведет идеально, а в день получки раздает долги. Остаток пропивает, теряясь на несколько дней, потом возвращается с повинной к Петровичу и начинает нарезать новые круги, добывая средства на очередной вечерний стакан адского зелья.

У Юры на рабочем столе громко шумит оборудование, и всей вступительной, от дверей, тирады Андрюхи он полностью не расслышал, поэтому переспрашивает:

— Ну ты, пугало огородное! Что ты там про кошку говорил?

— Хе-хе... Кошку вашу, говорю, того... хе-хе... подстрелили. Валяется там... Дай попить!

Я вижу, как Юра сначала непонимающе смотрит снизу вверх на Андрюху, потом привстает, садится снова и искаженным голосом сипит:

— Как это — кошку подстрелили? Где подстрелили?! Кто?!

— А там, хе-хе... Во дворе валяется, живая еще вроде... Хе-хе! Летунов подстрелил. Из мелкашки. К нему внук пришел, он учил его стрелять. Из окна своего кабинета. — На самом деле Андрюха говорит «кибинета». — Кошка ваша, хе-хе, по крыше шла, они ее и хлопнули... Хе-хе!

Летунов — это наш директор, шеф, он же хозяин конторы. Сын его тоже в конторе работает — начальником отдела. Внуков двое, подростки, бывает, ходят к отцу и деду. Летунов — очень неглупый мужик, талантливый инженер-электронщик. Вся наша продукция, а ассортимент весьма немал, — его личные разработки. Не гнушается он и собственные руки к чему-нибудь приложить: у наладчиков заняться заковыристой проблемой неработающей платы или у станка встать и лично выточить первую, образцовую детальюшку. На все руки мастер. Человек весьма и весьма состоятельный, но в своих автомобилях ковыряется сам, причем одинаково успешно и в электрике, и в ходовке, и в моторе... Хобби у него такое.

Однако руководитель и владелец жесткий. Даром ты у него хлебушка не поешь — каждую крошку должен будешь отработать с лихвой, а накосячишь серьезно — считай, сегодня же и уволен. План не выполнил на один процент — премии лишит на все сто; брака наделал — будешь исправлять, работая круглосуточно. А не нравится — вот тебе твоя трудовая, и давай до свидания.

Но толковым и лояльным сотрудникам платит Летунов щедро, тем и держит при себе.

Одно мне долго непонятно было — нафига ему Андрюха Займи-Но-Выпей? Ну алкота же запойная, прогульщик, совершенно ненадежный человек! Бывает, утром еле шевелится, фиолетовый с бодуна. Потом на производстве выпросит у монтажниц пару глотков промывочного спирта — смеси канифоли, ацетона и изопропила, как печень еще терпит! Ну, отойдет и днем кое-как работает. После обеда, глядишь, настрелял мелочи, сбегал за полстаканом (если охранник не уследил и Андрюхе

удалось выскочить за территорию) — и все, готов в хохлому, лежит где-нибудь, пускает пузыри.

Кому нужен такой работник, да еще с учетом высокой требовательности шефа?

Как-то сам Андрюха и рассказал: он единственный, кто знает наизусть всю замысловатую электросеть нашей конторы. Контора немаленькая, крупный осколок громадного советского КБ. А эти здания — вообще довоенные конюшни. Говорят, тут стоял чуть ли не один из отрядов буденновской Первой конной. Здания перестраивались сто раз, проводка лепилась как попало и где попало, все это уходило под слои штукатурки или просто в никому не ведомые дали. На электрику прежние хозяева подрядили Андрюху — чтобы продать нечто пригодное для работы, а не аварийку. Таким образом Андрюха и достался нашей конторе «в придачу». Невзирая на выжженные алкоголем мозги, он помнил все до единого провода и мог точно указать, где можно сверлить, а где нельзя, где идут реальные кабели, а где — обесточенные огрызки, где кинуты резервные линии и в каком это все состоянии.

Летунов не раз, бывало, кривился: остановить бы работы на месяц, отключиться от столба да сделать электрику с нуля, по новому проекту и по всем правилам... Да как же, остановит он всю контору! Это какие убытки выйдут! Дешевле держать Андрюху Займи-Но-Выпей за полкопейки. Да еще гонять его к себе в усадьбу: копать землю, пилить деревья, таскать стройматериалы — и все за жратву да стакан шмурдячины.

И вот Андрюха, руки в брюки, стоит ухмыляется, а Юра с красным от внезапного волнения лицом лезет из-за стола, спотыкается о стул... Цепляет рукой какие-то приборы, те летят на пол, а Юра — что ему, аккуратисту, обычно не свойственно — плюет на это дело и бежит вон из комнаты. Андрюха, вопросительный знак с перегаром, — за ним. Ну и я встаю — посмотреть, что же там на деле стряслось.

2.

Кошка действительно у нас водится. Ее так и зовут — Кошка. Просто Кошка. Черная, худая, как велосипед, гладкая, с длинной мордой и прямым, торчащим строго вверх хвостом. Ходит на тонких негнущихся лапах. Не мяукает, даже мурчит беззвучно. Только мелко вибрирует вся. Обычно либо сидит на высоком стеллаже, намывая свои черные усы, либо спит у Юры на коленях. Она ему не мешает. Думаю, даже помогает чем-то: Юра — завзятый кошатник.

Этому Юре уже за шестьдесят, мужик-то немолодой на самом деле, формально — пенсионер. Нормальный такой мужик, толковый, работяга. Грубоватый, но это, скорее, напускное. Кошек любит — страсть как! Собирает их по всей округе, кормит, таскает по ветлечебницам, сам лечит: то уколы делает, то зеленкой мажет, то лекарствами пичкает... Дома у него вечно прибудные кошки. Котят, бывает, на базаре раздает да еще в придачу корма накупит на свои кровные.



Я, признаться, не понимаю этого. Нет, я к животным нормально отношусь. Но люди делятся, как известно, на кошатников и собачников. Я — собачник. Наследственное это: и прадед, и дед, и отец — охотники. И я с детства с собаками. Люблю сеттеров красных ирландских. Какая шерсть у них! А какая изумительная стойка! Только красный ирландец может так, вытянувшись в звенящую струнку, замерев до остановки сердца, ждать над обреченной птицей заветную, страстно, молитвенно предвкушаемую команду!

С самого моего рождения у деда был такой сеттер — Джек. С того и у меня повелось: мои ирландцы-кобели всегда Джеки. Непередаваемый взгляд у этих собак: уже щенком он все знает о тебе, хозяине, и уже сызмалства готов неумоимо, до отрешенности и самозабвения, делать то единственное, для чего рожден, — охотиться. Хотя бы даже и на хозяйский тапок.

К моей юности, а к своей старости, дедов Джек окривел: сказала старая травма от острой камышины. Но и с ним одноглазым дед продолжал вполне себе успешно ходить на охоту. Кошка еще у деда была — Машка... Маленькая такая, кругленькая, как колобок. Головка круглая, ушки круглые, тело круглое, коротенькие лапки-кругляшки. Серая с белым брюшком. Родилась в один день с Джеком, и стали они закадычными друзьями. Джек лежит в холодке — между лап у него лежит Машка. Дед идет с Джеком на охоту — Машка скачет следом, не по-кошачьи провожает, далеко-далеко от дома. А бывает, и вовсе едет верхом на рослом сеттере — не картина, а умора! И он при этом идет ровной мягкой поступью, даже и не думает начать поиск, пока на спине Машка.

Джек с Машкой и заболели одновременно: возраст взял свое, коротка звериная жизнь. И вместе ушли со двора помирать где-то на воле. Дед говорил: смотрю в бинокль и вижу — по дороге на горку, как обычно идти на охоту, плетется желтый от старости Джек, волочит больные лапы, а рядом так же немощно шкандыляет светлый шарик — Машка. Дед не стал их догонять...

Накинул я, значит, куртку, нацепил шапку — декабрь, однако, — и вышел во двор нашей конторы. Смотрю, на деревянном поддоне возле мусорного бака лежит на боку наша Кошка, над ней уже склонился Юра. Андрюха смолит свою вонючую «Приму», рядом торчит охранник Филиппыч, крикливый нервный мужичок, вечно изображающий из себя большого босса. Присел и я рядом.

— Видишь, в башку ей Летуновы засадили, хе-хе... Я тут, во дворе, ведра от краски мыл, видел, как они стреляли, — говорит Андрюха, в углу его губ прыгает бычок, разбрасывая искры. — Думал, по голубям. А тут бац — и кошка с крыши свалилась, хе-хе. Я думал, дохлая уже. Погладил по голове — а она живая, хе-хе, смотрит на меня... Я ее один раз в подвал пускал, она крысу там поймала. Я крыс боюсь, хе-хе, а она — нет. Жалко кошку: крысоловка. Вот я ее и положил на поддон, хе-хе, чтобы хоть не в снегу валялась...



Юра, с налитым краской лицом, трясущимися пальцами осторожно касается тела животного, ощупывает то тут, то там. Кошка кажется безжизненной. Он поднимает ее голову — и я вижу в затылке рану. Рана маленькая, почти неразличимая: черная кровь запеклась на черной шерсти.

Неожиданно Кошка открывает глаза — зеленые, яркие. Но уже бессмысленные. И закрывает снова.

— Сдыхает, что тут думать! — безапелляционно заявляет Филиппыч начальственным тоном.

Филиппыч — прихвостень у начпроизводства, вечно бегает за ним, порой даже козыряет фразой: «Мы с Петровичем решили...»

— Юра, да чего ты с ней валандаешься? Давай ее в мусорку выбросим! Утром приедет машина за баком и вывезет ее на свалку.

Юра медленно поднимается. Я вижу, как у него дергается щека, часто-часто моргают красные веки, а руки сжимаются в кулаки. И всегда добродушный, иронично-дружелюбный Юра внезапно буром прет на Филиппыча, хватает его за грудки и орет:

— А давай тебя в мусорку выбросим?! Давай тебя на свалку вывезем?! Ах ты, козел! А ну вали отсюда в свою будку!!!

И чуть не швыряет Филиппыча на присыпанный снежком асфальт. Тот, видя, что компот не тот, быстренько уматывает в сторожку и больше уже не показывается.

— Да живая она еще, Юра, хе-хе... — Андрюха Займи-Но-Выпей тоже присаживается, гладит Кошку, пропуская меж пальцев твердый длинный хвост. — Это ж кошка, хрен ли, они живучие, хе-хе... А давай я ее прямо на поддоне в ваш корпус занесу, а то снег вот-вот повалит?

На черной шерсти хорошо видны мелкие колючие снежинки. Вьюжит потихоньку. А днем, казалось, был апрель... Такая у нас зима обычно: дождь, слякоть, все это замерзает за ночь в ледяные морщины, а с утра припорошит мелким снегом — и ходишь, цепляясь за заборы и кусты. Для автомастеров — святой праздник, «день жестянщика». А днем опять развезет, и так по кругу...

Вдвоем Юра и Андрюха, с трудом пролезая в двери, несут здоровенный поддон, ставят на пол в коридоре под лестницей.

— А давай в гараж, хе-хе? — Андрюха плюет себе в ладонь, тушит сигарету, размоченный чинарик сует в карман. — Я там убрался как раз. Летунов приказал все барахло, хе-хе, вынести и сжечь. Там теперь пусто.

— Давай, — Юра оттирает пот со лба, несмотря на то что на улице морозец. Он выглядит больным и постаревшим.

На первом этаже нашего корпуса — огромный гараж. Ворота выходят на улицу, а внутрь здания из него ведет дверка под лестницей. Гараж по прямому назначению не используется, конторские «газельки» держат под навесом во внутреннем дворе. И мы хлаמים в гараже: сваливаем пустые коробки и упаковку от входящей комплектации. Каждый год набираются этого барахла горы, до потолка. В очередной раз обходя владения, Летунов возмущенно приказывает все это пожечь на фиг. Видимо, так произошло и теперь.

В углу гаража стоит старый диван — излюбленное местечко бухого Андрюхи, если тому удастся утащить ключ на вахте или выпросить у меня. Бывает, Андрюха божжует на этом диване все выходные: домой идти не хочет. Глотнет своей «ацетонки» — и в гости к синим тараканам. Гоняет их, лежа на диване, машет руками-ногами, бормочет что-то...

— Ну открывай, начальник! — лыбится на меня Андрюха, шевелит своими погаными усиками. — У тебя ж ключ, хе-хе.

Открываю. В полумраке гаража — широкие полосы света, проникающего сквозь щели в воротах, в полосах сверкают пылинки.

Сам-то я полагаю, что помрет наша Кошка, даже если и жива пока. Пуля в голову — это не камень в бочину схватить или просто сорваться с крыши. А Летунов — козел! Хотя я и не умиляюсь кошечкам, как некоторые, но так тоже нельзя. Сам жестокосердный человек, да фиг с ним, но еще и внука, ребенка, приучает.

Юра осторожно берет обмякшее длинное тело Кошки, несет к дивану, укладывает там, сам садится рядом и продолжает что-то разглядывать и ощупывать. Андрюха по-тихому сваливает. Я закуриваю, молча стою рядом. А что тут скажешь?

Эта Кошка прибилась к нам с полгода назад, будучи уже длиннопалым котенком-подростком. Пролезла под воротами, спокойно прошлась по длинному двору, обнюхала все закутки, уселась у дверей. Юра сразу ее заприметил. Естественно, по своему обычаю, стал прикармливать и приваживать. Кошка начала внаглую ходить на наш второй этаж. Сначала кое-кто возмутился: мол, на фига нам тут кошка — блох таскать, по углам гадить! Мне бы, как начальнику отдела, проявить строгость и запретить Юре пускать в помещения проектного бюро животное. Да я не стал. Мы с Юрой — давние коллеги, уж лет двадцать вместе работаем, всю нашу необъятную объездили с командировками, да по таким медвежьим углам! И вообще начальник я никудышный, в смысле твердого обращения с подчиненными.

А потом все привыкли к Кошке. Да и культурной она оказалась: по углам таки не гадил и вообще почти не проявляла себя. Четко знала свое место: стеллаж между моим и Юриным рабочими местами — да колени Юры. В конце рабочего дня ее выставляли из корпуса на улицу, она не протестовала. Было, пару раз забыли, заперли — обошлось. Кошка не орала, ничего не попортила, не напакостила, терпеливо ждала утра.

И вот — пристрелили ее. Жалко.

А между тем идет рабочее время, до конца трудового дня еще часа три.

Говорю Юре:

— Ну, Юр... Ты как тут справишься, — а с чем справишься, я и сам не знаю, просто так говорю, — приходи... Надо сегодня доделать начатое. У тебя на столе еще три платы ремонта дожидаются.

И добавляю, чтобы сгладить свою «начальничью» фразу:

— Тут не холодно. Андрюха, видать, отопление наладил. И двери, смотрю, подшил...

Ухожу.

3.

Пришел Юра на свое рабочее место, разобрал кавардак, который сам и устроил, уселся. Краем глаза смотрю — начал работать, но все так нервно, все рывком, все с сердцем! Ну, думаю, ничего, отойдет — взрослый мужик, не девочка-пионерочка. Хотя знаю: для него злодеяния хуже, чем кошку обидеть, на свете быть не может.

А у меня с ним всегда работа совместная: он — по железкам, я — по программам, которые с этими железками работают. И вот у нас самая «жара» — декабрьская комплексная отладка. Изделие сдавать надо, как обычно, вчера. А тут такой вот пирог с котятами... С Кошкой, точнее.

Как-то мы отработали этот день. Все разошлись. Я последний. Проверяю, не остались ли включенными приборы, тушу в комнате свет, привычно ищущим взглядом Кошку — надо выгнать на ночь... Потом понимаю: а нет тут Кошки, Кошку-то подстрелили. В гараже лежит, при смерти. Жалко! Ни за что убили животину. Никому не мешала.

Ну, дальше вечер трудного дня, дела семейные, закрутилось, забылось.

На другой день прихожу — Юра уже в своей закуске. Он ранняя птичка, всегда строго к восьми, хотя формально рабочий день у нас с половины девятого. Говорит, с армии привычка осталась. Не верю. В армии он пробывал неполных три года, а на гражданке — уже больше тридцати лет. Все должно стереться. Просто такой человек, жаворонок.

Мне вот трудно дается ранний подъем, каждое утро — это преступление против моей личности. Наверное, до смерти не переучу организм. Но что поделать, в таком мире живем... Благо у всех высоких начальников к программистам несколько особое отношение. Считаемся отчасти творческими людьми, и нам есть негласная поблажка: раз засиживаемся до ночи — утром можно и опоздать. Но в меру. К тому же Летунов мне недавно высказал: ты, мол, уже давно не простой инженер, а целый начальник отдела, тебе, мол, положено и одеваться по-другому, и трудовую дисциплину соблюдать самому, а заодно и с подчиненных требовать.

Требовать мне, по большому счету, надо только с себя. Остальные все и так соблюдают. Особенно Юра. Вот он — на месте как штык. Выбрит, наверняка пришел в костюмчике и галстук. Пиджак в шкафу, Юра натянул рабочую куртку и уже паяет. Рядом чашечка с утренним чаем, да такие запахи распространяет! Юра любит заварить всякие травки ароматные. Мы с ним в этом солидарны. Я с детства привыкший, с кавказских предгорий: там у стариков чай из душицы и чабреца, из ромашки и кипрея, а еще из листьев малины, смородины, ежевики, вишни и дикого терна... А отвар веток шиповника вы пробовали? Да с темным горным медом? О-о-о! Вот это чай так чай!

Молча наливаю себе золотой настой из чайничка, молча подсаживаюсь рядом, жду, когда Юра оторвется от платы, положит паяльник. Тогда и поздороваемся. Нечего лезть под руку.



Юра кладет паяльник, сдвигает вверх свои налобные лупы — очки электромонтажника, в них он похож на черепашку-ниндзя — и без «здрaсте» начинает:

— Я вот тебе что расскажу, начальник... Я когда служил в армии...

Думаю, сейчас очередную смешную армейскую байку стравит.

— Ну-ну, и как ты служил?

— Да погоди, я про другое! Когда я служил свои лейтенантские три года после института, то думал остаться в армии. А я ж «пиджак», у таких карьера, в отличие от кадровых офицеров, складывается не так лихо. Да и настоящим офицерам надо сначала помотаться по всей стране, побыть на самых собачьих должностях — и то неизвестно, дослужишься ли до майора. Ведь майор связи — это ж целый «батяня-комбат»! Разве под дембель только получишь. А подпола и вовсе не жди. Ну вот. А в то время уже всюду был Афганистан...

Юра отпивает глоточек из своей парующей чашки. Я тоже.

— Мать-и-мачеху с липой заварил? — спрашиваю.

— Ну да... Ты слушай! У нас многие офицеры начали подавать рапорты в Афганистан. Горячая точка — дело такое. Опасно, конечно, могут убить. Но зато это такой рывок карьеры! Потом — хоть куда. У нас был один старлей, очень туда рвался. Он потомственный военный, и ему хотелось проявить себя боевым офицером. Среди первых выхлопотал себе Афган. Долго не выходило у него, но добился. Только погиб там буквально через неделю. Вот так...

Еще помолчали, чайку попили. Юра продолжает:

— Но никого у нас это не смутило и не остановило. Армия, понимаешь... Я тоже засуетился: решил, для меня это хороший шанс. Молодой был, дурной. Также написал рапорт. А потом как-то и подзабыл. Жену из дома выписал, другое началось... Я ей не рассказывал тогда. Я и потом не рассказывал... Да никому не рассказывал вообще.

Я молчу, слушаю. Юра лезет в карман за сигареткой, после чая самой сладкой.

— А меня раз — и в командировку. Сперва в Ташкент, а оттуда мы должны были лететь в Файзабад. Такая практика была: сначала тебя краткосрочно отправляют, а потом уже, по результатам, могут и надолго. Вот и меня — на месяц. Две недели в Ташкенте стрелять учили. Я за два года службы автомат в руках пару раз всего подержал — на стрельбище! Только до Файзабада этого мы так и не долетели. Сначала нас самолетом перебросили к месту формирования узла связи, я там свою аппаратную принял. Дальше полетели вертолетами — а нас сбили. Ну, вертолетчики там были уже асы. Наш посадил-таки «вертушку» где-то в горах. Вот тут-то я и увидел войну. В нас стреляли, мы стреляли... Откуда стреляют, куда надо в ответ — хрен его знает!.. А нас было-то двадцать человек, все — молодые офицеры и прапора, все — связисты. Толком ничего не умеем, наша-то война — по радио. А тут всё по-настоящему: стреляют — убивают. Человек пять погибли в тот же день. И летчика нашего убили.



Ну, связь-то мы наладили быстро, это мы умеем, аппаратура с собой была. К нам вышло подкрепление — пешком, по горам. Лететь там нельзя было. Верее, лететь-то можно, а вот если снизишься для посадки — собьют точно. Держаться нам надо было сутки, а у нас толком ничего не было — ни оружия, ни боеприпасов, в смысле. Мы ж одну свою связную мотню везли! Поддержка с воздуха, правда, прилетала несколько раз. Постреляют — басмачи чуть присмирят. Улетели — опять прут. Я больше всего боялся в плен попасть. И думал: все, хана. Виду не показывал, даже всех остальных парней типа вдохновлял, поддерживал боевой дух. А сам внутренне прощался с белым светом. Живым, решил, не дамся ни под каким соусом!

А к вечеру до нас дошло отделение десантуры. Эти — настоящие вояки, дали басмачам джазу! С ходу поперли так, что те затихли надолго. И уже на закате подлетели транспортные «вертушки», к нам не стали приближаться, в отдалении десантников насыпали. Те подтянулись, по всем правилам выстроили оборону, плацдарм для эвакуации. Тут уж и я воспрял.

Юра вертит сигаретку в пальцах, пальцы подрагивают. Не спешит закуривать, продолжает:

— Вертолеты сначала ушли, потом стали по одному возвращаться и забирать нас. И когда уже последние начали грузиться, басмачи решились. Может, подкрепление к ним подвалило, а может, на авось — полезли изо всех щелей. А я еще на нашей убогой позиции оставался с парой десантников. Я там за старшего был — старлей ведь получил перед самой командировкой. Для «пиджака» старлей через два года службы, да без «волосатой лапы» в армии, — это надо было хорошо постараться. Вот я и настарался. Наверное, за это меня командировкой и премировали...

В общем, на нас навалились — я их уж в десятке метров вижу. Отстреливаюсь, десантники — тоже. «Вертушка» ревет, кругом пальба... Вот она — война, куда я так рвался! Стреляю в людей, они в меня стреляют. Как в кино. На нас много людей бежало. Или мне так казалось со страху, не знаю. Я палил просто так, не целясь, в толпу. Наверное, в кого-то попал. Я видел, один человек согнулся пополам, потом упал, а второй вообще, как подкошенный, на бегу мордой в камни полетел. Убил я его, не убил — не знаю...

На этом моя война закончилась. Нас вывезли. Через неделю я улетел назад, в родную часть: срок командировки вышел. Сам больше не просился в Афган, и приказ не приходил. А потом дембельнулся — жена уговорила. Я не смерти забоялся. Я больше стрелять по людям не захотел... Пошли курить.

Я почему-то верю Юре. Этот смерти не испугается. Я видел, как он — немолодой, толстенький, с давлением и прочими возрастными болячками мужик — рванул по пятнадцатиметровой металлической лестнице вдоль вертикальной стены на помощь ребенку, неизвестно как оказавшемуся на крыше пятиэтажки. Унес его там от края, отдал кому-то в чердачное отверстие — сам уселся на свесе, курит себе, ножками болтает.



— Да, я к чему это... — Юра приостанавливается. — У меня с тех пор к оружию вообще душа не лежит. Даже брать в руки нет желания. Но вот вчера — мне так захотелось снова взять мой афганский «калаш»! Да пойти к Летуну да и засадить ему пулю. За Кошку. Уволился бы отсюда, только чтобы его рожу больше не видеть! Да кому я нужен? Скажут: старый хрыч, бесперспективный... Ну, веди курить, начальник, у тебя уже уши пухнут! — смеется.

Курим во дворе. Там никого. Рано еще.

Юра продолжает:

— Я Кошку вчера к врачу повез. На Московской ветлечебница есть дежурная, круглосуточная. Там меня знают.

— Да тебя во всех звериных больничках, поди, знают.

— Это да. Там врачиха была как раз самая нормальная. Молодая баба.

— Симпатичная? Небось, ты все стати ее изучил?

— Да ладно тебе, не это важно! Умная она. Снимки сделала, осмотрела. Говорит, пуля у Кошки в черепе засела, под костью. Оперировать опасно — умрет под ножом.

— И что?

— И то. Сказала, есть маленький шанс, что выживет. Внутренних кровотечений нет. Раз до сих пор не умерла — возможно, что ранение не смертельное. Сделала уколы, назначения написала. Приказала Кошку положить и не прикасаться. Воду только давать. Наблюдать.

— И как она воду пить будет? Она ж не шевелится.

— Из шприца вливать.

— Ну и как, вливаешь?

— Вливаю. Вот, сюда привез. Домой-то с работы не сбежишь. Жена тоже на работе. Так что давай, начальник, ключ от гаража — положу Кошку на диван.

Ну, дал я ему ключ. Принес он Кошку из машины, уложил. Каждый час к ней ходит — наблюдает. Иногда я спущусь за компанию. Кошка лежит неподвижно, глаз не открывает. Видно только, что дышит: впалый бок чуть поднимается. Бесполезно, думаю про себя. Даже кошка — и та с пулей в голове долго не протянет. А Юра вполне позитивно настроен. Ну и ладно.

Вечером, закончив наши труды праведные, расходимся по домам. У проходной — Андрюха Займи-Но-Выпей, окончательно уработанный, «мама-папа» сказать еле может. Трется возле сторожа, просится на ночлег. Увидел меня — полез обниматься. Вонь от него, как от помойного кота!

Сегодня сторожем не Филиппыч, а нормальный дедушка — Иван Иванович, щупленький старичок с крупными жилистыми руками. Земляк мой, тоже с Кавказа родом. Я ему говорю:

— Иванович, вы только не пускайте этого обормота в гараж на диван. Там у нас Кошка больная. Он еще ее придавит.

— Да знаю, знаю, — отвечает Иван Иванович. — Мне Юра уже рассказал про Кошку. Жалко животную. Ласковая! Нет, не пушу я Андрея



туда. Пусть у меня в сторожке на топчанчике проспится. Не оставлять же его на улице. А домой точно не дойдет. Упадет еще, заснет — замерзнет, не дай бог! Морозец-то крепчает.

4.

На другое утро — все те же декорации, все те же действующие лица. Я пришел — Юра уже работает. Про Кошку рассказывает. Как он ее наблюдает. Все без изменений: Кошка живая, но лежит как черный кабачок на грядке.

То же самое и в среду, и в четверг. День сурка, короче.

Вечером в четверг, перед уходом, Юра мне говорит:

— Слушай, начальник... Сегодня же на дежурстве Филиппыч?

— Ну да, Филиппыч. Но ты ж знаешь, как он дежурит!

А дежурит Филиппыч так: закрывает всю контору — причем без обхода корпусов и помещений в них — ему фиолетово, есть там еще сотрудники или нет, — сам запирается в своей сторожке и храпит до утра. Его выноси, и то не проснется. У моего отдела бывают ночные смены для техподдержки: сопровождение продукции — саппорт, по-нашему, — по всей стране. Кемаришь себе, поступил звонок или видеовызов — подсел к компу, решили проблему — и дальше дремлешь вполглаза. Кто-то из моих парней и девчонок по ночам в игры рубится, один на гитарке играет — вон висит на стене у его стола, красивая такая, настоящий «Фендер Стратокастер». Юра этому парню усилитель собрал из подножного сыра — тот не нарадуется: ламповый, самое «тру», мечта гитариста! Юре это раз плюнуть, он старый электронщик, динозавр из теплой ламповой эры. А я по ночам, если нет запарки с работой, пишу себе что-то — в стол, как говорится. В общем, все на саппорте забавляются, как умеют. И Филиппыч частенько нас закрывает в корпусе. Потом ему по часу звонишь на вахту — спит, байбак старый!

— Так ты чего от Филиппыча хочешь, Юра? — спрашиваю.

— А ты сегодня не сидишь на «поддержке штанов»?

— Нет. Сегодня — нет.

— А своих дел у тебя тут ночью не предвидится?

— Нет. Меня жена уже подрядила на вечер, поедem в «Мегу». Надо ж начинать подарки покупать — Новый год на носу!

Юра как-то мнетса. Явно хочет о чем-то попросить. Ему это всегда трудно. Спрашиваю сам напрямик:

— А тебе что нужно-то?

— Да понимаешь... Филиппыч же. Боюсь — добьет Кошку и выкинет. Скажет потом, сама сдохла.

— Да брось ты, Юра! Ну не настолько же он сволочь. Да и ты его так запугал, что он шарахается от тебя по углам.

— Вот потому и боюсь: в отместку сделает. А люди сволочи и есть. Животные — те намного лучше.



— Ну ладно, ты говори, чего хочешь.

— А ты скажи Филиппычу — ты ж начальник, имеешь право, — что, мол, меня поставил на саппорт сегодня. Только не сидеть тут всю ночь, а чтобы я приехал пару-тройку раз на пятнадцать минут. Типа приглядеть за аппаратурой. А я и взаправду подскочу. Ты ж знаешь, я тут рядом живу. Кошку попою, посмотрю на нее. Филиппыч тогда побоится что-то с ней сделать.

— Ну ты придумал, Юра! И будешь посреди ночи подрываться три раза, ездить сюда? Или вообще идти пешком, по гололеду?

— Ну а что такого? Заведу будильник. Встал, вышел покурить... Сюда мне — полтора квартала. Тебе-то что?

— Да мне ничего. Скажу Филиппычу, мне не трудно.

— Ну вот и ладно. — Юра радуется. — Давай тогда ключи от гаража. А то открывай сам, со мной приходи за компанию — веселее будет! Собаку свою прогуляешь.

— Нет уж, спасибо.

— Ты ж ночник, сова!

— Да я-то сова, только таскаться по холоду эта сова не любит. Собака совы — тоже. Буду я еще из-под теплого бока жены вылезать!..

— Да зачем тебе жена? У тебя двое детей, и старый ты уже.

— Сам ты старый! Ты лет на двадцать постарше меня будешь!

Вот так поперебрасывались всякой ерундой и разошлись по домам.

Утром бодрый и довольный Юра отчитывается: реально приходил три раза ночью, Филиппычу спокойно спать не дал, тот вообще теперь волком смотрит. Зато с Кошкой все в полном порядке.

Какой там, думаю, порядок! Зашел, глянул — все так же лежит трупом. В ярком луче зимнего солнца блещет черная шерсть, переливается радугой. На брюхе буроватый пух чуть шевелится — дышит. Пока дышит. Жалко. Красивая кошка была, хоть и худая, сколько Юра ее ни откармливал. Порода такая. Крысоловки — они всегда поджарые, мускулистые.

Ближе к обеду — долгожданное явление народу: Андрюха Займи-Но-Выпей заваливается к нам в комнату. Перегаром и вонью сосновой канифоли — смывочки, значит, уже завел в душу — дышит с порога. Вещает:

— Ну что у вас тут? Хе-хе! Все, что нужно, горит, все, что не нужно, не горит? Хе-хе! А там эта... хе-хе... кошка ваша... хе-хе... того... хе-хе!

У меня сразу мысль: сдохла, бедолага, отмучилась. Пуля в голове все ж таки. Юра расстроится... А он опять не слышит: работает в наушниках, чтобы на нашу программистскую болтовню не отвлекаться. Окуджава у него там. Сквозь чуть сдвинутые амбушюры:

Флейтист, как юный князь, изящен...

И в вечном сговоре с людьми

Надежды маленький оркестрик

Под управлением любви.



Встаю, чтобы встретить Андрюху посреди нашей длинной комнаты, пока он пытается выклянчить свои традиционные башли у всех подряд, не разбирая. Блокнотик в руке, карандаш за ухом — мытарь пришел! Только он отдаст, можно не сомневаться. Рупь получит — и тот принесет.

— Ты чего орешь? — говорю ему. — Пошли отсюда, видишь — люди заняты, у нас рабочее совещание. Не мешай, идем в коридор, пятак дам.

Беру его под руку, вывожу, достаю монетку. Андрюха уже карябает в блокнотике, на страничке с моим именем.

— Ну чего там Кошка? — спрашиваю.

— А она ногами дрыгает, хе-хе! Я брусья принес — Петрович приказал на просушку в гараже разложить, хе-хе. Смотрю — кошка ногами дрыгает. Задними, хе-хе. Дрыг-дрыг! Дрыг-дрыг!

— На тебе пятак. Эх, урежешься на него в шотаруствели!

— Урежусь, — жмурюсь от предвкушаемого удовольствия, отвечает Андрюха.

— Ну иди, будет с тебя, не мешай нам.

— Понял, начальник! В получку долг с меня, ты знаешь!

— Знаю-знаю, иди.

Сам спускаюсь в гараж, в потемках с трудом попадаю ключом в замочную скважину. Наверное, предсмертные судороги у Кошки. Все, финита.

Свет включил, смотрю — Кошка неподвижна. Эх, жаль! Не выкабалась. Видать, последняя кошачья жизнь у нее была... Сколько им там положено? Девять, не то десять...

Дрыг-дрыг!

Это что такое?! И вправду — дрыг-дрыг!левой задней лапой. Потом правой задней — дрыг-дрыг! Как и сказал Андрюха. Вот так же у него поганые усишки — дрыг-дрыг.

А не похоже это на предсмертные судороги. Я не кошатник, но с животными все-таки с детства, всего насмотрелся. Наверное, какой-то бессознательный нервный импульс заставляет конечность шевелиться. Полежит минутку — опять дрыг-дрыг, сначала одной лапой, потом другой. Странно... Погладил длинную морду — теплая, нос — сухой, горячий. М-да... Тяжело раненный зверь. Хоть живая еще — и то хорошо. Пойду скажу Юре.

Юра сбегал в гараж, вернулся спокойный.

— Ну что скажешь, кошатник?

— Да что сказать тебе, собачник? Она ж парализованная. Пуля вошла там, где позвоночник с черепом соединен. Метко стреляет сволочь эта Летунов! Снайпер поганый! Знает, куда целиться. Эх!.. Повезу после работы опять в больничку. Ты ж меня не отпустишь в рабочее время, начальник?

— Не отпущу, Юра. Иначе нас всех, как Кошку, за срыв сроков... Год-то на исходе. А у нас, как всегда, аврал!



— Да ладно, и так ясно, я ж не прошусь. На вот тебе — наладил плату. Подключай, проверяй, делай свои замечания.

5.

Конец декабря проползает незаметно. До Нового года три дня. Суета, суматоха на работе, дома... Погодка — как обычно у нас под Новый год: дождь со снегом, под ногами месиво из грязи и льда, ветер рвет еще зеленые, но уже неживые листья, задержавшиеся на тополях, свищет в обледенелых проводах. По подворотням жмутся уличные псы. Им хуже всех. Мне кажется, кошкам проще. Они маленькие, в вентиляционные окошки подвалов шасть — и вот тебе дом и уют. В сухости и тепле, по крайней мере.

А наша Кошка жива, как ни странно. Юра в очередной раз свозил ее в ветеринарку. Там опять сказали, пятьдесят на пятьдесят: может — очухается, может — нет. Ничего решительного делать они не возьмутся. Влили Кошке пару капельниц, разместил ее Юра опять на диване в гараже, в прежнем режиме наблюдает. В дежурство Филиппыча каждый раз подбивает меня «поставить его на саппорт», упорно ходит ночью по два-три раза. Я уже ожидаю, что Филиппыч стукнет Летунову, а тот меня и спросит, а какого, собственно, беса я организовал такой идиотский режим работы в отделе. Надо техподдержку осуществлять — сажай человека на ночь, заполняй табель, подавай служебку о сверхурочных. А бегать в контору по ночам, да еще по три раза, — глупость какая-то... Ну, проживем — увидим.

Кошка преподнесла-таки сюрприз. Пришел Юра — сияет.

— Ну? — говорю. — Что за идиотская лыба? Нам тут не до веселья — срок мы сорвали, зуб даю, тельняху рву!

— Побереги тельняху, начальник. Кошка-то, Кошка! О как! — и задирает вверх прокуренный желтый палец.

— Ну?

— Голову поднимает, смотрит!

— Да ну-у-у?

— Вот тут уже я тебе зуб даю, тельняху рву! — улыбается.

Пошли посмотрели — и правда. Глаза открывает, когда слышит шаги, глядит. Мутным взглядом глядит, большим. Но смотрит на тебя, ведет вслед расширенным в сумраке зрачком. И чуть поворачивает шею. Задние лапы все так же иногда подрагивают, передние — лежат как плети. А еще ушами поводит. Странновато так, несуразно — резкими движениями. Наверное, это тоже неподконтрольное, как и с лапами.

— Я ей корм давал — в рот сунул. Пожевала кусочек, — говорит Юра. — А пить не может сама. Паралич! Шприцом ей вливаю — вроде глотает. А раньше не понять было, проходит в нее вода или нет, выливалась между зубов...

Неужто выжила, думаю я. А в радость ли ей это? Если она парализованная останется... Что человеку, что кошке это не жизнь.



Тридцатого декабря у нас с обеда уже нерабочий день. Отделы накрывают столы, звенят бокалы и бутылки, по коридорам растекаются запахи оливье и мандаринов — короче, пьянка предновогодняя начинается, корпоратив типа. Только мы всей конторой не собираемся, глупости это, а отмечаем по отделам. Потом, как поддадим хорошенько, начинаем ходить компашками по соседним комнатам — в гости друг к другу. То там сто грамм, то там сто грамм... Где-нибудь дискотека устраивается. Где-то народ с гитарой сидит: Цоя поют, Шевчука, а попозже начнется «Все идет по плану» да «Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!».

Летунов к этому лояльно относится: перед Новым годом всем все можно. Срок мы почти не сорвали. Считай, в последний вагон влетели, с подножки упали мордой об ступеньку, ноги по шпалам бьют. Зацепились чудом. Так что: «Эх, говори, Москва, разговаривай, Рассея!»

В разгар гульбища, на перекуре, во дворе полуодетый народ: все да-тенькие, всем плевать на высокую вероятность гриппа (а потом веселые рождественские каникулы с температурой под сорок). Дым столбом, крики и хохот — кого-то за что-то интересное схватили, веселье! Пускаем ракеты, кто-то танцует с бенгальскими огнями в обеих руках под «Аргентину — Ямайку».

Юра тащит меня в сторону от шумящей толпы:

— Начальник! Слышь, начальник! Пойдем отойдем...

— Ну чего? Еще скидываемся и шлем гонца?

— Да какой гонец! Я не об этом... Понимаешь, я тут на праздники к дочке уезжаю в Казань. Давно не виделись. Соскучились мы с женой по ней да по внучке. Меня девять дней не будет, ровно девять. Не меньше. Но и не больше.

Всем своим ливером чую, к чему Юра клонит. Дочка у него, в Казани которая, — единственный его ребенок. Большой человек стала. Известный хирург, детский причем. Как Юра выражается: «Каждый день детей режет, по несколько человек иногда». Жуткая работа! Это какие нервы надо иметь! Когда перед тобой — тело ребенка, и ты над ним — последняя преграда для смерти. Твои руки — единственный спасательный круг в океане боли. Нет уж, лучше мы с нашими программками да железками повозимся!..

— Ты б за Кошкой последил, а, начальник? Я корм куплю, все принесу, воду там поставлю — ты ей шприцом вливай. Ну как?

Ну что ему сказать? Я ведь собирался к брательнику махнуть на три-четыре дня в станицу. Двумя дружными семьями Новый год встречать. Там у брата банька, да какая банька! Да своя самогоночка из свойского винограда, чистая, аки слеза! Да сальце — со своих же свиношек, да колбаски и шашлычок — из них же, родимых... А потом — по утреннему холоду, по подмерзшей земле, впереди мой Джек и братова Лара — красный ирландец и черный гордон, сзади мы с брательником с ружьишками... Сказка! А еще я обещался детям свозить их на такую кучу новогодних мероприятий! Жена уже на холодильник список магнитиком прицепила и ручку рядом повесила — отмечать будут, что я из обещанного обеспечил, а что еще нет.

— Юр! Ну ты даешь... Не могу я, планы у меня.

Он топчется, нос в землю. Потом поднимает глаза, смотрит исподлобья:

— А что ж делать-то?

— Не знаю.

— Сдохнет без меня...

— Ну не знаю я, Юра! Что ж я — с твоей Кошкой должен просидеть все новогодние праздники? Меня ни дети, ни жена точно не поймут. Я и сам себя не пойму!

Он что-то ковыряет ногой на асфальте, снова молчит, курит в кулак.

— И я жене обещал в этом году точно поехать к Кате... Уже билеты взял — на тридцать первое, на вечер. Там скидка хорошая в этот день. Да... Придется, наверное, взять Кошку в переноску и везти с собой.

Я внутренне выдыхаю. А Юре говорю:

— Ну вот! Тебе это дело привычное. Мало, что ли, ты наездил со своими кошками?

— Да, немало, это точно... Не хотелось только тревожить ее. Таскать, трясти, вот это все...

— Ничего, кошки живучие. От поездки хуже уже не будет.

— Да ты понимаешь... У внучки-то — аллергия. Зверская аллергия. С детства. На кошачью шерсть. Задышаться прямо начинает. А тут я припрусь с Кошкой...

Он опять замолкает. Потом, уже решительно и бодро, говорит:

— Ну ладно! Поживу там в гостинице. Жена — у Кати, а я где-нибудь поблизости номер сниму. Мало, что ли, мы поехали по командировкам с тобой, а, начальник? Дело-то привычное!

6.

Моим мечтам о долгожданном новогоднем отдыхе сбыться было не суждено.

Есть у нас тридцать первого декабря традиция... Нет, не в баню ходить, как в надоевшем до зубной боли старом фильме. Тридцать первого декабря с утра Летунов собирает всех начальников подразделений на последнее в году, итоговое совещание. Для раздачи слонов и пилюль. Мне в этом году досталась, конечно, пилюля. В конце, после «всем спасибо, все свободны», прозвучало сакральное: «Начальник пятого — задержитесь!»

Ну, задержался.

— Ты, Рома, свое изделие практически завалил, — говорит мне Летунов, вставая из-за своего стола размером с футбольное поле. — Мне за это было — вот что!

Он показывает пальцами вилку в горло и продолжает:

— Нет, ты сейчас скажешь, что ты успел в последний день. Но это не ты успел. А я успел! Мне пришлось идти на поклон к большому человеку — о-о-очень большому человеку! Чтобы он подписал акты, я гонялся за ним по аэропорту! Он улетал в Лондон, и я ему уже был до фонаря! Я теперь у него должник. А ты — у меня. Понимаешь?!

Летунов явно начинает злиться.

— Понимаю, — говорю.

А что мне еще говорить ему? Мы ведь, действительно, контракт, считай, нарушили. В последний день такие работы не сдают. И никому не нужны мои объяснения, что работа была новая, сложность задач — высокая, сроки — запредельно короткие, а мы на самом деле работали и в выходные, и в проходные... Да кого это колышет?

— Хорошо, что понимаешь, — уже вполне миролюбиво продолжает Летунов. — А долг платежом красен. Поэтому на все праздники ты остаешься здесь, обеспечиваешь поддержку своих работ — зачищаешь за собой документацию — и ведешь те проекты, что должны идти на производстве без остановки цикла, у нас таких немало. Ознакомься с приказом о назначении тебя на этот период моим врио и приступай. С завтрашнего числа, с восьми тридцати. Вопросы есть? — и подает мне приказ.

— Вопросов нет, — отвечаю.

— Отлично! — Летунов потирает руки. — Ты знаешь, я не обижу: за период временного исполнения получишь двойной оклад. В приказе отмечено.

Пока я читаю и расписываюсь, он подходит к своему роскошному шкафу-сейфу, гремит тяжелой связкой ключей, что-то там ищет, потом поворачивается — в руках бутылка и два бокала.

— Ну что, по вискарику? С наступающим?

— Спасибо, — говорю. — Я за рулем.

— Тогда до новых теплых встреч в новом году!

Все, приплыли.

«Обрадовал» жену и детей, конечно. Ну жена-то — с пониманием. Привыкла к моей идиотской работе — с ночными саппортами, с командировками по месяцу, причем иногда почти без пауз. Порой успеваешь только зайти домой, помыть филейные части, взять чистое белье — и прощай, любимая. Нашей совместной жизни уже четвертак, давно притертые детали. Детям пообещал: все вечера — для них, а в выпадающие выходные дни вообще могут распоряжаться мною как угодно.

Пошел покурить на балкон — вспомнил про Юру и Кошку. Ну хоть тут сложится путем! Представляю, какво мужику — приехать к родной дочери, которую не видел года три, за полстраны притащить полудохлое животное, от которого у любимой внучки приступы аллергической астмы, поселиться в гостинице... Сюрреализм какой-то!

Звоню:

— Юра, ты же, как я понимаю, еще не уехал?

— Нет, манатки собираю. Поезд в двадцать три с копей. Переноску кошачью вот помыл, сушу. Скоро за Кошкой в контору заеду, потом еще в больничку ее свожу для порядку...

— Какая больничка, Юра?! Вечер тридцать первого декабря! Кто там тебя с Кошкой ждет?!

— Э, ты не понимаешь! Там эта врачиха — она хорошая. Она лучше, чем людские врачи. Она дежурит в Новый год. Я знаю, звонил.



— Короче, Склифосовский! У меня планы резко поменялись. Кошку с собой ты не берешь. Я присмотрю за ней все праздники. С тебя пузырь.

Про пузырь — это я так, в шутку, конечно.

— Ни хрена себе! А что у тебя стряслось?

— Летунов стрясся. Не важно.

— Так... А давай я тебе все завезу тогда. Я ж корм купил, лекарство там...

— А ты еще трезвый — за руль-то? Я тут с горя уже принял пару рюмах. Как говорится, провожаю старый год, ну и хрен с ним, пусть идет...

— Да я как стекло! В поезде с женой и выпьем шампанского. Встретим Новый год под звон бокалов и стук колес.

— Ладно, набери, как подъедешь ко мне. Выйду на перекур.

— Хорошо, начальник, хорошо!

Слышу в его голосе настоящую радость. Ну вот, пусть будет ему новогодний подарок.

Минут через двадцать Юра мне уже звонит: мол, выходи. Кобель мой, конечно, тоже увязался: ему в радость побегать по морозцу. На улице уже праздник в полный рост, пьяненькие группки по гостям бредут с песнями, пацаны на трамвайных путях петарды взрывают.

Юра вышел из своей белой «десятки», в багажник лезет:

— Вот тут корм, еще лоток и наполнитель. Кошка-то скоро начнет вставать. Чтобы далеко ей не ходить, ты поставь там... А вот переноска еще на всякий случай... Так что у тебя произошло?

— Да Летунов в наказание оставил за себя на все праздники. Приказом. Буду на работе каждый день.

— О-о-о! Так ты у нас теперь — директор? Ба-а-альшой человек! Ну деньжонок-то, поди, подкинул?

— Да ну их нафиг, деньжонки эти! Все планы коту под хвост. Кошке твоей, точнее.

— Ну ты смотри, а? Я вот думаю... С Филиппычем-то как быть?

— Как-нибудь разберемся с Филиппычем. Не тронет он твою Кошку.

— А вдруг?

— Юр! Ну не доходи до фантазмагорий! Ты еще не настолько древний, чтобы впадать в маразм.

— Ладно-ладно, начальник! Я тебе тут... — И протягивает мне бутылку. — Коньячок настоящий армянский, не из магазина — с завода в Армении. Мне знакомый один привез.

— Да иди ты! На работу притащишь — старый Новый год будем отмечать коллективом, вместе и выпьем тогда.

Юра уехал, я позвал Джека. Эх, как он нарезает, шелковистые рыжие уши аж полощутся на ветру! Верхним чутьем работает — любо-дорого посмотреть. Не повезло нам слегка, бродяга. Охота откладывается на неопределенный срок... Ну ладно, потащили домой кошачье добро!

Потекли у меня рабочие будни. Полдня — в своей комнате, за недоделанной документацией, полдня — на производстве, в цехах с мон-



тажниками. Работяги и злятся — работать в такие дни! — и радуются: Летунов, действительно, не обижает деньгой в этих случаях.

Я сначала захаживал к Кошке в гараж. Потом думаю — а какого, собсно? Положу в Юрину переноску, заберу ее наверх, пусть лежит при мне. Все равно никого у нас нет. А переноска у Юры, наверное, для молодого бегемота предназначалась: туда штук пять кошек можно уложить, Дворец спорта, а не переноска. Так и сделал. Принес Кошку к себе, попил, дал немного корма — ест вроде. Погладил — а она мурчит. Беззвучно, как и раньше. Но всем телом вибрирует на высокой частоте. Облизнулась. Глаза не закрывает уже, смотрит по сторонам. Гляди-ка!

А через пару-тройку дней Кошка стала сначала шевелиться всем телом, потом — приподниматься на задние лапы, а затем — ползать, с трудом передвигая бессильные передние. Хвост торчком задрала в своей обычной манере. Пьет сама из блюдца, ест понемногу. В туалет свой кошачий ходит. А главное — начала марафет наводить: вылизывается кое-как, скрючившись, неловко, но старательно и подолгу. Надо же! С пулей-то в голове!

Позвонил Юре, порадовал.

Бывает, ко мне в свое дежурство Иван Иванович заходит. Так, чайку попить, поболтать о том о сем. Скучно ему на вахте. Он тоже инженер в прошлом, только механик. Но мы с ним в основном про родной для нас обоих Кавказ вспоминаем. Я-то в юности переехал оттуда с родителями. И этот новый, пыльный и ветреный, городок на холме посреди степи мне уже стал родным. А он покинул родину в почтенном возрасте. Поэтому в мыслях все еще там. Здесь — почти как гость.

У Иваныча два сына. Старший решил по стопам отца пойти — стать инженером. Ближайший политех — за пятьсот километров. Ну ничего, поступил, окончил, устроился работать, женился, обзавелся жильем, родил двоих детей. Крепко встал на ноги, прочно осел тут, на донской земле.

А младший сын с детства был творческой личностью. Рос поэтом и музыкантом. А подрос — все же поступил в техникум, на электрика. Хотя ни музыку, ни поэзию не забросил: выступал, печатался в местных газетах и журналах. Потом отслужил срочку в музроте, вернулся, устроился работать в мастерскую по ремонту аудио- и видеоаппаратуры. Быстро стал востребованным мастером: талант — во всем талант. Одна беда — начал попивать, да крепко. У нас ведь как? Идут к мастеру чаще с бутылкой, чем с деньгами. В компанию дружков-пьянчуг попал — и совсем под откос покатился парень.

Вот Иваныч и принял крутое решение: продал дом на Кавказе, переехал на Дон, к старшему сыну поближе. Непросто далось ему это — уйти в таком возрасте с насиженного, отцами завещанного благодатного места! Но чтобы вырвать другого сына из дурной компании, на все пошел. Закодировал младшего, пристроил его на какую-никакую работу — завхозом в бывший Дом пионеров. Короче, как мог, направлял на путь истинный своего заблудшего ребенка. И все у того наладилось! Парень-



то толковый. А тут — строительный бум. Хороший электрик везде нужен. И денежки вернулись, и уважение. Женился. Жена на сносях...

У соседа внезапно свет вырубился в доме. Он и попросил электрика посмотреть. Тот в потемках полез на крышу, за ним — хозяин. Ветер был, дождик накрапывал... Что уж там произошло, неизвестно. Только убило младшего сына Ивана Ивановича. Незаживающая рана на сердце старика. Он почти всегда сворачивает беседу на эту тему, повторяет свой рассказ, потом махнет рукой и уходит.

Иван Иванович дивится на Кошку: ведь поди ж ты какая, — очухалась! Приносит ей молока. Кошка пьет, потом пытается сыто потянуться. Не получается пока: передние лапы плохо служат. Ходит она полубоком, по ступенькам вообще не может. Но явно идет на поправку! Иваныч ее во двор выносит — Кошка брезгливо дергает задней лапой на снегу. Но назад не спешит. Иваныч забирает ее к себе на вахту: пускай, мол, мне с ней веселее.

7.

Праздники — ну, кому праздники, а кому комп, цех и Кошка — кончились. Пошли будни. Юра вернулся. Не на радуется на состояние Кошки. Откармливает ее. К концу января Кошка стала даже толстеть, чего раньше за ней не водилось. Наверное, сказывается малоподвижный образ жизни: паралич у нее полностью не прошел, ходит все так же с трудом. Уже не запрыгивает бесшумной черной тенью прямо с пола на полутораметровый стеллаж. По лестнице вниз — кувырком, вверх — осторожно заносит каждую лапу на новую ступеньку. Все приносят Кошке что-нибудь вкусенькое — она с удовольствием трескает, брюхо круглится все больше.

Даже Андрюха Займи-Но-Выпей припер ей сосиску. Правда, сосиска эта — смесь пластилина, цемента и стирального порошка, содержание мяса — в следовых количествах. Однако Андрюха и Кошка благополучно ее сожрали. Откусывали по очереди, по-честному. Остаток Андрюха великодушно отдал Кошке.

Стоим как-то с Юрой во дворе, курим напоследок у ворот: рабочий день окончен. С крыши свисают огромные сосульки, ветер швыряется в нас крупными холодными каплями — начались ранние февральские оттепели. Кошка у ног Ивана Ивановича вертится, припадая на большие передние лапы. Она все больше у него в сторожке пропадает теперь, там всегда тихо, сумрачно и тепло, ей, наверное, больше нравится — это не по лестницам лазать туда-сюда. Толстая, шерсть лоснится, глаза сыто жмурятся.

Идет из цеха Ольга — монтажница, разбитная разведенка. Хи-хи, ха-ха, как обычно. Просит зажигалку, становится с нами на перекур. Увидела Кошку — глаза округлила:

- Ма-а-альчики! Да она ж беременная!
- Кто беременная?
- Ну Кошка ваша. Беременная!

— Оль! Ты что такое куришь? У тебя глюки?

— Я говорю — значит, так и есть. Вон пузо какое! И крутится так...
Что я, слепая? Или сама не баба? Ей рожать уже на днях!

— Да ты что плетешь, Ольга? Она тут еле ползает — из корпуса в сторожку да назад. Две недели вообще при смерти пролежала...

— Эх, мальчики! Сказала я вам — беременная, скоро родит! Погуляла, наверное, в декабре — и в феврале притащит вам котят. Так что готовьтесь, папаши! Всё, всех целую, я полетела!

И полетела.

Юра оторопело молчит. Я смеюсь. Он берет Кошку и тащит в свою машину. В любимую ветлечебницу, думаю, повезет. УЗИ делать.

Наутро сообщил: все так и есть, права оказалась Ольга — рожать на днях Кошке. Два котенка у нее, вполне выношенные и, по всем данным, здоровые.

— А у нас сегодня Кошка родила вчера котят! — Юра, цитируя Михалкова, потирает руки. Довольный, аж лысина светится. — Пойдем посмотрим?

Посмотрели. Два котенка. Лежит усталая Кошка на боку, лижет детенышей, лапы вытянула, длинная и худая, как раньше.

Чудеса да и только! С пулей в голове, много дней на грани жизни и смерти, никто не верил, что выживет... Даже я не верил, только Юра. Медленно и безвозвратно, казалось бы, угасала, уходила в безжизненный туман. А в это время в ней уже теплилась новая жизнь. Может, потому и выкарабкалась? Замерла в боли и муке, чтобы сберечь последние силы, собрала всю свою кошачью магию, взмолилась своим кошачьим богам — не за себя, а за этих вот двух существ, жалких, мокрых, слепых. И выжила для них. Кормит теперь, жмурится, косит на нас зловецким изумрудом глаза... Чудеса!

У меня в столе есть стихи сына Ивана Иваныча:

Я построю кошкин дом.
Пусть живетса кошке в нем
Долго-долго, сладко-сладко,
В теплом домике своем.
Я построю кошкин дом.

Заведет она котят.
Пусть котята там мурчат
Тонко-тонко, звонко-звонко,
Пусть играют, где хотят.
Заведет она котят.

Может, еще детские, а может — уже и взрослые, для еще не родившейся тогда дочки сочиненные. Вообще, я думаю, что это неспетые песни. Ничего, где-то они да звучат.

Алексей ИВАНТЕР

ОБРАЗОК В КОНВЕРТЕ

* * *

Липа зацвела и облепила, трансформатор спел за упокой.
Северный хлебнул поселок лиха, серый — между лесом и рекой.

Меченный Афганом и Донбассом сухопарый местный инвалид,
Латаный, как парус над карбасом, вечером на пристани стоит.

В сапогах и стриженной бородке, половине берега родной,
Забывает, сядет, выпьет водки — что ж не выпить, если выходной?

Что ж не выпить: изба обжитая в декабре оставлена женой,
И пуста душа его простая, как весной сарайчик дровяной.

Дождь идет, а он его не чувствует, клев стоит, а кровь не беретит;
Курит и за все себя бичует, курит, курит, на реку глядит.

* * *

Машины идут грузовые, туман разгоняя и чад.
А рядом — цветы полевые, ручьи луговые журчат.
Заводы дымят вековые, пылают котельный мазут.
А рядом — цветы полевые под самые стены ползут.
Резервы идут трудовые на пьянку, на отдых и труд,
И только цветы полевые без всякого смысла живут.
Топтали их мир верховые, пахали их, рвали и жгли,
Но снова цветы полевые встают из-под черной земли.
Из мелкого сора земного, из солнца, любви и воды
Они поднимаются снова у каждой, считай, борозды.
Стоят их полки луговые заслоном у всех рубежей,
Летят их платки пуховые над лесом из пик и ежей.
С боями пройдя огородом, форсируя жидкую грязь,
Я чувствую с этим народом, наверно, кровную связь.

* * *

В краю коров и коз комолых,
В краю камней
Восстал чабрец и ропщут смолы,
Пасут коней.
Народ на пристани судачит,
Кой хрен живет,
Где рыжий снайпер на госдаче
Боржоми пьет.
Среди татарских сыроварен,
Где зной к утру,
Мне этот год судьбой подарен:
Дает — беру.
Скалу, и катер на дозоре,
И жар лучей.
А Крым ворочается в море —
Ни наш, ни чей.

* * *

Он в детстве пускал поезда под откос,
А в старости в скупку медали отнес,
По снегу упрямо хромя,
И умер в канун Первомая.

Он мог бы, пожалуй, еще и пожить,
Но в гроб себя к маю решил уложить,
Сказав: «Наломались, и будя,
Пусть мучатся новые люди».

А новые люди растут, как трава,
Рожают детей и качают права,
Христу на соседей кивают,
По новой войну затевают.

* * *

Дорога вдоль берега Камы
Пуста и прекрасно-долга.
А мимо — то ветлы и храмы,
То вырубки да берега.





Я в дальнем поселке, не новом,
Где лет пятьдесят не гошу,
В жилище опрятном и вдовом
Красотку одну навещу.

Она меня старше немного:
На тридцать без пары годов,
А все не докличется Бога,
Заступника сирот и вдов.

А как ведь звала молодежи!
А Он все, казалось, молчал...
Укликалась, стала вдовицей,
Работать пошла на причал.

И дома сидела, молчала
Во вдовой ночной тишине,
Придя с голубого причала
В избушку с геранью в окне,

И тихое что-то шептала,
Держа рукоделье в руках,
И длинные письма писала
В простых и напевных стихах.

Пропитаны говором местным,
Умели они излучать
Такое, что было уместным
Молитвой на них отвечать.

И так и велась переписка:
Стихи и короткий привет —
Как будто стучала радистка,
И только молитва в ответ.

Нашел образок я в конверте
Однажды удушливым днем:
«Избави от бесов в час смерти!» —
С такою молитвой на нем.

Я еду по берегу Камы,
Висит на груди образок.
Раз все-таки живы пока мы,
Не грех и обняться разок

В поселке у отмели рыжей,
Где храм, и причал, и ветла,
И души тем ближе и ближе,
Чем больше ветшают тела.

* * *

Он жил в подвале, в мастерской,
И только редкими ночами
Бродил по Бронной и Тверской,
Давно забытый москвичами.

Но, воплощенный в мастерстве,
К дощечкам ели бессучковой
Он возвращался по Москве
В проход Кисельный тупиковый.

В затворе, без учеников,
Без женщин, старый и негибкий,
Как семь и пять тому веков, —
Альты он делал, а не скрипки.

Но не играл. Без пальцев двух,
Зарытых в мае в дно траншеи,
На стук и оцупь, как на слух,
Он чуял альт, зажав у шеи.

И я в затворе чуть дышу,
И чаще брежу, чем вещаю,
И что-то странное пишу,
И речь на оцупь оцупаю.

* * *

Река, впадающая в Дон,
Не зазвенит, пока не тронешь.
В ней ходит рыба подо льдом
И отражается Воронеж.

И у меня был тоже дом,
Но память рушится, лишь тронешь,
И ходишь рыбой подо льдом,
Где отражается Воронеж.

Один Воронеж.



* * *

На августовском полустанке
Живых разыскивал комбат.
В эвакуацию в Ельшанку
Их отвезли под Сталинград.

Сперва скотину вывозили
И, положившись на авось,
Про баб не то чтобы забыли,
Вагонов просто не нашлось.

Но я рожден. За их спасенье
Спасибо, транспорт бортовой.
Все это было на Успенье,
В полшаге от передовой.

В идущем под гору накатом
Зиске досталось задремать...
Не Богородицы ли платом
Укрыло бабушку и мать?

Да нет, куда оно как проще:
По службе, для спасенья тел
Над Волгой и горящей рощей
Обычный ангел пролетел.

* * *

Он пропил все — детей, жену,
старуху мать, талант не пропил
и, зажимал когда струну,
как за штаны прохожих кнопил.
Он в переходах и в метро
для пиджаков играл и брошек
и выворачивал нутро,
нам на бухло стряся грошик.
С какой-то детской виной
я вспомнил с мелкими деньгами
тот туесок берестяной,
у нас стоявший под ногами.
От трудовой в него Москвы
бросалась маленькая лепта,
побольше — в местностях, увы,
где не хватало и на хлеб-то.

«Какая музыка была!
Какая музыка играла...» —
и ни двора и ни кола
нам эта жизнь не предлагала.
Любовь, сгоревшая дотла,
жила на кухне с кашей пшенной,
где рядом женщина спала,
как не со мною, отрешенно.
Все миновало, как война,
как блюз на волжском пароходе;
стране и юности — хана;
но как лабают в переходе...
И той же старою виной
болею, старою виною...
И рядом женщина со мной,
как не со мною — за стеною.

* * *

Когда на пристани брусчатой
Ударят в рельс —
Баркас отправится дощатый
В последний рейс.

Как бык болезный, бесполезный
Идет в убой —
Покинет порт его облезлый
Борт голубой.

Скулой крутой, а днищем плоский,
Уйдет во мгу,
Где разберут его на доски
На берегу.

Мы шли под флагом и без флага
Ноздря в ноздю.
Гори, гори, морской бродяга,
Как я горю.



Татьяна КЫРОВА

ЗАВИТОК

Р а с с к а з

О том, что у парикмахерской «Завиток» есть некоторые особенности, Ларисе не сказали. Мастера здесь менялись часто, но о причине своего ухода предпочитали помалкивать. Иначе кто же согласится занять освободившееся место?

Лариса привела в порядок свой столик, разложила инструменты, как ей было удобно, и взялась протирать зеркало. Надя, работавшая тут до нее, оставила после себя идеальную чистоту. Но у каждого мастера свои привычки.

Лариса ждала первого клиента и молила Бога, чтобы это был мужчина.

«Пусть хотя бы просто спросит, как пройти в библиотеку!» — подумала она и улыбнулась избитой шутке.

Примета такая. Если первым посетителем окажется мужчина, то потом от клиентов отбоя не будет. А самой крупной заработанной купюрой следует коснуться зеркала и помахать над инструментом. Такое забавное суеверие Ларисе внушили опытные мастера, которые, верно, и сами не знали, что переняли его у торговцев фруктами из Средней Азии. Про купюру, впрочем, сейчас уже неактуально: многие предпочитают безналичный расчет.

Свою профессию Лариса любила. Особенно приятно было работать в престижном салоне в центре города. Но недавно они с Костей решили жить вместе. Квартиру подбирали исходя из финансовых возможностей. Костя сказал, что выгоднее всего снимать жилье в старом районе, нет смысла переплачивать. Лариса возражать не стала. Мама всегда ей говорила, что муж — голова, а жена — шея: куда захочет, туда и повернет. Но они не женаты, а значит, вертеть Костиной головой еще рано. Потенциальный муж может обидеться, и никакой свадьбы вообще не будет.

Работать предстояло одной. В этом также был свой плюс: никто не станет жужжать над ухом. Лариса человек неконфликтный, но порой по-

падались такие коллеги, от которых в конце смены даже у нее начинали раздраженно трястись руки.

Парикмахерская была оформлена скромно, зато располагалась рядом с домом. Лариса не видела поводов для уныния: осмотрится немного и облагородит зал на свой вкус. Главное, плата за аренду умеренная, это вдохновляло.

Вид из окна открывался довольно унылый. Серые панельные дома с ободранными парадными, узкие тротуары, десяток полуживых кленов с уродливо изогнутыми стволами и ржавые качели под ними. Недавно КамАЗ привез и вывалил посреди двора большую кучу песка. Местные дети были в восторге от песчаного Эвереста, и в солнечные дни куча превращалась в цветной муравейник. Иногда случались и стычки. Дети есть дети, даже тут умудрялись не поделить место.

Основной достопримечательностью двора был навес автобусной остановки, который маячил здесь, как бельмо на глазу. Местные жители уже привыкли, а случайные прохожие останавливались и удивленно таращились на него, как на седьмое чудо света. Как рассказали Ларисе, в этом районе сохранилась традиция в день Ивана Купалы устраивать нелепые розыгрыши и шалости. В июле, в ночь на седьмое число, велико-возрастные балбесы перетащили навес сюда, и оказалось, что вернуть его на прежнее место — целая проблема. В управляющей компании кивали на министерство городского хозяйства, а там, в свою очередь, писали письма в департамент городского транспорта. Круг замкнулся. Пассажиры уже второй месяц ждали свои автобусы под открытым небом, мокли под дождем и бранили всех чиновников скопом, вместе с недавно избранным градоначальником.

Костя был иногородний, и местная традиция показалась ему странной. Не привычка ругать власть, а купальский обычай устраивать разные глупости во вред себе и окружающим. Лариса же отнеслась к автобусной остановке во дворе с юмором. Они с друзьями в детстве тоже развлекались, как умели. Хотя в последнее время ей стало казаться, что сейчас подростки злее и шутки у них жестокие.

Такие мысли пугали Ларису. «Это старость!» — с ужасом думала она и, подойдя к зеркалу, внимательно изучала свое отражение. После тщательной ревизии губ, щек и подбородка успокаивалась и, проведя кончиками пальцев по высокому чистому лбу, выносила вердикт: «Ничего еще. Сойдет». Преданно и с неподдельной любовью смотрела на Костю. Она была ему благодарна за то, что он предложил ей жить вместе, и строила планы на будущее.

Костя тоже, кажется, строил какие-то планы и привыкал говорить «мы».

До открытия парикмахерской оставалось пять минут. Лариса навела последний лоск, села в кресло, откинулась на спинку, чтобы расслабиться, и повернулась к окну...

— Фу ты, какой ужас! — выдохнула она. — Испугал, дурак!



Какой-то мужчина, по-детски сложив руки лодочкой и прижавшись лицом к оконному стеклу, пытался рассмотреть, что происходит в зале. Лариса брезгливо поморщилась, встала и направилась к раковине. Видение снаружи испарилось так же неожиданно, как и возникло.

Потом Лариса подошла к двери и осторожно повернула ключ в замочной скважине. Заполучить такого клиента ей совсем не хотелось, но и сидеть взаперти было глупо.

Прошло еще пять минут, никто не появился. Она включила чайник. Достала чашку и бросила туда пакетик цейлонского. Залить кипятком не успела: в парикмахерскую вошла молодая пара.

Они даже не вошли, а вторглись, как это свойственно совсем юным особам. Лариса была рада их появлению. Это называется «фифти-фифти». Тоже неплохой вариант. Настроение окончательно улучшилось после того, как девушка заговорила:

— Ромка, садись же наконец! — Она почти силой усадила кавалера в кресло и повернулась к Ларисе: — Нас в армию забирают. Под ноль его, мастер. Под ноль.

Юноша состроил страдальческую мину, а Лариса принялась снимать с его головы шикарные кудри, которые он, по всей видимости, долго и старательно отращивал. Девушка отошла обратно к двери и села на диванчик из коричневого дерматина, предназначенный для гостей. По мере того как прибавлялось волос на полу, молодые люди все чаще переглядывались и все реже улыбались.

Лариса спросила:

— Где служить придется?

— Еще не знаю. Просился в погранвойска. Батя там службу проходил.

Девушка встрепенулась:

— Батя твой когда служил? Иди в железнодорожные! Заодно специальность получишь... Сам виноват. Просила же тебя: извинись, не переломись! Балбес... — Девушка старательно читала парню нотацию, но получалось не слишком убедительно. Она явно была влюблена в этого балбеса.

Специально для Ларисы девушка уточнила:

— Из техникума отчислили. Из-за ерунды.

— Не ерунды. Не ерунды, сколько тебе повторять! Извиняться не стану. Как же я мог по-другому? Ты ведь не знаешь всего! Вот и не ругайся.

— Мне можно, я теперь жена. Мы с ним вчера расписались, — пояснила она. — Такой сюрприз родителям будет, когда из Таиланда вернутся!

— Все равно не ругайся. Можно ведь и развестись.

Лариса смотрела на них с улыбкой. Расписались. Так просто! Взяли и расписались. Потому что любят друг друга. А Костя все тянет зачем-то...

Нехитрая стрижка была закончена. Девушка с серьезным лицом достала банковскую карточку и рассчиталась через терминал — хозяйюшка.

Клиентов было не слишком много, но и не так мало, чтобы расстроиться в конце рабочего дня, снимая кассу. Лариса осталась довольна. Сейчас она закроет парикмахерскую и пойдет в магазин. Первую выручку можно и прогулять.

Возвращаясь из гастронома, Лариса заметила, что под навес автобусной остановки кто-то притащил журнальный столик. Народ уже присвоил себе казенное имущество и постепенно переоборудовал в место для посиделок. Старушкам удобно пить чай в теньке и приглядывать за внуками. Журнальный столик, скорее всего, пожертвовал кто-то из любителей пашек. А ближе к ночи остановку оккупирует молодежь.

Поднявшись на крыльцо подъезда, Лариса остановилась в замешательстве. Руки были заняты пакетами с разными вкусностями. Ключ в сумочке, в боковом кармане, но сейчас туда не дотянуться. Лариса воспользовалась домофоном.

Костя спросил:

— Кто?

— Костик, это я. Руки заняты, открой, пожалуйста.

Он открыл. Встретил ее в прихожей и с недовольным видом принял пакеты:

— Ну, знаешь! Как тебя понимать?

— Сегодня у нас праздник!

— Мы, кажется, договорились: никаких незапланированных трат.

Все в рамках нашего бюджета.

— Костенька! Бывают же исключения из правил. Сегодня такой случай.

Ужин прошел чудесно. А ночь была еще лучше. Все соответствовало романтическому настроению. Даже луна подыгрывала влюбленным. Соседка этажом ниже была глухая. В подъезде жили одни старики.

Каждый рабочий день начинался с того, что в окно парикмахерской заглядывал уже знакомый персонаж. Он складывал руки лодочкой перед глазами и несколько минут возил физиономией по стеклу. Ларисе надоело прятаться в глубине зала. Она демонстративно приблизилась к окну и посмотрела на подглядывающего в упор. Мужчина отпрянул от стекла, затем виновато улыбнулся и отошел в сторону.

— Дурак какой-то! И чего ему надо?

Лариса пожалала плечами и принялась за работу. Закинула вчерашние полотенца в стиральную машину и заменила дезинфицирующий раствор в стакане для расчесок.

День прошел с переменным успехом. Клиентов было больше, чем накануне, но шли они неравномерно. Лариса обслужила всех и при расчетах давала свой контактный телефон с просьбой записываться заранее. После работы ей очень хотелось порадовать Костю чем-нибудь вкусненьким, но она не решилась сделать заказ на дом. Костя прав: часто устраивать праздник живота для них накладно.

Осень в наших широтах гораздо на погодные сюрпризы. Первый снег выпал неожиданно, красиво накрыв кленовые шатры белыми шапками. С утра во дворе было шумно и суетно. Работала спецтехника. Навес автобусной остановки висел в воздухе, и крановщик неторопливо метил неустойчивым грузом в кузов старенького трактора.

Костя прокомментировал:

— Не прошло и полгода.

Лариса промолчала. Автобусная остановка делала их двор особенным, и расставаться с ней было немного грустно. Журнальный столик со сломанными ножками валялся в стороне.

Костя достал из салона автомобиля щетку и принялся счищать с лобового стекла мокрый снег. Лариса чмокнула его в щеку:

— Пока. До вечера.

Он кивнул в ответ:

— Еще одно парковочное место появится.

Лариса помахала ему рукой и пошла в сторону парикмахерской. Странный незнакомец сидел на лавке под старым кленом. Теперь его можно было как следует рассмотреть. Оказалось, он уже немолод.

Лариса строго посмотрела на него: «Только тебя с утра не доставало!»

Когда она подошла к двери и открыла, мужчина бойко соскочил с лавки и попытался проникнуть в парикмахерскую прежде хозяйки. Лариса оттолкнула его.

Старик жалобно произнес:

— Я только посмотреть. Где же она?

— Кто?

— Люся. Люся ушла в парикмахерскую и пропала.

Лариса без церемоний вытолкала непрошеного гостя за дверь:

— Нет здесь никого! Видите, я только открыла.

Она захлопнула дверь перед его носом. Незнакомец тихо поскребся снаружи в стальную поверхность двери, потом отошел и сел на лавку. Ларисе стало жаль его, и она принялась осторожно наблюдать за ним из окна.

Человек был одет не по погоде, но судьба Люси, видимо, занимала его сильнее, и он, похоже, не замечал холода. Он сидел на лавке и нервно дергал себя за кончики пальцев.

Появились первые клиенты, и Лариса забыла о странном посетителе. Когда же в свободную минуту случайно бросила взгляд в окно, то с удивлением обнаружила, что он сидит все в той же позе. Лариса забеспокоилась. Снег на ветвях клена таял, и капли воды падали старику на голову. Лариса представила, как холодная влага стекает ему за воротник пиджака. Бр-р! Мурашки побежали по телу. Но что же делать?

Наконец она собралась с духом, вышла и сказала:

— Послушайте, вы напрасно мерзнете. Люси здесь нет. Идите домой. Может, она давно там и ждет вас.

— Вы так думаете? Хорошо! Надо проверить. — Старик радостно хлопнул в ладоши: — Конечно. Надо проверить. Как же я сам не догадался! — и опрометью бросился прочь.

Лариса выдохнула с облегчением и пошла работать.

Вечером она зашла в магазин и увидела его там. Он улыбнулся ей, как старой знакомой, и сказал:

— Молоко не покупайте. Здесь всегда продают кислое.

Продавец услышала эти слова и выругалась:

— Да ты задолбал уже! Где, где у нас кислое молоко?! Сам сквасит его и приносит нам. Иди отсюда!

Теперь Лариса окончательно убедилась, что старик немного не в себе. Ей еще никогда не доводилось так близко видеть психически нездорового человека. Стало страшно — и за себя, и за неизвестную Люсю. Что за Люся и где она теперь?

Сделав необходимые покупки, Лариса спешно покинула магазин. Молоко она брать не стала.

Утром старик снова был на своем посту. Он сидел на лавочке и выводил какие-то замысловатые формулы тонкой веточкой на вновь выпавшем снегу. Снег был перемешан с грязью: синоптики обещали гололедицу и дворник щедро разбросал по тротуарам песок.

Лариса замедлила шаг: «Он что, так и будет теперь преследовать меня? Выдумал какую-то Люсю...» Она пожалела, что до сих пор не рассказала Косте об этом странном человеке.

Незнакомец поднял голову:

— Здравствуйте! А я вас жду.

В его голосе и взгляде произошли заметные перемены. Лариса отметила это и все же недовольно буркнула:

— Зачем?

— Хотел извиниться. Я, должно быть, напугал вас. Последнее время со мной происходит что-то странное...

Лариса открыла парикмахерскую, старик вошел следом. На этот раз она не осмелилась его выгнать. Мужчина сел в кресло. Лариса готова была бесплатно привести в порядок его прическу, лишь бы поскорее от него избавиться.

Когда она приступила к стрижке, клиент, видимо, почувствовал, что мастер нервничает, и решил представиться.

— Меня зовут Александр Ильич Игнатьев. До недавнего времени я преподавал в политехническом институте. Доктор наук, знаете ли... Был. Сейчас это ничего не значит. А вас как зовут?

— Лариса.

— Очень приятно. Я, кажется, доставил вам немало хлопот. Извините старика.

— Какие хлопоты? Все нормально.

Игнатьев понял, что парикмахер не хочет поддерживать беседу, и замолчал. Сегодня он был чисто выбрит и хорошо одет.

«Что же с ним такое могло приключиться? Странный тип. Доктор наук? Наверное, врет».

Лариса умела работать быстро, и уже через пятнадцать минут стрижка была закончена. Она сняла с мужчины накидку и сказала:

— Все. С вас семьсот рублей.

— Хорошо, — Игнатъев перехватил Ларисино запястье и галантно приложился к ее руке.

Девушка отдернула руку:

— Зачем это? Не надо.

— Извините. — Он встал с кресла и протянул купюру. — Вчера принесли пенсию. Извольте получить. Бумажник однажды какие-то ловкачи вытянули, а там были все карточки. Теперь мне пенсию домой приносят. С моим диагнозом так надежнее всего.

Спросить, какой у него диагноз, Лариса не осмелилась. Отсчитала ему сдачу и всем видом дала понять, что разговор окончен.

По лицу Игнатъева скользнула все та же печальная улыбка:

— Спасибо вам! И всего доброго. С тех пор как Люси не стало, я часто болею. Таблетки принимать забываю и сам не помню, как день прошел. Теперь все будет хорошо. Дочь приехала. Сказала, что муж ее бросил и она может забрать меня к себе. Так и сказала — «забрать»! Как чемодан. Что ж, без Люси я и правда как чемодан без ручки. Сложно... Мы с женой очень любили друг друга. А однажды она пошла в вашу парикмахерскую и не вернулась. Какой-то человек убил ее здесь, вот на этом месте. Просто так. Зашел с улицы и убил. Говорят, наркоман. Но разве от этого легче? — Взгляд старика потух.

В эту минуту вошла молодая женщина:

— Папа, подстригся уже? Молодец! Тогда сядь на диван и подожди. Я купила твои таблетки, вот, держи. — Она подала ему коробочку с лекарством и поинтересовалась у Ларисы: — Вы сейчас свободны?

— Да, присаживайтесь!

Ларису обрадовало ее появление. Оставаться наедине со стариком было для нее мукой. Теперь, узнав причину его странного поведения, она совсем растерялась и не знала, как себя вести. Было жаль Игнатъева, но себя — еще жальче. Зачем он только все рассказал? Как теперь здесь работать?!

Игнатъев крутил в руках коробку с таблетками и снова стал таким, каким Лариса увидела его в первый раз. Потерянным. Он мешковато пристроился на диванчике и опустил голову, все глубже погружаясь в иную реальность. Лариса проворно сделала стрижку и уложила феном волосы его дочери. Они с ней были примерно одного возраста. «Надо же... Такая красивая — и разведенка. Что только этим мужикам надо?» — подумала Лариса и глубоко вздохнула.

Она подошла к окну и смотрела вслед Игнатъевым до тех пор, пока пара не свернула за угол дома. Снег растаял, бордовые листья кленов потемнели. Сияло солнце, весело чирикали воробьи. По всем приметам наступило Ларисино любимое бабье лето, но сейчас в солнечной осенней грусти ощущалась горечь — привкус чужой непоправимой беды.

Николай ЛЕУШЕВ

ОТЕЦ

Р а с с к а з

Вдруг все как-то быстро вышли из операционной. Он остался один. Монотонно постукивая, дышал древний РО-2, дыхательный аппарат, чуть ли не его ровесник: он помнил эту «рошку» еще со студенческой практики. Полвека почти. Операция закончилась. Ссутулившись, опустив голову, он стоял у операционного стола, у дочери в ногах. Руками, тихонько массируя, грел ее ледяные стопы, пальцы с чуть облупившимся лаком. Уже не сдерживаясь, шмыгая носом, плакал. Вот и пролетело все. Вся жизнь.

Какие-то странные, ненужные сейчас мысли лезли в голову. Как будто мозг его, вот уже около семи часов непрерывно работавший под мощнейшим прессингом страха, ежесекундного, жуткого страха за дочь, лежащую сейчас перед ним в глубоком наркозе, понял, что может произойти срыв. Точнее, какие-то отделы мозга расценили его состояние как критическое и, чтобы отвлечь его хоть на секунду, дать отдохнуть, спасти от катастрофы, хитро выдавали информацию неожиданную, странную. И он невольно велся на хитрости этих центров самосохранения, действующих независимо от его желаний и воли, шел за воспоминаниями, образами, казавшимися реальностью, яркими, почти осязаемыми: дорога над рекой, крыльцо из детства, подвал облбольницы, полный студентов. Забытые лица, отдельные фразы. Смех. Ощущения чуть ли не радостные, противоположные действительности.

Спохватившись, он отшвыривал эти видения, эти звуки, эти узнаваемые ощущения. Снова и снова вглядывался в экран монитора, стоявшего в изголовье, снова и снова натываясь на горевшие каким-то противным тускло-серым цветом цифры: 80/45 и 128—130. Давление и сердцебиение. Главные параметры его дочери. Ее жизни. Параметры критические.

Все шло не так. Давление оставалось низким, несмотря на капающую плазму, несмотря на бодрые, бойкие, уверенные заявления Рыжей, что всё в порядке, все так и должно быть.

Все, что касалось его дочери с момента ее поступления сюда, шло медленно, неправильно, несправедливо.

Все пошло не так с самого утра. Он чувствовал такие дни и раньше. Просыпаясь. А точнее, еще во сне. Вот и сегодня. Нет, сегодня как раз не было ничего особенного. Еще не до конца проснувшись, он как бы оценил сновидения: не угрожающие, не устрашающие, не предвещающие ничего напрямую — так, нудные какие-то, серые, «левые», как говорит молодежь, ненужные ему. Такое ни то ни се. Хотя знакомые: река, подвал — тревожно промелькнули и сегодня.

В сновидения он не верил. Всегда говорил, что не верит. Но за свою долгую жизнь, испытал многое, в глубине души понимал: мозг или душа (не важно!) могут знать заранее, что предстоит, что потрясет в будущем — близком ли, далеком. Надо только прислушиваться к себе. Не думать, не обдумывать, а на уровне чувств слушать. Тонко все это. Но почувствуешь, если захочешь. Слушать надо только. Себя. Душу.

Понимал, но вслух признавать не хотел. Побаивался. Вот и сегодня, оценив, причислил сны к «не очень», постарался выкинуть, забыть. Показалось, что удалось. Но когда умывался, вдруг снова справа от него, как в окне машины, выплыл тот самый горизонт вдали, тот самый вид: река, простор, закат — когда-то в молодости, давным-давно, он проезжал там. Возник так явно, так четко, так реально. Он резко распрямылся над раковиной и, глядя в зеркало — себе в глаза, спросил вдруг громко, хрипло:

— Коми. Зачем?

Себя спросил...

Потом пошли больные, звонки, жалобы, разборки, писанина, еще больные, вирус... Все забылось. Все шло как обычно. «Как обычно!» — сейчас это царапнуло душу болезненно и тоскливо, ностальгически... Он все бы отдал за то, чтобы сейчас было «как обычно»! Как ценна простая, даже нудная, скучная «как обычно» жизнь! Как она прекрасна! Как она желанна!.. И как невозвратима...

Резко, неприятно прозвучал в 11:30 тот звонок. И неуместно почему-то именно сегодня было слышать задорное соло на гитаре из «Эй-си/Ди-си», которое дочь, смеясь («Будешь как молодой рокер!»), поставила ему на телефон вместо звонка. «Брат 1» — высветилось невовремя. Старший брат знал, что он в это время всегда занят. Прием ведет.

— Да!

— Как у тебя? (Тревожно.)

— Нормально.

— Ты как?!

— Нормально. (Уже напрягся.)

— Ты еще не знаешь?

— Что?!

Перехватило в горле. И комок. И как будто падение сердца вниз!

— Говори! Что?!. Ну-у!

Встав, мгновенно почувствовал, понял, одним жестом оставив в прошлом бумаги, раздетого больного за столом, ту прекрасную, теперь уже желанную и невозвратную, милую «как обычно» жизнь, понял — всё! И не оглядываясь, стремительно шагнул навстречу ей. Беде.

— Говори!

В коридоре больницы, на ходу сбрасывая халат:

— Ну! Не тяни! Говори!

— Ты ничего не знаешь? Про Веру?

Дочь! Господи!

— Говори же!

С остановившимся дыханием и, показалось, сердцем выслушал. Короткое. Жуткое. Огромное. Тоскливо-безнадежное: дочь, ДТП. Пыльная дорога. Видимость — ноль. Обгоняя лесовоз, выехала на встречную полосу. Лобовое столкновение. В райцентре. В больнице. Палата номер четыре. Состояние вроде... На «вроде» удалось выдохнуть. Вроде не очень тяжелое...

— Тебе что, никто не позвонил?!

Брат звонил из Карелии.

— Это же еще утром было! До девяти!..

Шлейф из пыли в зеркале заднего вида был похож на выхлоп реактивного двигателя. Стрелка спидометра мертво встала на 165 и уже не дала больше на пыльной грунтовке ни одного деления сверх, хотя он все жал и жал на газ своей старенькой легковушки, все сто километров от поселка до райцентра.

Узкий коридор, второй этаж, хирургия, ординаторская. Четвертая! С окаменевшим, плоским лицом резко рванул на себя дверь. Две девицы с интересом (скучно!), подпершись кулачками, разглядывают соседку. Третью, лежащую напротив двери. Беспомощную. Маленькую. Родную.

Выпустив из рук большую, с красными крестами, реанимационную сумку-укладку, упал на колени перед низкой продавленной койкой. Перед дочерью...

Дышит! Слава богу! Глаза закрыты. Серая.

— Дыши!

Руки холодные. Пульс только на сонной. Тяжелая...

— Доча-а! (Полушепотом.) Где болит? Это я. Папа. Что болит?

С ходу привычно пальпировал живот. Напрягся: доска! Моментально оценил: тупая травма живота — повреждения, разрывы внутренних органов. Кровотечение. Шок. Тяжелая! Очень.

Девчонкам:

— Медсестру! Быстрее сюда!

Все спрашивал, тормозил:

— Где болит? Ты меня видишь?! Посмотри на меня! Открой глаза! Где?.. Не спи! Доченька, это я! Папа. Я здесь! Рядом! Посмотри на меня-а! Плохо...

Медиков рядом не было.

— Врач! Хирург где?! Давления нет! Восемьдесят на сорок! Где хирург?! Капельница не капает... Пустая!

Наконец в ответ абсолютно спокойный взгляд. Холодные глаза. Шапочка накрахмалена.

— Есть давление! Я мерила только что. И сатурация хорошая. Я мерила.

— Давление! Допамин! Капельница пустая! Я врач! Вы же меня знаете! Допамин!

— Нет, я мерила. И не пустая, я только что смотрела!

Знакомые серые глаза. Спокойные. Какие-то непобедимые. Равнодушные. Медсестра. Невысокая. Худенькая. Непреклонная. Опасная.

Дальше все пошло не так. Не так и чудовищно странно. Как будто в сказке, где все заколдованы. Он, боясь оставить дочь, требовал позвать врача в палату.

— Звать не буду, хирург в операционной. Оперирует!

— Допамин в капельницу!

— Нет, без назначения врача ничего не буду капать!

— Врача! Хирурга сюда!

Порой ему хотелось потрясти головой — сбросить все это, как навязание, как сон! Разобраться с ними!

«Некогда, потом!»

Быстро подключив свою банку (двадцать допамина, два мезатона на двести физраствора), пустил струйно.

— Ты?.. (Еле слышно.) Сейчас получше... (Открыла глаза.) Вижу... но мутно... живот... слабость...

— Всё! Не закрывай глаза! Не спи! Не спи! Сейчас! Я здесь! Рядом. Все, теперь я рядом.

«Так, поднять давление хотя бы до девяноста! Теперь, — набирая номер главной, — быстро разобраться с этими! Спящими! Ну, держитесь... Где хирург?! Так! Идет! Не нервировать его! Не наваливаться с ходу. Какой?! Тот самый, который сможет, вытащит?! Так, не психовать. Только бы это был он! Врач. Господи, пошли его! Пусть это будет он!»

Хирургов за свою сорокалетнюю врачебную практику он видел много и разных. Молодых и старых, веселых и угрюмых, трезвенников и пьющих, прекрасных «операторов» и «ни о чем». Разных. Сейчас же он ждал одного, с самым главным качеством — честного. Который не отдаст. Не отпустит. Вытащит. Для которого вытащить во что бы то ни стало — главное. Не в профессии даже — в жизни. Который к его дочери — как к своей! Ждал. Надеялся. Но сам не верил, что такой найдется именно сейчас.

Ибрагимыч. Хирург. Незнакомый. Не местный. Командированный. Наверно, как все приезжающие нынче в этот глухой район хирургии, в отпуске, на шабашке. Пять тысяч в день, и отпускные уже получены. Не старый. Восточного типа. Кажется, серьезный. Покоробило: спокойный! Может, это так, внешне? Не показывает волнения? Хотя живот-то видел! Уходя на второстепенную операцию — «на ногу», — видел...

И оставил?! Знал про эту, в накрахмаленной шапочке, — и оставил?! Заныло внутри. Не тот...

Прибежала главная. Отметил — прибежала. Главную, когда она пришла на эту должность в районе, он сначала недолюбливал. Молодая. Не одинаково требовательна к подчиненным. Еще что-то, сейчас и не вспомнишь. Но потом как-то притерпелся. Вообще, она ему нравилась. Как женщина. А у него всегда было так: если женщина ему нравилась как женщина, он многое ей прощал. Хотя понимал, что они, женщины, и не подозревают о таком его «великодушии».

Нравилось, что оперирует, не ленится руками работать. Да и деловая, ничего не скажешь. И сейчас встревожена не на шутку: увидела живот. Спасибо, похоже — честно встревожена. Слова какие-то. «Смотрела, был спокойный». Она и не должна была «пасти», хирург есть! «Хотя — позвонить мне забыла? Так, ладно. Потом».

— Переводим в палату интенсивной терапии! — Главная.

Перекатили. Огляделся. Зачем? Обычная палата.

— Дыхательный аппарат здесь? А работает ли?!

— Работает-работает! — успокоила его главная.

Появился анестезиолог. Женщина. Молодая, высокая, дородная. Рыжая. Говорит что-то. Тоже командированная. Наездами: дать нарков — и домой. Пятьдесят километров на машине.

Потом в ординаторской долго решали, что делать: везти в город, это двести километров по плохой грунтовке, или здесь идти на операцию. Задавая эти вопросы, почему-то все, включая хирурга и главную, вопросительно смотрели на него, на терапевта... Или на отца? На отца и врача? Ждали его решения? Желания? Ответа? Команды?

— Кто повезет? — Главная.

— Я не повезу! — Рыжая, анестезиолог.

Ибрагимыч, хирург: молчание...

Он нетерпеливо ждал, потом вдруг резко понял: ответственность! Они все боятся ответственности! Не хотят брать на себя, решать! Понял вдруг: болото!

— Я повезу. Сам повезу!

Явное облегчение в рядах.

Так все-таки что делать, везти? А вдруг там, в животе, кровотечение?! Ладно, повезем. А если селезенка полетела? Ухнет оттуда! Лапароскопа в районе нет! В живот не заглянешь. Глухо. Или же идти «на живот», на лапаротомию? Везти — или в операционную?! Сейчас пока стабильно. Но в дороге может кровануть сильнее! Сейчас, пока капаем, еще стабильно. А здесь, как войдут в живот, справятся ли? А крови-то нет донорской. Пока подвезут из города. Реанимацию вызвали, но пока там соберут бригаду, постоянно-то не дежурят! Час. Да пока едут по плохой грунтовке — еще три с лишним, не меньше. И ждать нельзя!

Бешено крутилось в голове. Стоял посреди ординаторской.

Молчат. Ждут вопросительно. На него смотрят.

Не те. Никто не хочет взять ответственность на себя. Все не те! Нет врачей. Ну ладно. Значит, он здесь главный!

— Так, сейчас скажу! Ждать!

И быстро вышел из ординаторской. Вышел, как будто вынырнул из безнадежной, трусливой неопределенности, из болота, где он, терапевт, задыхаясь без воздуха, ждал от них, специалистов, четкого, властного, необсуждаемого, спасительного и единственно правильного решения.

Шагнул в какой-то полутемный закуток. «Господи, помоги! Господи, помоги!» Наткнулся вдруг на кушетку. Вещи сложены. Чьи-то сапожки черные. Рядышком... Как зачарованный, потянулся, взял один аккуратно... Узнал! Вернее, почувствовал — ее... На сапожке по голенищу сверху вниз к носку — полоска, рыжеватая. Кровь засохшая. Ее... Прижавшись к сапогу лицом, застонал негромко:

— Господи, помоги мне, Господи-и... Вразуми! Везти, рискнуть? Помоги-и...

Через минуту, быстро зайдя в ординаторскую, сказал четко, жестко:

— Отбой машине, не везем! Опасно! Идем «на живот», на диагностическую!

Он был уже другим человеком.

Все с шумом и явным облегчением встали, загалдели — пошли в операционную.

И тут он совершил ошибку. Свою первую ошибку: его отговорили.

— Не заходи! Не заходи пока. Тяжело смотреть! — Главная. — Не мешай! Интубация, вводный наркоз, остановка дыхания, волнение... Волноваться будет. (Это она про Рыжую.) Ведь сам работал — знаешь! Сам анестезиолог был. Ты не заходи пока в операционную. Позже!

Подчинился, а легкие дочери не послушал сам перед наркозом. Он бы услышал сразу! Пневмоторакс! В палате ворочать побоялся. Легкое, правое, тогда уже, наверно, не дышало!

Ждал в коридоре. Стоял молча, опустив руки по швам. Ждал.

Ждать он не любил. Вообще. Всю свою жизнь не любил ждать. Особенно стоять, ничего не делая. Просто стоять, ждать. Сейчас же удивительная промелькнула мысль: нет, совсем не тяжело стоять, ждать. Гораздо легче и лучше, чем идти или даже сидеть. Надежнее! Стоять, ждать. Вернее, как-то честнее (мысль пошла не туда). Так и стоять бы день, год, всю свою оставшуюся недолгую (в последнее время он как-то четко осознал для себя — уже недолгую) жизнь. Лишь бы ничего не происходило, не было бы хуже. Ей. Ждать...

Мимо него по коридору ходили люди. Мужчины, женщины, здоровые, больные, в белом, синем, домашнем. Мелькали лица. Почти все с каким-то интересом глядели на него. Он стоял молча, всех видел, но ни на ком, ни на чем не фиксировался, никого уже не воспринимал, все пропускал мимо. Внешне он был спокоен, и голова была ясной, но в груди, где-то под горлом, что-то тяжелое — одновременно жгучее и мертвенно холодящее — висело ненадежно, как переполненный хрупкий сосуд с густой жидкостью, покачиваясь и подрагивая. И надо было обязательно время



от времени глубоко и осторожно, с усилием, вздыхать, чтобы успокаивать это дрожание, это раскачивание, чтобы не расплескать, не уронить и не разбить нечто очень опасное и для него, и для всех...

— Может, чайку?

— А?! Что? Не понял, что?

— Может, чайку попетье?..

Женщина. Немолодая. Невысокая. Лицо простое. Не красавица. Первая, которая сама к нему подошла. Глаза. Глаза настоящие. Глаза эти его «включили».

— Нет-нет, спасибо, не хочу! Ничего не хочу, — глядя в эти глаза. — Спасибо.

Санитарка. Вернее — санитарочка. Такие есть. Везде. Настоящие.

— Мне бы шапочку, бахилы. Сейчас туда, — показал глазами на двери операционной.

Переодеваться зашел снова в ординаторскую. Два врача. Что-то говорят. В ответ он — что-то невпопад. Про себя: и эти... тоже знали сразу, что его дочь. Не позвонили, ни один. Три с половиной часа потерял. Сообщил брат из Карелии. А с этими всю жизнь знаком, коллеги. Были.

Когда снова вышел в коридор, в оперблоке внезапно погас свет. Там, где сейчас вводный наркоз, где его дочери остановили дыхание, встал дыхательный аппарат! На вводном наркозе! С трудом удержался, не ворвался туда. «Стой! Запаникует еще Рыжая, помешаю! Стоять! Вручную, дыхательным мешком! Сделают!»

Вышла главная. Спокойная.

— Сейчас-сейчас! — набирая номер. — Васю, завхоза!

Вбежал Ромка. Зять. Только что подъехал.

Включиться должен аварийный дизель!.. Дизель не включался. Он что-то резкое говорил всем, что — точно не помнил, но одна фраза осталась: «Если что-нибудь случится с ней, я жить не буду. Но и вас заберу...» Кажется, завхозу Васе это прощел. Или это уже Ромка говорил? Хотя тот — что-то про стрельбу... Тот сделает, если пообещал.

Сбегали. Свет быстро включили, наладили. Но ненадолго. Когда свет в операционной погас вновь, он понял: все решать самому! Зять быстро отправил за переносками-удлинителями, за бензогенератором в магазин.

— Бросим под окно, второй этаж, закинем прямо в операционную. Давай, метров по тридцать! Переноски!

Минут тридцать потеряли, но свет горел.

И дальше все катилось не так. Едва зайдя в операционную, он понял это по ее лицу: бледно-серое! Схватился за пульс — нитевидный! Давление? Измерил на слух, фонендоскопом — восемьдесят пять на шестьдесят. Мало!

— На мониторе больше! Два кубика мезатона! — Рыжая-анестезиолог.

— Правое не дышит! — он. — Легкое правое не дышит! Пневмоторакс?!



— Чуть послабже, но дышит! Правое.

Рыжая сомневается? Не видит? Не понимает? Не хочет дренировать?! Он в очередной раз, мешая «операторам», нырнул под простыню — слушать... Потом, просунув руки чуть не на операционное поле, стал перкутировать, простукивать. Тут хирург поднял головной конец стола, и дочь дала наконец явно услышать, вернее, почувствовать дрожащим отцовским рукам «коробочный» звук пустой грудной клетки с опавшим легким. Сверху, спереди, справа.

— Пневмоторакс! Дренировать!

Спало легкое, правое: удар ремнем безопасности!

— Нет-нет, это легкое не дышит рефлекторно! Точнее, дышит слабо! Дренировать не будем, не надо! Еще два мезатона! — Рыжая.

Господи, да она боится! Дренировать боится! Лишь бы дотянуть на мезатоне и сдать реаниматологам! Идет ва-банк! Боится!

«Боже! Дай врача мне! Настоящего! Боже милостивый, пошли!»

«Остановить операцию?! Самому пойти на дренирование? Не затягивать дальше? Гипоксия. Шок. Самому?! Дренировать дренировал, но в таких случаях нет. Хотя: разрез, второе межреберье по среднеключичной, на два-три сантиметра. Справлюсь! Так, жду еще минут двадцать, когда все-таки начнут зашиваться. Остановлю и сам пойду на дренаж. Но без рентгена нельзя...»

— Рентген сделаем здесь, в операционной? Рентген, говорю? (Всем сразу.)

— Да-да, сможем! Сделаем! — Главная. — Аппарат есть.

«Ибрагимыч. Промыл брюшную полость. Вроде хорошо. Начал уже ревизию. Пять разрывов кишечника. Проникающее ранение коленного сустава, бедра. Теперь еще пневмоторакс справа. Черепно-мозговая. И что с шейей? Шейя при таких ударах, травмах почти всегда... Так, что делать?! Ждать реанимацию из города? По времени уже должны подъехать, двести километров. Но связи нет. Значит, не близко. Ждать или дренировать? Боже, помоги!»

Рентген легких. Дочь пришлось переключивать на кушетку, снимая с аппарата ИВЛ: операционный стол оказался слишком высок для переносного рентгена. Все шло медленно и не так. Снимок сделали. Пошли проявлять в соседнее здание. Принесли.

— Что это?!

— Такой аппарат, лучше не получится! Всем так делает! — Медсестра. Немолодая. Со стажем, опытная.

— Пойдем! — Подвел к рентген-аппарату. — Напряжение сколько ставили?

— Вот столько.

— Ставь сюда! Время — сколько? Так, сюда ставьте! Вы сожгли снимок. Черный!

— Он всем так делает, аппарат!..

Второй снимок проявлять в соседнее здание побежала уже бегом. И так было все.

Он умирал с ней. Здесь, в этой операционной.

Все эти три с половиной часа операции, все эти двести с лишним минут, каждую минуту, ежеминутно! Двести раз он умирал с ней. И дошел, довел себя до того состояния, что уже спокойно обдумывал конец своего существования. Конец, если что случится с ней. Он не простит себя за то, что опоздал. За ошибки, которые наделал уже здесь. И за то, что не ведет себя жестко со всеми этими...

* * *

В этой операционной, где все знакомо, раньше он бывал часто. Приезжал из своего поселка давать наркоз, когда не было специалиста здесь. Было это давно. После сокращения и оптимизации в больнице исчезли хирурги, анестезиологи и многие другие специалисты. Он давно работал семейным врачом и бывал здесь редко. Сейчас перед ним проносились какие-то воспоминания, лица врачей, работавших в этой больнице, тех, настоящих. Многих уже нет. Вспомнилось, как давал здесь наркоз своей любимой учительнице русского Серафимке. Почему она сейчас всплыла в памяти? Прицепился к случайной мысли, которая, как всегда, не случайна. За что любили ее? Справедливая была. Честная? Да, честная. Ровная и честная со всеми ними, разными учениками. Честная — это главное.

Все так же всхлипывая, постукивая чем-то очень древним внутри, дышала самая надежная в мире советская дыхательная аппаратура. Постепенно он взял себя в руки. Правое легкое дышало не полностью. Нарастала гипоксия, и он был готов идти на дренаж, когда под окнами захлопали дверцы машины, послышались мужские голоса. Реанимация! Павел, хирург. Этот крутой, жаль — не успел на операцию. Молодой высокий анестезиолог, незнакомый. Пошли на дренаж.

И тут он сделал вторую ошибку: не проследил за дренажем! Пробегал, звонил из ординаторской в Коми. Не посмотрел, сколько воздуха по дренажу!

— Был воздух! Много. — Молодой.

Он поверил. Послушал. Да, вроде справа получше стало дышать.

Рентген. Контроль.

— Давай не будем! Потеря времени! Дренаж стоит! Время! — Анестезиологи.

Подумав, скрепя сердце согласился. Еще ошибка!

Успел заметить: куда-то исчезла Рыжая. Домой, наверно. «Так и не полюбовалась на рентген с пневмотораксом», — подумал как-то вскользь. Тут же забыл, навсегда.

— Куда везем? В город?

Снова взгляды на него.

— Нет, в Коми! В республиканскую.

Все — молчание. Возражений нет. Да хоть бы и были!

Были долгие муторные переговоры с Коми. «Вы не наши!» Центральная республиканская больница работает только на ковид, телефоны

не отвечают. Несколько раз хватался сам за телефон, поминутно бегая в оперблок.

Наконец переложили на каталку, вынесли, погрузили и повезли. Как повезли, он почти не запомнил.

И сделал очередную ошибку: послушал реаниматоров.

— Не садись с нами. Тесно, мешаться будешь, четверо нас, три часа, не меньше! Тесно. На связи будем, давай за нами!

Согласился и не проследил. Был бы рядом — противошоковую терапию начали бы уже в реанимобиле.

Сев к зятю в машину, попытался что-то сказать, но вдруг, как-то по-собачьи взвизгивая, разрыдался — от дикой жалости к дочери, от своей беспомощности. Но тут же взял себя в руки и молчал всю дорогу.

Было неожиданно темно и мрачно в это время коротких белых ночей. Тучи наглухо заволокли небо, ни единого просвета. Периодически он набирал номер хирурга и все смотрел и смотрел на задние габаритные огни и мелькающие проблесковые маячки реанимобиля. Казалось ему, что навсегда наступила ночь. Но через какое-то время слева на небе появилась темно-красная полоса. Дорога, сделав длинный поворот влево, поднималась все выше и выше. Полоса, вспыхнув, вдруг раскрылась огромным багровым закатом во все небо. Справа все еще шел черный лес, но вот он закончился, и в окно автомашины торжественно стала въезжать картина... Картина из его сновидений последних дней: простор, громадная северная река, делающая величественный поворот на девяносто градусов; бескрайний, в десятки километров, горизонт! Грозный закат, отраженный в реке. Смотри, мол, вот он я, ждал тебя, теперь ты веришь?

Он не спорил. Верил. Он знал: его предупреждали. Все предопределено. Все по заслугам. Всем. Все не случайно.

Что же произошло сегодня с людьми, с которыми работал много лет? И с ним? Он никогда не думал, что может оказаться чужим для своих, попадет в полосу отчуждения. Но давно уже замечал среди коллег своего возраста, дорабатывающих на селе, большое число усталых врачей. Уставших сочувствовать, сопереживать больным. Сопереживать — это же переживать совместно! Боль, беду, горе. Как свое переживать. Что это? Своеобразная защита психики? Ушел и забыл про больного. Для них человек, попавший на койку, пусть даже близко знакомый, сразу становится чужим. Они сразу отключают сопереживание. Защищают себя: «Не хватит меня на всех».

Он навсегда запомнил, как покорило его и как изменило отношение к тому пожилому врачу одно происшествие. Разбираясь с тяжело травмированным больным, кстати, знакомым, — пусть не слишком трезвым и не слишком приятным, — еще не начав, даже не попытавшись по-настоящему побороться за его жизнь, тот промолвил с каким-то облегчением, закуривая в ординаторской: «Вот хорошо, когда сам!» Сам, мол, травму получил. Сам и виноват, не мы! Не от болезни. Мы ни при чем! Заранее списывал уже его. Несовместимо с жизнью! Мы бессильны, мол. Не поборовшись. Не поработав. Не рискнув! Да, конечно, по-



том, на вскрытии, оказалось — травмы несовместимые. Но никто и не пытался вытянуть их! Затащить в разряд совместимых с жизнью...

И жуткое осознание: прибудь он на два-три часа позже — услышал бы уверенное в своей правоте и безнаказанности: несовместимые с жизнью... боролись... сделали всё, что могли...

Что все-таки случилось с нами? Почему, зачем существует и живет эта формула: врач не может сопереживать каждому больному как собственному сыну, дочери, его на всех не хватит. Может быть, и не хватит. Кого-то. Честного должно хватить.

И что случилось с ним? Все думал и думал он, глядя на закат. Тревожный. Багровый. Страшный. «Что это было? И зачем это мне?..»

Потом, как-то провернув все в душе, сказал вдруг себе вслух: «Опыт». Это опыт, страшнейший и ценнейший опыт, который можно только придумать для врача, чтобы понял он, как и что чувствуют близкие пациентов, когда врачи, пусть даже честно, чистосердечно отработав, говорят им: несовместимые...

Каждому врачу надо пожелать такого. Каждому, такому же, как он сам, сукиному сыну! Потому что было. Было и в его практике такое.

Он хорошо тогда запомнил и помнит всю жизнь. Мать. Старушкой ему показалась. Мать, потерявшая сына, подростка... Пришла на прием, села. Посидела молча. Он тоже помолчал. А что говорить-то? Все вроде сделал. Казалось. Давно, в молодости. Ведь передал он больного, пацана этого, уезжая в отпуск. Отпускные в кармане, последний рабочий день, впереди поездка куда-то на юга, за границу. Молодость! Передал другому врачу: «Подозрительный, не диабет ли? Хотя сахара почти норма. Домой все просится парень. Не отпускай...» Передал и уехал, спокойный такой, веселый. И равнодушный. Тот врач принял больного, но назавтра отпустил домой. В деревню. Там и умер парень. Диабетическая кома...

Посидела молча мать. Потом достала фото. Смешные такие тогда фото делали: напечатают снимки, а потом раскрасят. На фото — парень тот. Посмотрел он на него. И помнит вот до сих пор. Давно умерла уже та мать. А он помнит. Всю жизнь. Но не закончилась, оказывается, та история. Опыт этот послан. Оттуда послан. С той фотографии. Он понял.

Понял, но легче не будет, хотя все и встало на свои места. Каждому врачу желал он сейчас, горячо желал, хлебнуть сполна такого опыта со своими родными! Или уходить. Потому что нечего делать здесь нечестным. Нечего делать с формулой «меня на всех не хватит»!

И наконец диковато как-то подумалось, но совершенно спокойно: повезло. Хоть к концу своей врачебной практики, к концу жизни приобрести это понимание. Повезло...

* * *

К городу подъезжали уже глубокой ночью. Сначала запахло сероводородом, обязательным при варке бумаги, потом замелькали дымящие трубы целлюлозного комбината. Покружив, поплутав по переулкам, технологическим трупобам, встали.



«Вы приехали!» — с каким-то трагическим оттенком поставил точку уставший женский голос навигатора.

Потом долго звонили в закрытую огромную железную дверь семиэтажного корпуса. Затем экспресс-тест — на коронавирус. Еще мучительные полчаса ожидания. А он снова, стоя на коленках в реанимобиле, все грел ее ледяные стопы. Говорил ей что-то нежное. Ему казалось, что слышит она, понимает его. Хотя одновременно четко осознавал, что после такого объема наркотических и обезболивающих — это давно уже медикаментозная кома. Потом в ужасе стал замечать, что у нее пополз зрачок: стал больше! Понимал, что гипоксия это, но все равно был на грани паники. Наконец дверь отворилась, и они, отключив ее от аппарата, на мешке, вшестером: хирург, анестезиолог, медсестра, шофер, Ромка и он — покатали тяжелую каталку.

Первое помещение с рядами стульев, как в кинотеатре, — видимо, для ожидающих — показалось слабоосвещенным и было пусто. Он перехватил у застрявшего в дверях с носилками реаниматолога дыхательный мешок, подключенный к легким дочери, стал дышать. За нее. Мягко, упруго, достаточно сильно и одновременно нежно, чувствуя даже не рукой, не пальцами, а изнывающим сердцем, как воздух из мешка с хрюкающим звуком наполняет легкие дочери. Впереди каталки как-то спиной шагнул он наконец в приемное отделение...

Заметил у стола двух женщин-фельдшеров. «А где же?!» — только успел подумать, как раскрылись большие стеклянные двери и начали быстро входить люди. В халатах, костюмах. Мужики. Много! Человек восемь. Нет, человек десять! Одна женщина, молодая.

Реаниматологи, хирурги, травматологи. Он давно научился различать специальности коллег по внешнему виду. А может, это ему показалось, что десять. Не считал, но увидел — много! Нет, не обрадовался даже — возликовал! Бригада.

«А он-то где? Где он, Господи?! Пошли его, Господи! Врача».

— Так, сразу сюда, на КТ!.. Почему без аппарата, без ИВЛ?! Почему без центральной вены везли?! Кто анестезиолог?! Какой наркоз, где сатурация, почему кровь не капали? — Резко, властно женский голос. — Сколько давление?

Одновременно множество рук уже подключали мониторы, кто-то мягко, но уверенно забрал у него из рук мешок Амбу, подключил дыхательную аппаратуру, что-то уже замеряли, быстро, молча, без суеты. Бригада мастеров!

— Да вы в шоке девочку привезли! — резануло.

И прихлынуло тут же радостно: это она ее! Его дочь, его девочку! Сорокалетнюю уже, но для него навсегда, на всю жизнь девочку... девочкой назвала.

— Почему кровь не переливали?

— Не было, не успели.

— Что в животе? Хорошо промыли? Кровезаменители? Объемы?



— Плазмы тысяча. Кишечник... пять разрывов... толстого. Брюшную промыл хорошо — пять литров с лишним, не меньше.

— Видели? Ревизию хирург провел?

— Да, я видел сам. Ревизию, да. Проверил все, разрывов больше не нашли. Чисто. Я видел.

— Хирург как?

— Рукастый, хорошо ушил.

— Крови по дренажам?

— Нет, крови не было. По дренажам чисто.

Он все отвечал ей, она все что-то спрашивала.

— Наркоз какой, релаксанты? Сейчас сколько? — приняла его за анестезиолога.

— Ардуан, четыре миллиграмма, два часа, сейчас поддыхивать начнет. Пора.

— Воды?

— Достаточно. Давление не держит! Дренировал не я. Контроль не сделал: потеря времени. Да, ошибка. Не проверил. Мои ошибки...

Все остальные молчали. Он понял: его приняли за старшего из сопровождавших врачей. Отвечал четко, быстро, за всех.

Почувствовал: это она!

— Так, всё! На КТ! Снимаем всё! Начиная с черепа! Поехали, поехали!

Смиловивился. Послал. Ее. Это — врач.

Потом он вместе со всеми стоял в аппаратной компьютерного томографа. Напряженно вглядываясь в большой монитор, периодически не сдерживаясь, среди общего напряженного молчания, громко, неуместно, невпопад, сам понимая это, но не в силах сдержаться, все спрашивал и спрашивал. Всех сразу. В ужасе. «Асимметрия?!» — глядя на мозг. «Тотальный?!» — видя вместо правого легкого ровное черное поле. Еще что-то. Еще. Никто не отвечал ему. Все молчали. Говорить первой, похоже, здесь могла только она. Но и она одну лишь фразу выдала:

— Да, тотальный. Это ваш неправильный тонкий дренаж. Притом уперся в средостение, не работает... Так, быстро в перевязочную! На дренирование.

Один рядом стоящий, наверно хирург, моложе его, восточной внешности, по виду и акценту — армянин, негромко и как-то мягко подтвердил:

— Да, тотальный...

Но он и сам уже понял это.

Так и катал он с ними дочь. В лифт, из лифта. На КТ, на дренирование, в палату. Рядом с ней, старшей в смене реанимационного отделения, которую все мужики называли уважительно — Михайловна. В каждом новом кабинете, на каждом следующем этапе он с содроганием узнавал всё новые диагнозы. К разрывам кишечника, перитониту, ранению коленного сустава, бедра добавились контузия мозга, тотальный



пневмоторакс, перелом шейного отдела позвоночника, переломы грудины, ключицы, множественные переломы ребер, ушиб сердца, ушиб легких. Множественные ушибы мягких тканей лица, конечностей... Шок.

Узнавал, но держался. Много выпало. Но запомнилось странное. Они с каталкой поднимались на лифте на шестой этаж, в реанимацию (он точно помнил), всё наверх, но, поднявшись, вдруг оказались в том подвале из сновидений... Полутемном, с низенькими дверями. Палаты без окон, с низкими же потолками. Подвал из юности его! Подвал областной больницы с учебными аудиториями. Он понимал спокойно, четко и критично: так быть не может. Это не реальность! Это мозг его начал давать сбои. Довольно крепкий, как он всегда думал, но уже стареющий мозг давал ложную информацию. Или предупреждал? «Может, всегда перед концом бывает что-то такое?» — думал так о себе как будто со стороны. И был уверен, абсолютно уверен, что этот день может быть последним и для него. Если что с ней... Но был спокоен.

Он хорошо держался. Но когда в лифте с каталки вдруг упала простыня и внезапно обнажилась маленькая изящная грудь дочери... так беззащитно, так больно обнажилась... обидно открыто для всех... это вконец добило его. Чересчур поспешно, резко он натянул простыню, закрыл.

Она как-то удивленно, непонимающе глянула, еще спросила про наркоз. Ответив что-то невпопад, стоя напротив, через каталку, он сказал:

— Отец...

— Что? — не поняла она. — Что «отец»? Где отец?! — недовольно, не понимая.

— Дочь это. Дочь моя...

— Как дочь?! Вы же врач!.. Так! — догадавшись наконец. — Пойдем. Пойдем!

И увела его в ординаторскую.

— Ты посиди тут, подожди. Сделаю все необходимое — приду, поговорим. Посиди.

Потом, выслушав его бред, вой (держался до этого, хорошо держался), сказала четко:

— Иди ищи ночлег: сам знаешь, нельзя здесь, карантин. Постарайся отдохнуть, если сможешь. Состояние тяжелое. Критическое. Сам видишь. Сочетанная травма. Очень много всего по совокупности. Затянули. И в шоке. Звони не раньше чем через два с половиной часа. Будет уже что-то. Прояснится.

...Кружил он, кружил... Два часа по незнакомому ночному городу. Думал о чем-то?.. Не думал?.. Не помнил. И вспоминать потом никогда не хотел.

Только когда через два часа пятнадцать минут после долгих-долгих длинных гудков услышал в трубке уверенный женский голос: «А, это ты!» — по интонации мгновенно понял: жива!

— Состояние твоей девочки стабилизировалось, из шока выводим. Успокойся, если сможешь. Звони теперь не раньше шести.

Держа обеими руками перед глазами телефон, еще долго смотрел он в экран на изумительно красивое, горящее ярко-зеленым «ВикторияМих реанимация», чего-то ждал еще.

«Ладно. Ладно... хватит и этого... пока, — сказал себе. — Мне хватит...»

Не чувствуя ничего, какой-то полностью опустошенный, всех за все простивший, никому и ничего уже не желавший, стоял он. Целую вечность стоял там. Потом вдруг обнаружил, что уже рассвет. Огромный, в полнеба, красно-золотистый рассвет все разгорался и разгорался на восточной окраине этого теперь уже близкого и родного ему города. Внезапно включился слух: ворвался шум ветра, трепет листьев и птичий гам. Шел новый день.

Высоко, на шестом этаже, где золотом сияли огромные окна реанимации, была сейчас его девочка, дочь. И рядом с ней была она. Он знал, что предстоит очень опасный, долгий и тяжелый путь лечения, реабилитации и много чего трудного. Он знал. Но знал и то, что сделан наконец первый правильный шаг, потому что рядом она. Высокая, стройная, темненькая, синеглазая, сначала показавшаяся ему не очень красивой. Резкая, властная, умная. Надежная и прекрасная. Зовут ее Виктория. И она от Бога.

Рассветное золото вдруг разом хлынуло и разлилось по свету. Опасные качания, дрожания в груди его всё уменьшали амплитуду и затихали. Он наконец, как ребенок, глубоко, длинно, прерывисто вздохнул... и стал жить дальше.



ТИХИЙ УЛОВ

Андрей НОВИКОВ

Липецк

Сумерки

Бесславно темнеет. Струя молока
Поет монотонно в ведре
На цинковом блике, мелеет река,
Сужается свет. В сентябре
Идет межевание в небе, гряда,
Чернея, идет за грядой.
На землю упала гнилая вода,
А чистая стала бедой.
Хозяин стреляет ворон от тоски,
Хозяйка другим занята:
Корове тяжелые мажет соски
Густым вазелином, а та
Таращит наполненный влагою глаз,
В котором колеблется двор,
Скамья деревянная, ведра и таз,
В колоду вонзенный топор.
Смеркается, в лампу налит керосин,
Гудит в отдаленье баржа.
Знаменем поп осенил апельсин
И съел. Гром не грянул, а жаль.
Хозяин, по полю отмерив версту,
С колена, не целясь, как есть,
Последний патрон разряжает в звезду,
Взошедшую в небе как весть.

Тихий улов

Предчувствуя жизнь впереди, припав к своей горькой поживе,
 На кухне ночной посиди, где чайник свистит в позитиве.
 Не спи, прижимаясь к двери, отдай себя этому месту,
 А время еще впереди печалиться в скудности пресной.
 Досуг коротающий ждет доверчивой правды покоя,
 Бессонницу прошлое льет живою и мертвой водою.
 И горек заветренный хлеб, и легок в салатнице пепел,
 Ход мысли и воли нелеп, замкнулся в языческой скрепе.
 Сегодняшний тихий улов: отныне не знающий храма,
 Все так же ты Бога зовешь в объятя душевного хлама.

Олег МОШНИКОВ

Петрозаводск

* * *

Осенний сплин — причуда запустенья.
 Враздрай — дороги. Порознь — дома.
 И абы как торчащие растенья
 Укроет снежным облаком зима.

Пенек и камень, куст подмявший краем,
 Темны и одиноки не навек:
 Всех без числа смиренно примиряет
 Небесный снег, парящий тихий снег...

* * *

Моя земля,
 мой кроткий век —
 суши белье
 осенних листьев...

Есть чистота:
 помимо жизни —
 морозный лес,
 погостный
 снег.

Надежда ГЕРМАН*Саяногорск*

* * *

Кончается лето. Вьюнки-граммофоны
играют мелодию пятидесятих.
И пахнет полынью и перечной мятой.
И солнце спускается по небосклону.

И тень по паласу ползет, как живая.
И ветхая фея склонилась над пальцами
и держит иглу узловатыми пальцами,
несбывшейся жизни узор вышивая.

И этот узор, вышиваемый гладью,
становится сказкой, придуманной в детстве,
о розовом утре и юной принцессе
на фоне прибоя, в малиновом платье.

Но сказка как сказка — светла и понятна,
а жизнь — это жизнь. И она не вернется.
Остались на скатерти яркие пятна —
босые следы уходящего солнца.

Андрей КУЛЮКИН*Североморск*

* * *

И холодно, и слякотно.
О жизнь, о белый свет!
Уйду и я, оплаканный,
Туда, где плача нет.
Ни лебеди, ни вороны —
Кто в мыслях мельтешит?
Ни белые, ни черные
Крыла моей души.
«Так в чем же, в чем же истина?» —
Кричу в слепую мглу.
В ответ скребут безлиственно
Деревья по стеклу.

Осенняя поэзия
Печальней при луне,
Вся жизнь как будто грезится
Мне в черно-белом сне.
Звонит ли небо звездами?
Иль колокол так бьет?
Уйду. И осень поздняя
Оплачет мой уход.
А завтра — снег над пашнями,
И будет белой гладь.
И мир по мне вчерашнему
Не станет горевать.

* * *

И откуда берутся снежинки?
Может, где-то в раю высоко
Опрокинули ангелы крынку
С белым-белым парным молоком.

А в Сочельник мороз был трескучий.
Проплывая над спящим селом,
Осыпались молочные тучи,
И мело, и мело, и мело.

И мне слышалось: кто-то негромко
Пел в сарае у края села.
Это ангел баюкал теленка,
Чтобы мама-корова спала.

Анастасия СКОРИКОВА

Санкт-Петербург

* * *

Ни в коммунизм, ни в бога он не верил,
а верил в лес и в сладкий луговой,
как пена взбитый теплым ветром клевер,
и жизнь свою рекой и садом мерил,
а лес и поле верили в него,
особенно когда на грани лета
он выходил в глухую ночь во двор, —
как светлячок, горела сигарета,
и тьма смотрела пристально в упор.

Татьяна РОМАНОВА

НАПЕРЕКОР

Р а с с к а з

Букет из трех лиловых гладиолусов, завернутый в прозрачную пленку, наполовину скрывал белокурую головку с пышным бантом на макушке. На груди у девчушки виднелся приколотый английской булавкой бумажный колокольчик, на спине висел розовый рюкзак. Мама, папа, бабушка и дедушка вели Зоеньку в первый класс.

После праздничной линейки во дворе учительница собрала всех первоклашек в классной комнате и рассадила по местам. Сзади, за партами, столпились родители. Все мамы были с завитыми кудрями, папы — в галстуках. Казалось, каждый надел лучшее, что у него имелось в гардеробе.

— Ребята! — промурлыкала учительница. — Меня зовут Ольга Сергеевна. Я — ваш классный руководитель. Давайте знакомиться!

Классный журнал зашелестел в руках Ольги Сергеевны, и она приступила к переключке. Посыпались разнообразные имена и фамилии. Под взглядом учительницы владелец имени робко поднимался с места, вытягивался в вертикальный столбик и стоял так, пока следующий названный не вырастал над своей партией.

— Зоя Навозова! — громко зачитала Ольга Сергеевна и внимательно посмотрела на класс поверх очков.

Со всех сторон захихикали. Кто-то даже загоготал. Зоенька покраснела, как мухомор, и поднялась. Фамилию свою она ненавидела. И имя свое, к слову, — тоже.

После школы ее хором успокаивали мама с папой и бабушка с дедушкой.

— Заинька! — называли они ее милым домашним прозвищем. — Наша фамилия — наша история, наша гордость! Мы же рассказывали тебе про прадедушку Ваню!

Прадедушка Зоеньки, Иван Навозов, во время войны был отважным летчиком и пал, как выражались взрослые, смертью храбрых. Семья Навозовых бережно хранила его награды в рамочке за стеклом и место для них выбрала самое почетное — на стене над креслом для чтения. Зоенька любила взбираться на кресло и подолгу эти значки рассматри-

вать. Но фамилию, которая перешла ей по наследству от прадедушки, не любила, нет.

Праздник для нее был испорчен.

В седьмом классе проходили «Лошадиную фамилию» Чехова. Женька Воронцов, главный задира в классе, заявил, когда учительница отлучилась на минутку:

— А вот фамилию нашей Навозовой приказчик ни за что бы не позабыл! Навоз — он и в Африке навоз!

Весь класс так и покатился со смеху.

— А ты, — выкрикнула Зоенька со слезами на глазах, — ворона из басни Крылова! И твою... твою тоже приказчик не позабыл бы!

Но никто не рассмеялся. Слово «навоз» казалось смешным, а слово «ворона» — нет.

Когда у всех появился интернет, родители Зоеньки тоже подключились к глобальной сети. «Ведь это нужно для учебы!» — убедила их девушка. Училась она тогда в десятом классе и уже готовилась к поступлению в институт.

Лизка Никитина, школьная подружка, которой интернет уже полгода был проведен, научила ее пользоваться социальными сетями. Долго думали, как Зоеньку в социальных сетях прозвать. Настоящие имя и фамилия однозначно отметались. Остановились на красивом имени Виктория — Зоенька его всегда обожала. Фамилию тоже придумали благозвучную — Рождественская. Слизали у известного поэта.

Старт был дан, и за сутки Зоенька познакомилась с тремя кавалерами. Особенно запомнился один — с красивой фамилией Рокоссовский. Зоенька долго с ним переписывалась, а его фамилию, как платье, даже примерила на себя. Но потом выяснилось, что Рокоссовский не с ней одной крутил виртуальную любовь. На том и разошлись, и свое настоящее имя Зоя ему так и не раскрыла. Сильно обиделась.

Перед поступлением в институт Зоенька подошла к маме:

— Хочу поменять фамилию! Да и имя тоже! — и притопнула ножкой.

Ей как раз стукнуло восемнадцать лет. Амбиции били через край.

— Что ты! — перепугалась мама. — А как же прадедушка Ваня?

Из кухни примчалась бабушка:

— Судьбу перевернешь — назад не воротить! Не позволю!

Папа из кресла лениво встал:

— Кучу документов менять! Оно тебе надо?

— Для нас-то ты все равно всегда Заинька, — лебезил дедушка.

В итоге мама с бабушкой убедили Зоеньку не торопиться: все равно та сменит фамилию, когда выйдет замуж. Это, мол, и дедову память не оскорбит, и не хлопотно, да и соседи ничего лишнего болтать не станут. Мама с бабушкой очень не любили, когда об их семье судачили. А судачить непременно будут — людям только дай повод, город-то маленький, и все друг друга знают!



Теперь Зоенька хотела замуж. А пока она поступила в институт. Собрала вещи, расцеловалась с родителями и переехала в областной центр. Ей дали комнату в общежитии.

Выбрала Зоенька факультет математики и информатики. Математику она всегда любила, а с информационными технологиями еще со времен появления в их доме интернета вела крепкую дружбу. И когда в списках на поступление отыскала себя, чуть до потолка не подпрыгнула от радости. Впервые Зоеньке было приятно смотреть на свою фамилию. Остальные поступившие, как водится, были с более удачными личными данными: Валерий Абакумов, Егор Байдин, Алексей Бородин, Александр Верин, Светлана Варлыгина... Смеяться не над чем.

Сокурсники Зоеньки оказались людьми серьезными, яростно стремились к знаниям. Большую часть группы составляли юноши типа «молодой ученый», которые, кроме теорем и дифференциальных уравнений, ничего не замечали. Поэтому, когда Зоенька впервые произнесла вслух на семинаре свою фамилию, никто даже не улыбнулся. Смотрели на нее исключительно как на будущего математика-программиста, а не как на объект для издевок и насмешек.

Но, конечно, без курьезов не обходилось. Например, преподаватель по математическому анализу Петр Алексеевич настойчиво называл Зою Навозовой, ставя ударение на третий слог, желая, видимо, сгладить неблагозвучность ее фамилии и тем сделать Зоеньке приятное. Но это, наоборот, лишь привлекало к ее фамилии ненужное внимание, и Петр Алексеевич, получалось, оказывал своей студентке медвежью услугу.

В остальном студенческие годы текли мирно. Зоенька с головой ушла в уравнения математической физики, теорию вероятностей, математическую статистику. С жаром бралась за языки программирования, осваивала графические редакторы. На четвертом курсе даже создала незамысловатый сайт для дистанционного обучения школьников, где вместо обычных имен и фамилий использовались никнеймы и каждый назывался так, как хотел.

Однажды вечером в магазине компьютерной техники Зоенька познакомилась со Степкой. Он бестолково выбирал себе компьютерную мышь, ну а Зоенька, видя, что молодой человек растерян, вставила свое слово. Разговорились. Был он и высок, и холост, и получше многих разбирался в истории и в искусстве. И что интересно — не был зарегистрирован ни в одной социальной сети и вообще плохо понимал, для чего эти сети могут понадобиться.

Завертелось все вихрем. Гуляли молодые люди до утренней зари, болтали обо всем на свете — и Зоенька поняла, что влюбилась. Через месяц после знакомства Степка сделал ей предложение. Видно, влюбился тоже.

— А какая у тебя фамилия? — заговорщическим шепотком спросила у жениха Зоя на следующий день после того, как ответила согласием на его предложение.

— Поносов, — улыбаясь, ответил Степка.

Зоенька думала, что такое бывает только в кино. Ан нет! С ней, с Зоенькой, тоже эта беда приключилась.

Степка сказал, что не обидится, если Зоя решит после замужества оставить свою фамилию. Так она и сделала. А зачем шило на мыло мять? В конце концов, ее фамилия — гордость семьи Навозовых, напоминание о храбром прадедушке Ване и его подвиге, о вековой истории более чем пятидесяти ее членов, согласно генеалогическому древу. А она, Зоенька, — важная частичка этой семьи. Пусть родители порадуются. Ей же не жалко.

И тогда жизнь вдруг стала простой и понятной. Зоенька махнула на все рукой и со своей судьбой смирилась. Липовые личные данные на всех своих страничках в социальных сетях заменила настоящими. Спустя шесть-то лет!

Ее друзья по переписке сначала ничего не поняли. А когда узнали правду, все равно по привычке называли ее Вико́й. В общем, ничего не изменилось. Только Зоенька теперь не морщи́лась, когда в поликлинике на весь коридор называли ее фамилию, приглашая в кабинет к доктору. Не робела перед аудиторией, если нужно было вслух представиться. Она старалась нести свою фамилию с достоинством. Как несли ее мама, папа, бабушка и дедушка. И, конечно, прадедушка Ваня.

Как-то вечером Зоенька со Степкой лежали на диване — секретничали. Было это через полгода после их свадьбы и спустя месяц после того, как Зоя окончила институт.

— А ты знаешь, — начала Зоенька, — я всегда свою фамилию терпеть не могла. И имя, между прочим, тоже. И всегда думала: вот выйду замуж — сменю хотя бы фамилию! Не получилось. А теперь вот, кажется, привыкла... Скоро найду работу, войду в новый коллектив. Кто-то, возможно, и ухмыльнется, услышав ее, когда меня представят. Но я ведь выше этого, правда?

Степка рассмеялся и поцеловал Зоеньку в лоб.

— Если тебя это так заботит, — сказал он просто, — смени ее сейчас. На какую вздумается.

Зоенька разволновалась.

— Ты что! — воскликнула она. — Это как-то... странно, что ли. Подло... глупо!.. Двадцать три года жить с этой фамилией, с этим именем — и тут — бац! — переменить?

Степка пожал плечами:

— А по-моему, глупо страдать всю жизнь из-за того, что можно поменять одним простым движением! Но как хочешь. — И он притянул ее к себе.

Зоенька внутренне все негодовала: «А сколько документов менять! А мой диплом! А что скажут родители? И другие люди... Ой-ей! Все же знают меня исключительно как Зою Навозову!»

Ночь Зоенька провела беспокойно, в раздумьях. Наутро, проводив Степку на работу, она накинула плащик (было зябко), подхватила зонт, сгребла в охапку все имеющиеся документы и тенью выскользнула из дома. Ноги несли ее напрямик в загс.

На двери кабинета номер пять, поверх таблички с двумя коротенькими предложениями: «Перемена имени. Расторжение брака», висело ис-

теричное объявление: «ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНУ ИМЕНИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ!!!» И ниже, так же крупно, красовались реквизиты.

Зоенька, сверкая пятками, полетела в банк и уже через двадцать минут входила в кабинет с нужной квитанцией в руках.

В уголке за компьютерным столом сидела девушка — служащая этого важного учреждения — и что-то выстукивала на клавиатуре.

— Присаживайтесь! — воскликнула она, не отрываясь от экрана. — Слушаю вас!

Зоенька села. Мгновение молчала. Потом выдавила:

— Хочу фамилию сменить. И имя.

Девушка на Зоеньку и не глянула.

— Ваши документы, пожалуйста. Госпошлину оплатили?

Зоенька выложила на стол все, что принесла. Квиточек из банка на тысячу шестьсот рублей положила чуть поодаль от всего остального. В горле у нее пересохло.

Девушка снова весело, с ветерком застучала по клавишам. Задала несколько положенных вопросов. Потом уточнила:

— Что указываем в причинах смены данных?

Зоенька часто-часто заморгала и вдруг расплакалась. Ей казалось, что она предает прадедушку Ваню.

Но служащая загса попалась понимающая.

— Давайте укажем «неблагозвучность»?

Зоя что было сил закивала.

— Отчество оставляем?

Зоя закивала опять.

Отпустили ее минут через пятнадцать.

Когда было готово свидетельство о перемене имени, Зоенька помчалась переделывать паспорт. Через десять дней работница паспортного стола протянула ей новый документ, бросив сухо:

— Распишитесь!

Работнице было все равно, что жизнь человека, стоявшего перед ней, перевернулась с ног на голову. Шершавая бордовая обложка. Блестящая ламинированная страничка с личными данными. Фотография три на четыре. Размашистая, заранее придуманная подпись и волшебные три слова в графах «Фамилия, имя, отчество»: «Рождественская Виктория Михайловна».

Светило солнце, играл всеми красками последний месяц лета. Степка караулил жену у дверей паспортного стола. Он протянул ей пучок белых флоксов, купленный где-то впопыхах, прокричал торжественно:

— С новым днем рождения! — и поцеловал в щеку.

Она вытерла набежавшую слезу, сфотографировала первый разворот паспорта и отправила по WhatsApp маме.

Мама перезвонила мгновенно. Кричала в трубку:

— Пожалеешь!

На втором плане гудел, возмущаясь, папа. Дедушка с бабушкой выкрикнули, что страшно обиделись. Но Виктория была счастлива.

И прадедушка Ваня ее понял бы. Обязательно бы понял!

Андрей КОРОЛЕВ

НОЧНОЙ ФУТБОЛ

Р а с с к а з

Руслану Карманову

Телефон ожил прямо возле уха, завозился, зазудел с тупой услужливостью, и принципиальная тетка из него изрекла с деланным воодушевлением: «Время просыпаться: два — ноль». Она успела еще полтора раза повторить то же для особо бессознательных, пока Кулёмин непослушными пальцами не заткнул ей рот. Сев на диване, он с удовлетворением отметил, что сообщение противно-правильной тетки — хороший знак: будто мы еще до начала матча повели в счете в два мяча.

Ему нравилась в себе эта способность быстро, без нытья и уговоров подниматься в любое время и в любом состоянии — и спокойно делать то, что положено. А сейчас нужно было только потише собраться, выпить кофе да уже отправляться к Бирюлёву. И пускай это была по-ночному тревожная необходимость, но зато и приятная, предпразднично-волнительная, вызывающая гордость миссия — помочь своей команде.

Он давно обосновал для себя мысль, что самые верные футбольные болельщики, безусловно, живут в Сибири. Взять хотя бы Лигу чемпионов: когда в Европе начинаются матчи, у нас 2:45 — самое паршивое время, потому что в будний день вряд ли дотянешь до прямого эфира без сна, а после игры в пять утра потом еще хрен уснешь (да к тому же всего-то часа на два — на три). Вот где настоящая любовь, самая самоотверженная и искренняя.

Правда, тут важно кое-что уточнить. Однажды Кулёмин дисциплинированно, как Штирлиц, и без будильника проснулся аккурат к свистку любопытного в общем-то матча «Динамо» (Киев) — «Манчестер Сити». Но телевизор так и не включил: смотреть футбол ночью — очень интимное занятие, этого достойны только самые близкие или самые великие (как за сутки до того — «Ливерпуль» с «Баварией»), а абы какая встреча абы каких команд — это совсем не то...

Сам Кулёмин играл еще в те времена, когда судьи заставляли футболистов заправлять майки в трусы, за победу начислялось не три, а два

очка и действовало правило: в командах второй лиги в домашних матчах должен быть в составе хотя бы один игрок не старше восемнадцати. Из-за этого он, собственно, и попал в команду мастеров семнадцатилетним сыном полка. Выступал за нее два сезона — сначала во второй, а потом в первой лиге. Много это или мало — это как посмотреть. Но любовь к футболу в любом случае осталась — понятно, ревнивая, но нециничная, по-прежнему романтическая. Любовь к атакующему, бесшабашному стилю, к красоте и творчеству даже в ущерб результату.

В его окружении за ним, как за профи, до сих пор признавали право судить об игре — безапелляционно, или даже надменно, или великодушно, — поскольку с истинным, заслуженным знанием дела. И это грело.

Идея возникла спонтанно, варьировалась в деталях, обрастала приёмами и наконец превратилась в ритуал. И вот уже два года на матчи Лиги чемпионов и чемпионата Испании они собирались у Бирюлёва дома — смотреть «Барселону». Не болеть за нее сообща, а именно наблюдать за матчем совместно, и это была тоже своего рода игра — странная, но захватывающая: ведь Бирюлёв «Барсу» терпеть не мог и по-детски буйно радовался ее неудачам.

Жил Кулёмин всего в четырех минутах ходьбы от Бирюлёва, но тот бы и сам приезжал за ним хоть на край города — настолько был упертым. Мол, традиция — это святое, отступить нельзя. Жена его, как сразу понял Кулёмин, эти пьяные бдения с внезапными вскриками не особо приветствовала, но поделаться ничего не могла. И если игра была не слишком поздно, часов в десять вечера, Кулёмин еще заставлял ее, молча шуршащую у подвезенного к большой «плазме» столика с напитками и закусками. Но, если честно, и Кулёмину, и Бирюлёву больше нравились именно ночные матчи: тогда все воспринималось как-то ярче, восторженнее или трагичнее — в общем, острее.

В этот раз игра была как раз с половины третьего, но, когда Кулёмин тихо постучал в дверь и та быстро открылась, гостя ждал не слишком приятный сюрприз. Бирюлёв был уже заметно поддатым (а значит, будет говорливей и громче привычного), а главное — не спала и его жена.

— Вот, — объяснил Бирюлёв, сгребая ее в охапку и целуя в макушку, — Ангела Геннадьевна со своих дамских посиделок пришла — у них тоже традиция — вся такая довольная, столько сплетен наслушалась. Хочет теперь увидеть, как настоящие мужики оттягиваются. Пусть посмотрит с нами хоть один тайм? Больше-то она точно не выдержит.

Ангела была еще в вечернем платье и тоже слегка нетрезвая — и Кулёмин впервые увидел ее улыбку. Красивую, но, на его вкус, слишком хищную. А глаза блестели хоть и весельем, но каким-то мрачноватым — с жадной не то продолжения банкета, не то обязательного реванша.

«Ох, зря все это», — подумал он и даже начал мямлить что-то насчет «неудобно», но Бирюлёв сразу пресек все возражения:



— Да хорош уже ломаться, Григорич. Без твоей-то поддержки «Барса» сегодня точно сольет. И ты Анжелке лучше сможешь все разъяснить — у меня терпения не хватит.

— Ну, если все аспекты превосходства «Барсы» разъяснить... — начал он остроу, но та уже не понадобилась: хозяйева, не дожидаясь его, прошли в комнату, где был телевизор. Он аккуратно разулся, повесил куртку и последовал по коридору за ними — по привычке зачем-то на цыпочках.

Странно, что они настолько сблизились: раньше мужиков такой породы Кулёмин старался избегать. Во-первых, Бирюлёв был много моложе. Во-вторых — успешный предприниматель. Причем успех его был уже не «новорусским» бандюганским (то есть рэкет либо кидалово), а результатом вполне солидно поставленного дела (что-то связанное с авто-сервисом). Даже чисто внешне Бирюлёв не мог ему нравиться: рыжеватый, лысоватый, с брюшком, тонкими ножками, а главное — с маленькой стопой и высоким дребезжащим голосом. Разве можно иметь дело с такими типами? В детстве во дворе именно такие больше всех драли глотку, отстаивая свои якобы попранные права.

А тут они как-то пересеклись в спортбаре, нашли общих знакомых, а потом и общие интересы. Нет, главный интерес — футбол, который для Бирюлёва, похоже, был подлинной страстью. Поиграть на серьезном уровне ему не довелось, зато сейчас он не только смотрел кучу матчей, но и разбирался в тактических схемах, помнил историю команд и турниров и — вот уж чего Кулёмин никак не мог понять (что за удовольствие купаться в одном бассейне дерьма с полуграмотной шпаной?) — вел безумно активную жизнь на фанатских ветках соцсетей под ником Карабас-Бумбараш.

Да, у него было чувство юмора — пусть не всегда резонирующее с кулёминским — и знания не только деловые-бытовые. Если не трогать такого конька Бирюлёва, как машины, в которых Кулёмин мало смыслил, то поговорить с ним можно было, например, о кино, особенно голливудском.

Но главной чертой Бирюлёва была необычайная спортивность. Не в смысле качаться на тренажерах или кататься по склонам без трасс (тем более с его склонностью к нарушениям режима). Так что скорее — соревновательность. Он вмиг заводился от любого противостояния, поединка, от одной возможности превзойти соперника. Пускай даже в непринципиальном споре или в затейной на ходу партии в нарды. В общем, он обожал побеждать и упивался самим этим драйвом — добиваться победы.

— Удивительно: с твоим-то азартом, любовью к риску — как ты до сих пор не разорился? — льстиво спросил как-то Кулёмин.

— Э-э, нет, не путай, — осклабился Бирюлёв. — Я вообще никогда не рискую. Блефануть — да, взять на понт — да, риск — нет. То, что ты называешь риском, — на самом деле решительность. Или решимость. Идти до конца — причем просчитанного. Ну а если я неправильно что-то просчитал — то сам и виноват. Сам дурак. Но это не риск. Чуешь разницу?

— Слушай, а в карты ты никогда не думал играть профессионально? Ездил бы в поездах, доил лохов, жил бы в Сочи...

— Ну, Григорич, разве ж это игра? Игра — это праздник, а здесь — тяжелый физический труд, ненормированный да еще и опасный. Да и скучно это.

И Кулёмин, конечно, с ним соглашался.

— Понимаешь, есть игроки — выигроки, а есть — проигроки, — растолковывал Бирюлёв в другой раз. — Вот я — выигрок, потому что во что бы то ни стало хочу выиграть и все сделаю ради этого.

— А проиграть, значит, никак не можешь. Прямо как Эраст Фандорин.

— Ну почему, могу, но для меня все равно хоть в чем-то да будет победа.

— А я, надо полагать, проигрок? — приготовился обидеться Кулёмин.

— Да нет, ты вообще не из таких, не из наших. Ты хоть и сам играл, но вот этого — во-что-бы-то-ни-стальности — не очень любишь. Ты больше по высокому и недостижимому прикалываешься. Лучше журавль в небе, чем синица в руке. Юношеский максимализм: «Мы забьем, сколько захотим», а помирать, так с музыкой. Для тебя это главное — не игра, не победа, а музыка. Скажешь, не так?

— Может, и так. Но не только. Для меня игра — это модель жизни, только более правильная, чем жизнь, более справедливая. Здесь бездарностям и лизоблюдам ни за что не пробиться наверх. Хоть какой-то талант да нужен. Ну и сила воли, понятно, и физика. Но и лирика тоже, тут ты прав.

— Вот я и говорю.

Вот такие у них бывали разговоры. Но бывали и попроще, и подушевней. Бирюлёв, к примеру, и это Кулёмину в нем особенно импонировало (раньше он был уверен, что все нынешние скоробогатеи — жлобы и зациклены только на себе), мог быть поразительно щедрым. Бог с ними — с мотивами, себя ли он таким образом приподнимал, или еще что-то, главное, что он реально любил делать подарки, причем ценные. Как-то Кулёмин рассказал ему, в каких бутсах он играл в первой лиге — в очень редких тогда и дорогих немецких «адидасах». Югославские им выдавали бесплатно, но те были тяжелыми и сильно растягивались, а такие — World Cup 1978 — можно было только у барыг из столичных команд купить. И Кулёмин купил — в «Локомотиве». Один ботинок (если без шипов) — всего 150 граммов! Ну рассказал и рассказал об этом, то есть похвастался слегка, вспомнил славную молодость. Прошло немало времени, и вот накануне его дня рождения Бирюлёв торжественно вручил ему именно такую модель! Оказалось, ее и спустя четверть века продолжали выпускать. И это было потрясающе!

Конечно, эти бутсы пригождались ему потом не чаще раза в год (обычно перед выборами, когда сборную ветеранов вывозили в какой-нибудь райцентр — сыграть с местными, накормить электорат если не

хлебом, то хотя бы таким вот зрелищем), но для Кулёмина этот подарок был очень дорог, и широкий жест Бирюлёва он оценил высоко.

Оценил и задумался: а что он может предложить взамен? Смешно было даже пытаться удивить Бирюлёва чем-то подобным — хотя бы даже фирменной, выписанной по интернету атрибутикой какого-нибудь клуба или сборной. Тот наверняка отчитал бы его за такое пускание пыли в глаза: «У тебя что — деньги лишние завелись?» К тому же Кулёмин не мог назвать Бирюлёва таким уж близким другом, ради которого стоило бы так расшаркиваться... И тогда он вспомнил об одном раритете, который прежде хранил особенно бережно, а потом просто как забавную диковинку — билет «Аэрофлота» с автографами игроков сборной СССР. Это его двоюродной сестре в 1982-м фантастически повезло попасть в заграничную поездку в Испанию, в самолете разговорились, и несколько наших футболистов расписались прямо на ее билете, причем Тенго Сулаквелидзе — так и вовсе петливой грузинской вязью. Бирюлёв, принимая эту реликвию, пришел в полный восторг!

Трансляция еще не началась, на экране была только заставка Ла Лиги. Анжела устроилась на коленях у Бирюлёва, и Кулёмин еще раз — уже всерьез — пожалел, что ввязался во все это.

— Так. Садись сюда, — показал Бирюлёв на его обычное место, но Кулёмину это представилось именно как «указал на место». Почему-то унизительно.

— Может, правда... — начал он.

Но Бирюлёв и слушать не пожелал:

— Всё, стоп. Пятница-вечер. Расслабься. И получай удовольствие.

Анжела прыснула.

— Наливай, — продолжал командовать хозяин. — Сейчас начнется.

И Кулёмин сдался: ну что, в самом деле, капризничать? Он взял бутылку и внимательно глянул на столик: третьего бокала для Анжелы не было. Он вопросительно качнул горлышком в ее сторону. «Нет», — помотал головой Бирюлёв.

Они чокнулись и глотнули по разу хорошего коньяка, а тут и матч начался. Сейчас вся скованность исчезнет.

— Вот смотри, — инструктировал Бирюлёв жену. — Видишь — смугленький дриц под одиннадцатым номером? Это и есть Неймар, от которого Михал Григорич тащится.

— Он правда лучше всех играет? — поинтересовалась Анжела напрямую у Кулёмина.

— Да, — ответил он просто. Хотел пояснить более развернуто, приготовился разложить по пунктам: и как неожиданно Ней выбирает вариант для атаки, и как легко обрабатывает мяч даже в борьбе, и как обостряет игру нестандартным дриблингом или пасом; и как в каждом — буквально в каждом! — эпизоде стремится сыграть изящно.

Но Бирюлёв сразу подрезал ему крылья, начав комментировать с издевкой:

— Во-во-во — смотри: сейчас завозится и мяч потеряет. Правильно! Никому не давай! Сам тащи! Видишь, какой хороший игрок, какой благородный — взял и отдал чужому!

«А может, оно и к лучшему, не надо метать бисер», — подумал Кулёмин. Он знал за собой этот недостаток — быть чересчур простодушным и откровенным. В итоге получалось как-то слишком многословно и слишком возвышенно, во многих ситуациях вычурно, неестественно. И что выслушавшим его излияния потом с ними делать?»

А Неймар сегодня и вправду сам не свой. Не идет игра — хоть ты тресни. Медлит с передачами, тянет, тянет — выбирает лучшее продолжение, но в итоге запарывает моменты. И с соперниками уже принялся собачиться. Те, понятно, сразу обстучали ему все ноги (с этими басками у него особые счеты), а он начал закипать. У Кулёмина появилось нехорошее предчувствие.

Как и предполагал Бирюлёв, Анжела сломалась уже через полчаса — даже всхрипнула, испуганно подняла голову, вытерла рот.

— Я пойду? — спросила она у мужа. — Что-то ваш футбол как-то не очень искрометный...

Это Кулёмин обещал ей такое шоу. Еще специально слово подбирал поинтересней.

Бирюлёв расхохотался торжествующе:

— Ну, в исполнении Неймара — это точно. Что, совсем-совсем он тебе не понравился? Даже на мордашку?

— Ну почему, — сказала Анжела, вставая и зевая. — Ничего. Только дерганый какой-то. И хлипковатый. Хоккеисты как-то повнушительней смотрятся.

— Вот! — повернулся Бирюлёв к Кулёмину. — Вот объективность! Независимый наблюдатель!

«Скорее сердитый покупатель», — подумал Кулёмин, но вслух спорить не стал. Все-таки игра проходила на чужом поле.

Беда в том, что счет оставался 0 : 0, то есть и выпить было не за что, Бирюлёв тоже начал посапывать еще до перерыва. Но делал вид, что не спит, иногда даже отпускал замечания — правда, с запозданием на несколько секунд.

Покурить после первого тайма Кулёмин по обыкновению сходил на лоджию. Бирюлёв за это время очнулся, умылся и опять стал бодрячком. До возобновления матча еще успели обсудить последние новости. Ну как обсудить? Сразу сошлись на том, что эти козлы уже задолбали. И почему нам так не везет? Вроде такая богатая страна...

Начался второй тайм — хуже не придумаешь. Уже на сорок седьмой минуте «Атлетик» забил, причем по делу, а вскоре Ней получил предупреждение. Как же легко его спровоцировать! Он укрывал мяч корпусом, а защитник пару раз помассировал ему ахиллы. А этот гордый бразильский парень — нет чтобы избавиться от мяча! — продолжал пытаться

обыграть. А потом все-таки не выдержал, развернулся и вставил чуваку по голени. Хорошо, что судья пожалел — не показал сразу красную карточку. Но обе команды, конечно, сбежались, устроили бучу.

— Как бы махач не начался, — озабоченно сказал Бирюлёв, хотя чувствовалось, что он-то совсем не против. Там, глядишь, и дисквалифицируют из «Барсы» человечка-другого на несколько игр — всё его «Реалу» жить попроще.

Слава богу, как-то успокоилось, минут через пять Суарес с подачи Месси даже сравнял счет. Но Ней закусился, матч для него был уже по боку, а тренер Энрике этого будто не видел — не стал заменять. И напрасно.

Оставалось девять минут, с добавленным временем — двенадцать-тринадцать. Тут-то и разразилась катастрофа. «Барса» атаковала левым флангом, мяч попал к Неймару, точнее, он пропустил его мимо себя, обманув правого защитника, и оказался на корпус впереди. А тот прихватил его рукой за майку. Не слишком нагло, не слишком заметно, но все же. А Ней не просто остановился, но еще и отмахнулся от него, и попал куда-то по горлу. Защитник, понятно, схватился за лицо и рухнул на газон, как смертельно раненный. А Ней еще склонился над ним и стал что-то орать, казалось, вот-вот начнет добивать ногами.

«Это конец, — понял Кулёмин. — Сейчас удалят».

Судья подскочил прямо даже с удовольствием. Еще бы! Этого латиноса зазвездившегося прищучить — да еще в таком бесспорном моменте! Ни один сумасшедший фанат не придерется! Достал красную карточку и вскинул ее победно. И произнес что-то с красивой неотвратимостью. Знал, что миллионов сто зрителей на него сейчас смотрят.

Ней криво ухмыльнулся и вразвалочку побрел с поля. Шел, наверное, секунд тридцать. А когда судья свистнул нетерпеливо, его поторапливая, обернулся и саркастически поаплодировал. Это значит, добавят еще пару игр к дисквалу. Итого три-четыре.

— Нет, ну как ты можешь его любить?! — взорвался Бирюлёв, и видно было, что искренне переживая. — Команда в жопе, ничего не получается, а он так себя ведет! Он же всех, по сути, подставил!

— Ну, молодой еще, что подделаешь... — безнадежно признал Кулёмин.

«Барса» умудрилась пропустить еще раз, и все стало совсем плохо. Так и закончили — 1 : 2.

Бирюлёв налил почти по полной, и оба выпили залпом. Просто чтобы закруглиться, поставить точку. Не восклицательный знак.

Потом Кулёмин тихо пошел одеваться, а Бирюлёв — в туалет. Вышел он мрачный, виновато улыбнулся Кулёмину:

— Это Анжелка, наверное, фарт тебе сбила. Зря мы разрешили ей смотреть с нами, традицию нарушили. Все равно ничего не понимает.

— Да «Барса» сама виновата! — честно сказал Кулёмин. — Играли ведь отвратительно, вполноги. Такая недооценка! И Ней тоже хорош:



пока не научится справляться с нервами — так и будет вестись на это дерьмо. Но вообще-то вся команда виновата, и тренер, конечно.

— Да не говори: козлы! — горестно констатировал Бирюлёв. — А я еще на них поставил!

Кулёмин сперва опешил, а потом усмехнулся:

— Ну ты и жук! И много проиграл, выигрок?

— Да неважно. Пять косарей. Главное — в душу плюнули...

Кулёмин вышел из подъезда и сразу закурил. Проверено: у магазина возле дома как раз и выбросит фильтр.

Хорошо, что на улице было так темно и промозгло. Это не то чтобы успокаивало, но переключало чувства, возвращало к реальности.

«Ну и что, в самом деле, стряслось такого страшного?» — говорил себе Кулёмин. — Да ничего такого, это спорт. Суровый и даже беспощадный. А иногда коварный. А иногда просто дуболомный. И сильнейший побеждает далеко не всегда».

Но не только в этом дело. Вообще все вокруг как-то неправильно.

Кулёмин шел по пустому городу и думал, каково сейчас Неймару там, в Бильбао. Изгнанному с его же собственного праздника и растоптанного несправедливостью мира.

Вот он идет один по коридору внутри трибуны, вот заходит в пустую раздевалку. Нет, возможно, вокруг суетится какой-то народ — администратор, телохранитель, массажист, даже какой-нибудь личный психолог (вот кого бы надо гнать в шею!). Но все равно сейчас он один — злой и опустошенный. Он в полном одиночестве, и не в гордом, а в униженном. Господь вдохнул в него волшебный дар, чтобы он украшал этот мир, творил красоту и историю, и он с юных лет это делает — а миру, похоже, ничего такого не надо. Ему нужны не творцы, а солдафоны-дуболомы.

Ну, такие, которых хвалят прежде всего за самоотдачу. Молодцы, что отдали все силы. И еще, конечно, боевитость — вот что особо ценится. Прыгнуть в ноги, упасть, умереть, но перед этим успеть укунить за лодыжку. «Не щадит ни себя, ни соперника!» — вот что почему-то считается героизмом.

А Ней, если хотите знать, в тысячу раз смелей. Каждый раз выходит на поле, зная, что сейчас тебя будут убивать, но все равно продолжать гнуть свое, дразнить убийцев своими трюками, причем самых угрюмых — даже с большей охотой: разве это не мужество?

Правда, он при этом не излучает испепеляющей ненависти, решимости уничтожить, он озорничает, прикалывается, карнавалит, и разве его вина в том, что противник, оставленный в дураках, переживает все с такой тяжелой обидой? Хотя и противника тоже можно понять: его, такого боевитого и brutального, выставил клоуном щуплый мальчишка с пижонской прической!

Brutальность сейчас — даже не мода, а идеал. Только чтоб без чрезмерного хамства и запаха пота. Такая, знаете, притягательная гла-

мурная брутальность. Как у хоккейных звезд-миллионеров с выбитыми и не вставленными зубами. Которые «повнушительней смотрятся». Ну да, трус ведь не играет в хоккей. Иногда только, на закрытых придворных игрищах, позволяют себе слегка расслабиться — никак не могут справиться с одним начинающим, но перспективным форвардом. Казалось бы, только-только на коньки встал, а прославленные олимпийники с лицами в шрамах расступаются, пораженные его прогрессом. Чтобы он смог забить как можно больше голов. А сами при этом не забивают себе голов всякой чепухой вроде спортивной чести. Ведь все это, ясно, исключительно в интересах хоккея. Чтобы продвигать его в массы личным примером.

Вот такие современные пиры Валтасара, как раз в духе времени, потому что не опасные и не вредные, а даже наоборот — с уклоном в здоровый образ жизни.

Мир помешался на стремлении к успеху и подражании избранным. А хуже всего то, что эти счастливицы очень редко по-настоящему могут служить образцом. Крайне редко. Только единицы, да и те с оговорками.

И Ней тоже не ангел. Может, например, не пожать кому-то руку после матча, даже оттолкнуть протянутую ладонь. Совершенно дурацкая выходка! Его и так болельщики слабых команд не любят: дескать, слишком много о себе понимает. Ну да, есть у него такая заносчивость. Но это же не отменяет самого важного — того, как он играет и ради чего. Ради того, чтобы происходило чудо.

Чудо — вот для чего мы живем, вот чего больше всего желаем в жизни. Абсолютно все. О верующих и говорить не стоит — здесь всё на поверхности. И у спортивных болельщиков, конечно, тоже. Но и у всех остальных. Карьерист мечтает о совпадении шанса и удачи, трудоголик — что результат окажется достоин потраченных сил, лентяй — что все как-то само собой сложится. Даже последний алкаш и тот алкает чуда: вот он сделает один глоток — и мир мгновенно преобразится, станет прекрасным и примет его в свои объятия...

И тут Кулёмину внезапно стало смешно: он так горячо защищает молодого здорового парня, у которого есть всё — редкостный талант и возможность его реализовать, огромное количество денег и поклонников. И который никогда даже не узнает о его существовании.

Ну и ладно, не в этом ведь дело: узнает — не узнает. Главное — перед собой быть честным, свою правду отстаивать, себе соответствовать.

То есть надеяться на чудо.

Он подошел к двери своей квартиры, достал ключ. А сейчас главное — не шуметь, не разбудить жену раньше времени. У нее и сегодня тяжелый день, уроки даже в субботу с самого первого и до вечера.

Кстати, как-то она с ним тоже один раз смотрела футбол ночью. Кто тогда играл — убей бог, но наверняка важный был матч, интересный. А Неймар тогда еще и не родился. Значит, он болел за какого-то другого гениального бразильца. И ей, кажется, игра понравилась. Он уже не помнил точно, но вроде бы понравилась.

Святослав МИХНЯ

«ГРОЗОВОЙ СГУСТИЛСЯ СВЕТ...»

* * *

Родины пасмурный свет,
легкость древесного шума:
кто-то прекрасно придумал
грустного счастья секрет.
Стелется дым заводской,
стяг ли державный по ветру...
Вот так простор! Но два метра
ждут за чертой городской...
И хорошо, если так:
просто, надежно и прочно.
Небо — нетвердая почва
и неразгаданный мрак.
Вот потому и легка
ноша нависшего свода
с тягой извечной к уходу
дымом да под облака.

* * *

Какая синь на белом свете!
Пусть думают, что Бога нет,
Он сохранил меня до этих
уже почти прозрачных лет,
многозаботливостью мира
отягощая не вполне...
И даже — странно молвить — лира
еще при мне, еще при мне.

* * *

Город. Или деревня.
Листопадные дни.
Тихо и равномерно
проплывают они.
Может, к небу причалить?..
Как всевышний привет,
меж деревьев печальный
и торжественный свет.
И срывается ветер
пусть с ветвей наугад.
Я зажился на свете
среди сует и утрат.
В стольном граде Отчизны
иль в медвежьем углу
Вседержителю жизни
воздаю я хвалу.

Этюд

Сверкнет стремительная речка,
потонет среди глубоких трав...
Как лето раннее беспечно!
Светлеет мира дикий нрав.
И небо обнимает плечи,
и долго, на манер игры,
смотрю, смотрю, как бьется вечер
в дрожащем шаре мошкары.

* * *

Жива страна, что, в общем, невозможно.
И век мой в ней проходит налегке.
Я сбережен, хоть и зажат надежно
в неласковом державном кулаке.
А как иначе? Дай нам только волю,
забросим все — семью, работу, быт,
уйдем в бега, сорвемся в чисто поле...
И Магадан, как водится, открыт.
Что о демографическом провале?..
Смотрю в окно. Народу пруд пруди.
Ликует, как его ни убивали.
И Ленин спрятан в сквере, позади.



* * *

Грозовой сгустился свет,
теплый дождь пошел...
Никакого смысла нет,
просто хорошо.
Дождь пошел, и ты иди:
вот оно, родство.
Ничего, что впереди
нету ничего.

* * *

Красуясь, проходит земное,
становится воздухом снег.
Гребец оставляет каноэ
во власти изменчивых рек.
Он медленно сходит на берег
с веслом бесполезным в руке.
И ветер — бесшумный холерик —
бушует в волнах вдалеке.
Бескровное небо белеет,
темнеет пустая вода...
И только бывшее теплеет
под гнетом грядущего льда.

* * *

Замер дождь в близлежащем лесу.
Этот август медлительно-долго.
В окнах «белый налив» на весу
и пруда полукруглый осколок.
Лето все-таки тихо уйдет.
Стукнут капли в пустое корыто...
Что хозяин? Ни капли не пьет —
грядки пленкой вспотевшей укрыты.
...Льдинкой звякнет ведро в холода,
в лужах первого снега шипенье.
Есть отрада простого труда.
И терпенье, терпенье, терпенье...

Владислав ОГАРКОВ

ЛИСТЬЯ

Короткие рассказы о природе

Ночной кадр

Почему горожан тянет к лесу, к земле, к простым бревенчатым стенам? Будто там осталось главное, без чего пусто и суетно в жизни. Мы возносимся всё выше в свои каменные убежища, забывая, что наши корни остаются внизу, под толстым слоем асфальта и бетона. Они беспокоят глубоко упрятанные души, зудят и не дают покоя в апрельские или сентябрьские дни, когда там, на земле, особенно хорошо.

Есть у меня один из любимых кадров среди цветных диапозитивов. По краям его густо-фиолетовая темень зимней ночи, а в центре, среди синих сугробов, такой неожиданный оранжевый микромир: парящий котелок над костром, топор рядом с расколотой чуркой, воткнутые в снег пила и деревянная снеговая лопата, похожая на весло. На заднем плане оранжево светятся бревна избушки, утонувшей в снегу, огонек горящей свечи мерцает загадочной звездой в оконце. Так он мал в царстве холода и снега, этот лесной приют, а сколько в нем тепла жизни!

Этот кадр лечит, когда худо на душе. Помните, как согревал старого Карло очаг, нарисованный на холсте? Говорят, что зимовье, лес — это уход от действительности. Может быть, и так. Иногда он, наверное, нужен, этот уход, чтобы понять действительность и вернуться к ней другим человеком. Можно лучше понять людей и себя, когда наедине с совестью. Наполнить чистой водой колодец, который внутри. Это разговор с Творцом, невозможный в многолюдье.

Брусника в мае

Здесь радость не в объеме собранного. Прошлогодние ягоды редки и ранимы, легко давятся в пальцах. Замучаешься собирать. Терпения в лучшем случае хватит на одну кружку, чтобы порадовать своих вкусным компотом. И заодно горсть-другую отправить в рот. Именно горсть, чтобы разом наполнилось за щеками крепким душистым соком, таким



терпким и вязущим, что в первый миг сводит скулы. Вкус... Словами его не передашь, музыкой тоже, лучшие дегустаторы руками разведут. Но в обход их мнения мы поставим высший балл.

А все-таки радость в другом. Она в остальном, что сопутствует сбору прошлогодней брусники. В сосновом запахе первого костра. В пятнах талой земли, сплошь усеянной хвоей и почерневшими шишками. В неожиданном шорохе, с которым выпрямилась ветка, бывшая в снежном плену. В целебном воздухе, наконец, настоянном на запахе весны, полном лучистого тепла. В трепете белой берестинки, отставшей от ствола березы, еще в чем-то таком, что выразить можно только взглядом...

Просто в такой день, словно после долгой болезни, расправляет крылья все самое лучшее, самое чистое, что есть в тебе. Ощущаешь прилив свежих сил и будто заново начинаешь жить, чувствовать, как прекрасен и светел мир природы. Полной грудью дышать хочется. Жить!

Маслята

Хорошее имя у этих грибов — звучное, сочное и вкусное. Недаром так любят их белки и бурундуки, большие знатоки по этой части. Смотришь, разного корма народилось в лесу — и шишки, и ягода всякая есть, а все же масленок зацепить захотелось мимоходом. То здесь, то там желтеют свежие погрызы на шоколадных шляпках.

Веселый, артельный народец маслята. Чем-то на нас похожи. Любят пожить широко, без утайки, разгуляться всей деревней враз по косогору. И такие же беспечные. Бывает, что проскочат первые июньские дождики, короткие и ненадежные, другие грибы не спешат, пересидят их в земле, а маслята — глядь, уже повывлезли, нет терпежу. А тут и жара грянет. Иссушит беднягу, края вывернет, как зонтик наизнанку, — не будь шляпой. А что толку? Был шляпой, есть и будет.

Они и уходят последними, когда все уже попрятались, в конце сентября. Холодные дожди насквозь прошивают опустевший лес, большинство птиц на юг подалось, грибники по домам сидят. А на рассвете, когда все дремлет в зябком полусне, на землю падает пронзительный взгляд зимы. Сквозь голые ветки ей хорошо видны все зазевавшиеся грешники. Дотронулась жезлом — динь! — и застыли маслята, стали хрупкими, как сосульки. Что ж, такая выпала судьба: быть крайними.

Был случай даже много позже, когда ни один уважающий себя гриб не посмеет вылезти наружу — холодно!

В предгорьях Саян уже выпал снег, а по утрам кусался заметный морозец. Иду с ружьем по распадку, поднимаюсь в гору, снег под подошвами «хруп-хруп», градусов пять с минусом. Вышел на вершину. Место открытое, солнечное, с хорошим обзором во все стороны — как не остановиться?

Заметив вытаявшую полянку, подхожу ближе, сажусь на согретый солнцем коврик лиственничной хвои. Отдыхаю, улыбаюсь паре синичек, порхающих вокруг, дышу чистейшим горным воздухом и люблюсь ос-

лепительно-белыми вершинами вдаль, до которых не меньше сотни километров по прямой. Опускаю взгляд и вижу... Как вы думаете, что? Отличный свежий масленок! В меру крупный, мясистый и крепкий — сам просится под нож. Надо, конечно, срезать, если настаивает.

Вернувшись к палатке, сварил его в общей с консервами похлебке, но выловил и съел в первую очередь. Ах, как вкусно! И было это в середине октября в Восточной Сибири, когда в десятке метров от костра лежал снег. Не верите? Сам бы не поверил, но — было.

Коврик-самолетик

Сначала замечаю прыжок. Но засомневался: какой же это прыжок? С одного дерева на другое, метров пятнадцать, не меньше — так никто не прыгает. Даже белка, первая мастерица по воздушным прыжкам, не осилит столько. Это несомненный полет.

Осторожно подхожу к дереву, где затаился зверек, высмотреть хочу, а он не высматривается. Показываться не хочет. Но червячок любопытства грызет и не дает покоя, как пустой желудок. Осматриваю все ветки по порядку, снизу — вверх, обхожу со всех сторон и наконец замечаю пепельно-серую головку, выглянувшую из развилки. Она похожа на беличью, но почему-то без кисточек на ушках. Нет, не белка.

Зверушка оказалась на редкость скрытной. Как ни стараюсь подобраться поближе, она неизменно уворачивается, и лишь одна головенка виднеется из-за ствола. Потом и вовсе пропала. Только одно успеваю подметить — зверек явно меньше белки.

Год спустя меня снова забросило сюда. Иду в знакомое зимовье, хочу поохотиться. Настроение, правда, не совсем охотничье. Располагает к тому, наверное, чудесный августовский вечер. Вижу, как солнце тихо садится в сосновые сети. Над головой мельтешат и светятся в лучах невесомые толкунцы. Пахнет нагретой хвоей и смолой. Угомонились птицы, по лесу разлилась теплая, по-домашнему уютная тишина.

Ход замедляется, ноги сами собой останавливаются. Хочется просто постоять без движений. Вот и стою, молчу, довольный подаренным вечером. Готов обнять все кусты и деревья сразу — они такие красивые! И все вокруг улыбается в ответ, потому что лучшее впереди. Оно за поворотом.

Спускаюсь в низину, из светлой березовой рощи попадаю в сумрачное место, где тихо застыли высокие пихты. Здесь тоже надо постоять.

Поднимаю голову — и снова вижу волшебные полеты. Порхают с пихты на пихту, словно бабочки, те самые зверушки, уже целой эскадрилей. Их было, кажется, пять штук, и летали они синхронно. По какому-то знаку, мне не видному и не слышному, они прыгали все сразу и летели в одну сторону, почти на одной высоте, но садились на разные ветки. Потом дружно летели на следующее дерево. Довольно скоро тем же порядком вернулись назад.



В этом полете смущало одно — не двигались ни лапки, ни хвосты зверьков. Почему же они в таком случае не падали?

На сей раз показалось, что летуны за один прием покрывали по двадцать и больше метров. Наверное, кто-то из родителей, папа или мама зверушек, учил молодых летать, как это делают птицы. Судя по всему, мне удалось наблюдать тренировочные полеты начинающих летчиков.

Это выглядело плавно и совершенно бесшумно, так не летает никто. Глядя снизу, отмечаю, что по воздуху летят не ковры-самолеты, но намного уменьшенные их двойники. Или обычные носовые платки с завязанными уголками, поскольку все четыре лапки торчат в стороны. Правильней будет сказать, что зверьки планировали, как бумажные самолетик, меняя при этом траекторию, если надо. Иногда казалось, что на миг они зависают, парят на месте, как орлы и чайки, владыки синих просторов.

Найдется ли человек, которого не заморозит этот удивительный полет?

Только с балетом можно сравнить тот парящий прыжок — столько в нем изящества, грации и пластики. Глядя на него, ты будто сам отделяешься от земли, поднимаешься вверх и паришь над притихшим лесом. Вечная мечта всего человечества.

Оказалось, что зверек зовется будничным именем «летяга». Знают о нем мало, видят совсем редко. Иногда даже называют двойным именем «белка-летяга», но все-таки это отдельный род.

Мать-природа снабдила летягу эластичной кожистой перепонкой между всеми четырьмя лапками. Пользуясь ею, искусно маневрируя хвостом, она летает и парит в восходящих потоках теплого воздуха, ловит насекомых.

Десятки лет пролетели с того памятного вечера, многие сотни километров пройдены в разных уголках сибирской тайги, но летягу больше не встречал нигде. Остается благодарить судьбу за то, что подарила встречу с летающим зверьком, похожим на сказочный коврик-самолетик.

Жилое место

Рябчишка обвел вокруг пальца охотника. Закружил, запутал, бросил меня в незнакомом месте, а сам удрал. Вижу подходящую сушину, чтобы присесть и отдышаться, но остановился, смотрю в недоумении. Озадачило, что конец бревна зарублен «в лапу». Этим способом плотники скрепляют углы, когда строят бревенчатый дом.

Но вокруг стоит лес, никаких домов нет и быть не может. Ближайшая деревня в десятке километров. Кто здесь плотничал? Зачем?

Отдышался, получше осмотрелся, соображаю — отличное место для постройки охотничьей избушки. По всему склону тянется раздольный сосновый бор, есть из чего строить, а дров до конца жизни хватит. И вода, конечно, есть. Вот она, рядом, журчит по распадку.

Замеченное мной бревешко торчит из завала, скрытого под зарослями кустов и рыжего мха. Это, пожалуй, и есть то, что осталось от стояв-

шего здесь зимовья. Смотрю уже другими глазами на пригорок, где стою. Это не просто часть леса, это одухотворенное человеком место.

В промысловый сезон охотник обитал здесь подолгу, неделями и месяцами. Практически один. Поговорить он мог только с собаками или с самим собой. О многом можно вспомнить, поразмыслить и помечтать в тягучие зимние вечера, когда за окошком в лунном свете искрится холодный лес. Или волком воет вьюга в печной трубе... Возможно, что душа его до сих пор здесь и сейчас ревниво поглядывает на меня сверху. Например, из кроны этой старой сосны с двойной верхушкой.

Должно быть, в ложбинке, сбегаящей вниз, есть тропа к ручью. Не видно, совсем заросла. А кострище, скорее всего, было здесь, против входа в избушку. Ну-ка, проверим. Носком сапога сгреб мох в сторону, и там действительно оказались остатки черных угольков. Это интересно!

Подгоняемый азартом первооткрывателя, нашел еще кормушку для собак — неплохо сохранившееся корытце, вытесанное из осины. В другом месте что-то хрустнуло под подошвой. Керосиновая лампа! Без стеклянной колбы, конечно, и без фитиля.

Убрав пару бревен из завала, увидел печку. Оказалось, что сделали ее без единого сварочного шва — удивительно! Сегодня такой уже не встретишь. Дверца, боковины, патрубок — все сработано горячим кузнечным зажимом, почти забытым сейчас. Кого уговоришь на такое канительное дело?

Стараюсь посчитать, и выходит, что охотник промышлял здесь более шестидесяти лет назад. Потом остарел... И вот стоит другой охотник, не без труда узнавший жилое место. Но и этот не вечен. Время идет, ни на кого не оглядываясь. Когда-то придут сюда и третий, и четвертый, но вряд ли у них шевельнется догадка. Под слоем мха, хвои и опавших листьев скрываются навсегда осинное корытце, коптилка и печка кузнечной работы. Все растворится в земле, все уйдет в небытие. Тайга умеет хранить свои тайны.

Смородиновый чай

Сидеть за электросамоваром да чай гонять — дело хорошее. Но все же лучше чай таежный, из побегов или листьев черной смородины. Только черной! Красная кислица в такой чай не годится, не дает ни навару, ни духу, хотя кусты внешне похожи.

Черная — это да! Ее по запаху и отличить легче легкого, если не разберешь. Бывает так, что только в потемках от рыбалки оторвешься, когда уж совсем поплавок не видать, и бегом к костру, уху соображать. Но какая уха без доброго чая? Неправильная, костями поперхнешься.

Остается идти по ручью и на ощупь кустики искать. Идешь, в темноте запинаешься, пробуешь пальцами листья, разминаешь, пока не наткнешься — вот она, душистая! Кипяток заваришь целой горстью, и от аромата расплывешься в улыбке. Чай бывает цветов осени: зеленый, желтый, даже оранжевый. В такой и сахар не хочется класть, портить напиток.



А все-таки самый-то чай будет зимой, ближе к концу, когда мороз еще крепок, а снег уплотнился, осел. По знакомым приметам найдешь белый бугорок, где зимует куст, ладонями подрежешь макушку сугроба. Теперь осторожно подними искрящуюся шапку и вдыхай духовитый настой полной грудью. Его там немного, всего-то на один вдох-глоток, зато какой! Настоящий лесной бальзам зимней выдержки.

Между ветками пустота — здесь настаивался бальзам. Серые стебли с розовыми почками — они, как в сказочном ледяном царстве, густо усыпаны крупными кристаллами. Кажется, тронь веточку — и тихо зазвенят... К зимовью бережно несущий пучок молодых побегов с набухающими почками — именно в них собралось лучшее из того, чем богата земля.

Котелок, словно камчатский вулкан, окутан клубами пара. Даже не видать — кипит вода или нет? Мороз прижимает. Но вот налита кружка, чай разносит тепло по всему телу, и близким видится солнечное лето. Снова рыбалка, снова ягоды, грибы, снова охота — все у нас впереди!

Останцы

Так вообще-то принято называть отдельно стоящие высокие скалы, излюбленные кабаргой для отстоя. Но есть и другое толкование. Как-то раз услышал от одного таежника и теперь сам пользуюсь этим словом — оно неплохо подходит для старых горелых пней, часто торчащих в тайге.

Пни оставлены не пилой и не топором.

Это немые свидетели давних пожаров, страшных и редко кем виданных. Так называемый верховой пал — лавина огня высотой с многоэтажный дом, она валом катится по тайге, подминая под себя все и вся. Огненный вал легко перескакивает дороги, ручьи и даже реки.

Редко кому удастся спастись от страшной лавины. Тысячами гибнут обезумевшие от ужаса звери, птицы, малые зверушки, подземные обитатели, кусты и деревья любых пород — все обращается в пепел.

Ничто, кажется, не способно здесь уцелеть. Но это не так.

Там, где бушевал пожар, остаются торчать высокие головешки, твердо держащиеся за землю. Это все, что осталось от могучей сибирской лиственницы, чья твердокаменная древесина даже в печи горит дольше.

Головешки причудливы. На что они похожи? О-о, это тема для отдельного любопытного рассказа.

Останцы могут принимать любые формы, какие доступны воображению. Пробираясь по лесу в сумерках или ночью, человек даже не робкого десятка легко может вздрогнуть, когда увидит за кустами черное чудовище с поднятой для удара лапой.

Странные фигуры, словно судорогой скрюченные существа, могут и насмешить, и напугать. Вот из-за дерева выглядывает персонаж, похожий на закопченного тунгусского идола. А там торчит парочка чумазных трубочистов в легком подпитии. Саксофон, одиноко стоящий в ожидании исполнителя. Исполинский сапог, а за ним черный кот, затаившийся в кустах. Даже зубастая пасть крокодила зачем-то высунулась из земли.

Черный пиратский флаг, разодранный штормами и лихими стычками, воткнут древком в землю, стоит сиротливо — загулявшие пираты забыли его на берегу.

Однажды встретил огромный пенёк, весь выгоревший внутри, но с «крышей», похожий на ресторанчик для леших.

«Омулевая бочка» — тут же нашлось название для него. Увидел узкую щель в боку, порадовался своей догадливости — вход! Протискиваюсь боком, осматриваюсь. Вполне ничего, сухо, сверху не капает. Только темновато. И пахнет чем-то несъедобным. Между прочим, ресторанчик уже занят — сверху недружелюбно смотрит его единственный посетитель, большущий паук.

А еще лучше нет топлива, чем останцы. Под их обугленной броней, куда не проникает никакая влага, прячется смолистая красноватая древесина. За века набрала сухость и крепость, стала как кость. Случается такая мокрота по осени, после затяжных дождей, что даже под кедром сухого сучка не същешь. Тут уж только останцы спасут, согреют.

Верховой пал прокатился сотни лет назад, уничтожил все. Но жизнь берет свое. Сначала на пепелище появится первая робкая зелень — мхи. Потом травы, кусты. Пройдут многие годы, пока зашумит здесь лес. Сначала невысокий, смешанный — березняк, осинник. Но под кустами, в траве уже растут, набирают силу таежные великаны. Нужна еще сотня лет, тогда поднимутся в рост сосны и лиственницы, вытеснят мелочь — и вот уже мощной стеной стоят, как стояли их далекие предки.

Но останцы по-прежнему здесь, как будто время их не замечает и не трогает. Менялись леса, менялись цари и президенты, вспыхивали бунты, войны, революции, и снова воцарялся мир. Только останцы стоят, как почерневшие от времени памятники.

Уважать старших — этому нас когда-то учили. Потом мы переносим уважение на старинные вещи, предметы, пережившие наших родителей, с почтением смотрим на древние деревья, видевшие Александра Пушкина и Льва Толстого... В старых сосновых борах можно встретить останцы, которым лет по триста. Или больше? Как давно, как далеко от нас, сегодня живущих... Подумаешь и... зауважаешь.

Сухой дождь

Таежная красавица лиственница ничем, пожалуй, не похожа на другие хвойные деревья. Она, единственная из всех, полностью сбрасывает хвою, готовясь к зиме. За считанные дни ее зеленый наряд полностью преобразуется. Хвоинки бледнеют, уходят в лимонные тона, затем в золотистые и, наконец, вспыхивают ярчайшим желтым светом — ярче, чем первые одуванчики.

Выглянешь в окно однажды утром и увидишь на склонах сопки сразу тысячи пылающих свечей — лиственница готова сбросить хвою.

Еще немного спустя хвоинки догорают, тускнеют, и наступает праздник сухого дождя! Несомненно, это самый приятный из дождей — мел-



ких, крупных, проливных, морозящих, грибных... Он сухой и совсем не обидный. Хочется подставить лицо этим ласковым дождевикам, чтобы скользили еще и еще по щекам при каждом дуновении ветра.

Другой раз кажется — облетела вся, откуда ей снова взяться?

А вот и нет! Праздник задуман надолго, на целую неделю, а то и больше. Будет и завтра, и послезавтра... Зашелестит ветерок в высоких кронах — и вновь посыплется сверху сухой и ласковый дождик. Опять всюду мелькают, что-то пишут, чертят в воздухе желтые штрихи. Лиственница прощается с летним нарядом. И прекрасно, и грустно. Уходит в небытие еще один год и все, что в нем было. Надо с этим смириться.

Лиственничный дождь струится по веткам и даже шуршит, как настоящий мокрый дождик, только тише. Невесомая хвоя кружится в воздухе и кружится в воде лесного ручейка, желтой ковровой дорожкой ложится на тропу.

В последние дни сентября, когда собраны ягоды-грибы и делать в лесу вроде бы нечего, все равно стоит зайти туда. Просто постоять. Посмотреть. Послушать.

Осенние заготовки

Хребет не зря зовется Камень. Крут и высок, подниматься тяжело. Но за ним течет речка со сказочным именем Зелинда. За одно такое имя шагать можно целый день, карабкаться в гору, чтобы глянуть на упрямую в ельнике красавицу.

В самом деле, перевал — сплошная россыпь крупных замшелых камней. Серые, зеленые, рыжие валуны щедро навалены друг на друга. Устроитель хребтов и распадков, закончив работу, именно здесь вытряхнул из мешка оставшиеся камни.

Деревья благоразумно остановились внизу, не пошли на голый склон — попробуй выживи в этих камнях. Одна корявая береза осмелилась забраться сюда, в страну базальта и ветров.

Присяду отдохнуть в ее тени. Ружье кладу на колени и замираю, словно обратившись в камень. Это испытанная хитрость. Посидишь несколько минут без движения, и вся затаившаяся, но живущая здесь живность снова появляется на свет, чтобы продолжить свои бесконечные дела.

Так и есть. Вот рядышком возник бурундучок-полосатик, присел на задние лапки, свистнул раз-другой, заявил о себе и поскакал дальше, уже не оглядываясь. Среди камней мелькнуло бархатно-бурое тельце пищухи — зверушка печется о сытой зимовке, запасает сено в стожки, собирает грибы, орешки и прочую снедь.

И вдруг ловлю движение сбоку. Осторожно веду взглядом. На меня не мигая смотрят черные, будто лаком покрытые, бусины глаз. На чутких ушках белки красивые кисточки — они тоже замерли. Выждав паузу, белка цокает что-то кавказское: «Эй, генацвале!» Сердито дергает хвостом и снова прячется за камнем. Жду. И вот награда за терпение: огненно-

рыжая хозяйюшка выходит из убежища, в зубах держит гриб. Не дай бог шевельнуться сейчас, даже моргнуть. Да нет же, не думай — не покушаюсь на твою шкурку! И твои грибные припасы не разорю. Веришь?

Кажется, поверила. Молнией метнулась на березу, мастерски наколола гриб на сухой сучок и — назад, в кладовую. Еще один масленок зажала в рогульке между веток, третий заткнула в скрученную бересту, и вот уже береза слегка походит на новогоднюю елку. Украшенную, надо заметить, весьма скромно — одними грибами.

Белочка прискачет сюда по снегу каленым зимним днем и устроит грибной пир. Вот вкусно-то будет! Не выдержав искушения, достаю из рюкзака свои припасы, чтобы перекусить в таком славном месте. Провожаю взглядом маленькую хлопотунью. Она уже скачет вниз по склону, за маслятами торопится. Осень нынче выдалась грибная.

Повезло

Хорошо известно, что зимой рябчики зарываются в снег. А если кто-то забыл или не знает, то рябчиком называют обычную лесную курочку, птицу достаточно грузную и потому живущую на земле. Здесь у нее много врагов. Летом можно в кустах укрыться, а зимой куда денешься? Только в снег.

Мне, старому лесовику, это знакомо. Много раз поднимал их, зарывшихся в снег рядом с лыжной или зимней тропой. И каждый раз это неожиданно, как внезапное отключение света.

Идешь, погруженный в думы, тишину слушаешь. Вокруг лес — застывшие в холоде лиственницы, кедры, березы... Все притихло, спряталось. Лишь кое-где трудяги дятлы постукивают да снежок под валенками поскрипывает. Разве можешь ты ждать подвоха в такой благостной тишине? Никак нет.

И вдруг — снежный взрыв перед носом, громкий хлопот крыльев. Ты стоишь, ошарашенный, и тоже хлопаешь. Глазами. Провожаешь улетающую птицу, перепуганную больше твоего.

А что получаем в осадке? Да так себе, нечто кислое на вкус. Ведь почти ничего не видел. Шляпа. Самое интересное прозевал.

Но вот сегодня, кажется, повезло. Первый раз! Дело в том, что одного уже вспугнул, но вовремя остановился, подумал. На дворе январь, первый день после Крещения. К этой поре рябчики должны держаться парами, до весны недалеко.

Поискал глазами и — нашел! Совсем недалеко, метрах в пяти-шести, вижу лунку — там, под снегом, должна быть вторая птица. Теперь-то все увижу, ничего не пропущу. Станет понятно, как он обнаруживает опасность. Ведь он под покрывалом, дремлет после кормежки и ничего не может видеть. Зато слышит гораздо лучше нас.

Ну, это ничего. Постараюсь не шуметь. На ногах валенки, буду подкрадываться, как кот. И смотреть буду неотрывно, в одну точку, не мигая, как часовой у мавзолея.



Иду тихо, еле-еле переставляя ноги. По метру в минуту.

Снежный домик у рябчика устроен хитро. Да нет, не хитро — проду-манно. По каким-то признакам он определяет, что здесь достаточно глу-боко, нет под снегом бревна, сучок не торчит. Тогда складывает крылья и наискось камнем падает, зарывается в пушистое покрывало. Нет никаких следов, только лунка. Как будто снежный ком с дерева упал. Даже зверь не сразу определит, что там вкусная курочка дремлет.

Однако человек — «зверь» особый. Таких еще поискать. Вот уже совсем близко подобрался, метра два остается. А теперь метр. Еще чуть-чуть...

Почти навис над ямкой, но рябчик должен быть на полшага даль-ше — инерция. Наверняка насторожился, у него это работает отменно. Редкий шанс! Прыгнуть, подмять и схватить. Но зачем? Это так, чисто мальчишеское.

Уже хотел нагнуться, но скрипнул снег. Остальное случилось мгно-венно — поверхность просела, пробились голова с черным клювом, в снежном облаке встрепенулись крылья. Лицо обдало блескучей пылью, она тут же стала таять. Утирая влагу, улыбаюсь забавному сходству — возникшая над снегом голова была похожа на перископ подводной лодки.

Над лункой, откуда вылетела птица, отпечатался красивый силуэт — два распростертых крыла. Как фотография на память.

В жизни нам везет нечасто. И это, наверное, не так уж плохо, что нечасто. Хотя бы иногда, но — везет! И слава богу.

Воронка

Жарковато в тайге. Давно хочется пить, но на перевале воды нет. Знаю, что до нее еще далеко. Надо пройти каменистое плато, одолеть крутую осьпь, долго спускаться по глубокому распадку, и только там бу-дет единственный на всем пути ключ.

Спешу вниз и немножко про себя досаую.

Дело в том, что тот ключик совсем мелкий, едва видный в траве и зарослях папоротника. Кружка глубоко в рюкзаке, пока до нее доберешь-ся... И без нее беда, трудно воды набрать. Ну разве что ладонями за-черпнуть. Наберешь и — попробуй удержи ее в пальцах.

Взмок уже весь, но, кажется, скоро приду. Стали часто встречаться кусты черемухи, а это верный сигнал — до воды близко.

А вот и он, тонкой веревочкой вьется в мокрой траве. И еще одно приятное неожиданное открытие — не придется держать пальцами воду. Какой-то добрый человек побывал здесь раньше и сделал все, что надо. Углубил русло, ямку для удобства выкопал и на видном месте повесил ста-канчик для питья.

Да не тот стаканчик, который пластиковый, одноразовый, снижаю-щий истинный вкус родниковой воды. Нет, посуда сделана прямо здесь, возле ключа, под шепот листвы и пение птиц. Мастеровыми руками она сделана всего за несколько минут — из куска березовой коры свернута

воронка, при этом ее острый конец загнут, вода из воронки не будет выливаться.

Береста — удивительный природный материал, не сравнимый, пожалуй, ни с чем. Экологически чистый и, можно сказать, вечный. Не скоро разрушат ее дожди, морозы, солнце. Самодельный стаканчик еще не один год будет висеть на сучке возле ключа, будет радовать проходящих здесь людей.

Глоток чистой воды стал для меня глотком блаженства и наступившего затем успокоения. Сажу в прохладе, под тенистым кустом черемухи, смотрю на воронку, улыбаюсь. Как просто делается добро!

Но тут пришла запоздалая мысль. Пришла незаметно и тихо, уселась поодаль, смотрит не осуждающе, но... Если попытаться ее представить, то она имела бы вид побитой собаки. С вопросом. А вопрос, между прочим, ко мне и ставится ребром: ты напился, ты доволен, что кто-то другой сделал стаканчик-воронку? А ведь мог и сам смастерить, ничуть не хуже. Почему-то не догадался, не сделал, хотя не раз думал об этом. Оплошал, батенька... Торопился? Или лень-матушка?

Увы, ответить нечего. А хоть бы и нашлись слова — зачем они? Здесь бы большегодились дела, чем слова. И работа над собой любимым нужна. Постоянная, незаметная. Самая легкая, на первый взгляд, из всех известных работ, но самая тяжелая на деле.

Труженик

Брожу в березняках, собираю грибы. Смотрю под ноги, но и в небо не забываю поглядывать. Приходится поглядывать, потому что денек сегодня хмурый, облака идут темные и густые. Того и гляди дождик сыпанет.

И сыпанул. Вовремя, между прочим. Во-первых, грибов уже порядочно набралось, а во-вторых, к обеду время подошло. Пора перекусить. Бегом к ельнику!

Ельник темнеет возле самой речки. Тут мне частенько приходится бывать, поэтому все предусмотрено. Есть готовое кострище, а еще удобная сидуха сделана под старой елью. Даже дождик у нас предусмотрен — запас сухого хвороста спрятан в норе под корнями. Здесь дождь не достанет.

Чуть подальше будет потрескивать безобидный костерок, способный приготовить чай и подрумянить колбасные круги, нанизанные на ольховый прут.

А пока он себе потрескивает, мы разложим на земле газету «Мои года», читаемую людьми уважаемого (иногда, конечно) возраста. Порежем помидорки домашние, разложим хлеб и весь обеденный инвентарий.

Приятно поглощать свою снедь, запивать ее таежным чаем и слушать, как шлепают дождевые капли по речной воде, как шуршат струйки по хвое. Вдвойне приятней, если свои несложные наблюдения ведешь, сидя в сухом месте.

Тем временем у уважаемой газеты появился еще один читатель — большой черный муравей.

Но к статьям и заметкам он, похоже, равнодушен. Гораздо больше его интересует обрезок колбасы размером с ноготь. Он решительно подходит к мясному Эльдorado и пытается сдвинуть находку с места. Сдвинул чуть-чуть, но это несерьезно. Требуются поистине героические усилия! А где их взять, если размерами и весом добыча гораздо больше самого добытчика?

Тянуть, однако, надо. Когда еще такое найдешь? А дома-то как обрадуются да как удивятся! Муравейник ходунгом ходить будет.

Муравей мучительно соображает, меняет тактику. Пробует перевернуть, но толку мало. Перед собой толкать — тоже не выходит, мощностей не хватает. А если задом попробовать... Не здесь ли верное решение? Здесь!

Ценный груз тронулся в путь. Маленький труженик вцепился в мякоть челюстями и, упираясь всеми лапками, потащил, потащил за собой. По миллиметру, но потащил! Через заголовки, через абзацы, через свое «не могу». Но, как часто случается, впереди его ожидал удар судьбы. Непреодолимым препятствием на пути лежал большой железный нож. Через него никак не перебросить мясную гору. Обходить вокруг? Слишком далеко и долго. Как тут быть?

Судьба, однако, смилостивилась. Сверху опустилась неведомая рука, убрала нож — и путь открылся. А вот и край газеты близок.

«Ай да мурашка, ай да молодец!» — подумал наблюдавший за ним человек и улыбнулся. Господи, до чего мы все похожи!

У чистого ключа

Тропа вильнула, сбегала вниз, и здесь ноги сами остановились. По земле струится чистый ключ, а сразу за ним лежит замшелое дерево, поверженное старостью. Оно изогнуто, и в выемке вырос сухой, угретый солнцем мох — прекрасное кресло для отдыха, для погружения в лесную благодать, в свои мысли. Нельзя пройти мимо.

Усаживаюсь поудобней, ружье на коленях, насвистываю в манок нечто, похожее на песню рябчика.

Мне, старому рябчатнику, почти наверняка известно, что рябчики здесь есть. Во-первых, потому, что есть вода и много любимого ими шиповника. Ну и во-вторых, потому, что мне так надо.

Однако... Манок фальшивит, что ли?

Фальшивит, конечно. Или шиповника маловато. Или еще что-нибудь... Зато прибежал бурундучок, желает познакомиться. Но скорее он озадачен. Подскакал поближе, встал столбиком, как статуэтка на витрине, смотрит немигающим овальным глазом. Изучает — что это такое расселось на валежине? Свистит как будто рябчиком, но похоже почему-то на человека.

Так и не выяснив важный вопрос, полосатик убежал. Но одиночество мне не грозит.

Знакомиться прибежали сразу две белки. Они тоже здесь живут, слышат свист и имеют право знать, что происходит в их родном доме.

Первая прискакала по земле и, увидев меня, громко сказала: «Ок!». Вторая, спускаясь с дерева, с этим согласилась и тоже послала в эфир свой «Ок!». Это компьютерное словечко часто произносит мой внук, когда соглашается или одобряет что-либо. Но белки вряд ли знакомы с компьютерным языком и имеют в виду что-то другое.

Впрочем, слова словами. Ими сыт не будешь.

Белки в этом направлении соображают быстрее. Одна из них уже несет в зубах кедровую шишку, другая взлетает вверх по дереву, накалывает на сучок свежий масленок. Сушит грибы на зиму. Человек тоже занят, упорно дует в свою фальшивую свистульку. Как ему не надоест?

Рябчики, которым положено быть здесь, почему-то забыли о своих обязанностях — не подлетают и не откликаются. Сколько можно ждать?

А все, что сейчас вокруг и что сопутствует охоте, — лес, небо, земля — это никогда не надоест. Как отмахнешься от того, к чему тянется сердце? Вот, к примеру, осиновый листок устало опустился на мое плечо, а ведь это не просто листок, но знак осени, знак свыше. Пора, друг, пора оглянуться назад, подумать, вспомнить. Как живешь, зачем? Все ли так, как надо? За что тебе «спасибо» и за что тебе стыдно? Лесной воздух и родниковый источник, к которому ты прильнешь, — достоин ли ты их чистоты?

Не торопись, есть время подумать. Как ни славно сидится в кресле с моховой подушкой, но пора идти дальше. К правильным рябчикам.

Решительно встаю и в тот же миг слышу суматошное хлопанье крыльев. Рябчик улетел... Услышав мои старательные призывы, он честно пришел. Пешком подошел и потому не был услышан. Смотрел из-за куста и тоже о чем-то размышлял. Потом честно улетел. Все по-честному.

Лист соскользнул с плеча и, кружась, опустился на землю. Красивый, между прочим, и никто его не видит. Зеленый по краям и с оранжевым солнышком в центре. Такие не должны на земле валяться.

Иду напиться к чистому ключу. Но сначала поднимаю упавшее «солнышко» и бережно кладу в нагрудный карман штормовки. Дома надо всем показать — жалко, если никто не увидит...



Ольга ДРОБОТОВА

НЕ ЖМИСЬ!

Р а с с к а з

*Мы источник веселья — и скорби рудник.
Мы вместилище скверны — и чистый родник.
Человек — словно в зеркале мир — многолик.
Он ничтожен — и он же при этом велик!*

Омар Хайям

В шесть часов вечера я вышла из офиса небольшой фирмы, занимающейся строительством бань и саун, где с недавнего времени работала дизайнером, и направилась в сторону остановки. Присоединившись к горстке людей, ожидающих городской транспорт, я проводила взглядом пронесшуюся мимо нас переполненную маршрутку. Наконец приполз трамвай. Он был старый и облупленный, зато распахивал свои двери на каждой остановке. Я вошла в полупустой вагон, села у окна.

Пока трамвай тащился через полгорода, у меня было время в который раз осознать, насколько крутые перемены случились в моей жизни на стыке двух тысячелетий.

Это было интересное время. В канун двухтысячного года разгорелись нешуточные споры о дате празднования миллениума. И хотя ученые предупреждали, что до начала нового тысячелетия придется подождать еще год, мы, обыватели, ждали чудес от уникальной и по-своему мистической даты с тремя нулями после двойки. Даже я, не склонная верить всяким предсказаниям, с интересом изучала восточный гороскоп. Год Дракона обещал мне необычные знакомства, новую работу, незапланированные поездки, но гороскоп советовал быть начеку, потому что под видом резвого скакуна озорник Дракон мог подsunуть мне хроую лошадь. По поводу хроой лошади не знаю, а вот остальные пророчества, действительно, начали сбываться.

Еще какие-то три месяца назад я прозябала в сельском захолустье. Моим жилищем был обветшалый домик с удобствами во дворе. В уютном кабинете загибающейся строительной организации я, по старинке сидя за кульманом, чертила планы, фасады и разрезы зернохранилищ и складов. Суровый быт и унылое однообразие дней почти похоронили мою мечту о яркой, необычной жизни.

А теперь в статусе горожанки я буднично возвращалась с работы домой, в квартирку на третьем этаже хрущевки, где мы жили вдвоем с Георгием.

Георгий, он же Жора, бывал в нашем поселке наездами по профессиональным делам. Наш случайно закрутившийся роман, подогреваемый эпизодическими встречами, казалось, не имел шансов перерасти во что-то большее. Но Жора неожиданно сменил работу, из-за чего командировки в поселок прекратились. И вместо того чтобы исчезнуть из моей жизни навсегда, Жора позвал меня жить в город.

Я поднялась на третий этаж, позвонила в дверь и приготовилась расплыться в улыбке. Жора приучал меня возвращаться домой только в радостном настроении.

Дверь открылась, на пороге появился Жора.

— Привет! — И он кинулся ко мне с такими жаркими объятиями, будто встречал после долгой разлуки. — Ты какая-то грустная. Все в порядке?

— Просто устала, — ответила я и, заметив, что лицо Жоры омрачилось, быстро добавила: — Сейчас приму душ и буду как новенькая!

Я успокаивала себя тем, что подобные нелепые и утомительные сцены — лишь детская болезнь наших отношений и она скоро пройдет. Но Жора все настойчивее требовал от меня ответной страсти. Темпераментного Жору обижала моя эмоциональная заторможенность. Он не понимал, что, отчаянно приспособляясь к новой среде, мой организм экономил силы и для этого притупил все чувства. Казалось, если бы меня резали, я бы о помощи и то кричала вполсилы. Даже моей кошке Тутси, которую я привезла с собой, перемена места жительства давалась нелегко: она ходила по квартире понурая, неопрятная, с закисшими глазами. Нам обоим требовалось время, чтобы привыкнуть.

Теплый душ, действительно, вернул мне бодрость. Ожившая, в новом халатике, я прошла в кухню. К моему приходу Жора успел приготовить ужин и красиво накрыть стол. В центре стола стояла бутылка вина.

— Я забыла о каком-то празднике? — насторожилась я и на всякий случай лучезарно улыбнулась.

— Лена, у меня для тебя сюрприз. Мы едем в Питер! Отправляемся через две недели на поезде.

— Как — через две недели?! Кто даст мне отпуск? Я работаю только второй месяц!

— Возьмешь отпуск за свой счет. Не дадут — значит, уволишься.

— Что значит «уволиться»? Я только втягиваться начала!

— Ты должна увидеть самый лучший город в России. И ехать туда нужно только в июне, когда нет дождей и наступает пора белых ночей. А работа — не самое главное в жизни. Она нужна только для того, чтобы в кармане водились какие-то деньги.

Я в недоумении таранилась на Жору и не знала, что мне делать: выражать радость или крутить пальцем у виска.

— Я все просчитал. У нас есть некоторые сбережения плюс твоя и моя зарплата. Нам хватит.

Приподнятое настроение Жоры, блеск в его глазах и вся та особенная атмосфера, которую он постарался создать, сделали свое дело. Сдавшись, я не стала напоминать, что мы копили деньги на новую стиральную машину, потому что стирать белье в круглой, как бочка, машинке советских времен очень неудобно. Кроме того, во мне вдруг шевельнулось сомнение: а вдруг мои жизненные принципы, ровно противоположные убеждению Жоры, что «работа не волк», безнадежно устарели? По крайней мере, Жора выглядел счастливее меня. Может быть, он прав: пришло лето — значит, надо брать отпуск и отправляться в путешествие, а все остальное — гори синим пламенем?

Мы выпили вина, и Жора торжественно выложил на стол билеты. Изучая их, я начала мечтать о поездке.

— Мне нужен новый наряд! — заявила я весело Жоре.

— Ты купила новый сарафан. — Жора указал на мой халатик. —

Вот в нем и поедешь.

— Это одежда для дома. В ситце по улицам уже никто не ходит.

— Значит, едем в старых шмотках. На одежде будем экономить.

Романтизм в Жоре легко уживался с прагматизмом.

— В старых так в старых, — согласилась я, но в голове промелькнула мысль, что с зарплаты нужно будет сделать заначку.

Как-то само собой постепенно вышло так, что всю зарплату я стала отдавать Жоре. Он убедил меня, что контролировать семейный бюджет должен мужчина. Жора умел рассчитать все до копейки и не тратил деньги зря. Но очень скоро он установил диктат, которому я, незаметно для себя, подчинилась. Теперь даже продукты покупал только он. Если нам вместе случалось зайти в продуктовый магазин, я оставалась ждать у входа — мои предпочтения Жора все равно игнорировал. Осознавать финансовую несвободу неприятно, и мне было легче схитрить, чем выпрашивать деньги на свои нужды.

Предвкушение поездки взбудоражило нас. Мы еще долго не ложились спать. Жора рассказывал о своем путешествии автостопом в Питер с рюкзаком за спиной. Он вспоминал, как дальнобойщики с удовольствием брали их с другом пассажирами. Водители фур везли путешественников часами, а то и сутками, пока не сворачивали с трассы. Бывало, угощали попутчиков в придорожных кафе. Жора и его друг расплачивались веселыми байками да задушевными разговорами.

— Все самое лучшее в жизни может быть только бесплатным, только в подарок! — растроганный своим же рассказом, Жора судорожно вздохнул.

Почему в тот вечер эти слова не насторожили меня? Почему я не заметила, как втягиваюсь в странную игру с непонятными для меня правилами, в финале которой должна обязательно разыграться трагикомедия?..

Половина июня пролетела незаметно. Пришло время нашего отдыха. Директор отпустил меня без всяких сложностей. Жора работал вплоть до самого отъезда. В последний день сослуживцы по проектному бюро раскрутили его на выпивку. Он честно меня предупредил, что задержится.

Я упаковала вещи в дорожные сумки и поджидала Жору. На улице уже стемнело. Его все не было. Когда электронный циферблат часов обнулится и пошел новый отсчет времени, Жора позвонил из уличной будки и заплетающимся языком сказал, что у него не осталось денег на такси и он идет пешком.

— Да брось! Здесь расплатишься. Хватай такси и дуй домой!

— Эти бомбилы сейчас уйму денег сдерут. А нам надо экономить.

Появившись на пороге квартиры уже в третьем часу ночи, не умываясь, он прошел в спальню, разделся, свалился на кровать и тут же заснул.

На рассвете город загудел потоками автомобилей, стены дома содрогнулись от грохота первого трамвая. Звучало не так весело, как горлопанящие деревенские петухи, но помогало проснуться лучше любого будильника. Я встала и отправилась на кухню готовить завтрак.

Жора явился передо мной свежим и веселым. Я ни разу не видела его страдающим с похмелья. Он раскрыл сумки, вытряхнул аккуратно уложенные мною вещи, откинул половину в сторону, остальные запихал обратно.

Быстро позавтракав, мы присели «на дорожку» и со словами «в добрый путь» отправились на железнодорожный вокзал.

Билеты Жора купил в плацкартный вагон. Но тут дело было не только в его привычке экономить на всем. Он пояснил, что в плацкарте ехать куда веселее, чем в купе.

Втиснувшись с сумками в вагон, мы отыскивали свои места. Нашими соседями оказались совсем юная девушка и женщина пенсионного возраста.

Как положено, все познакомились друг с другом. Девушка представилась Ксюшей. Юное лицо еще хранило нежный налет мечтательности, и казалось, что Ксюша не ест, не пьет и ей незачем ходить в туалет. Она переделалась в шортики и майку, сверкнув белизной голых ног, забралась на верхнюю полку и заткнула уши наушниками плеера.

Пенсионерка Элла Петровна расположилась на нижней полке. Слишком бойкая для своих лет, она каждую секунду привлекала к себе внимание, как избалованный ребенок. Мы с Жорой мгновенно попали ей в услужение, и она командовала нами так уверенно, будто мы были для нее не чужими людьми, а какими-нибудь бедными родственниками, которым она одолжила кругленькую сумму.

— Жора, посмотри, проводники включили титан? — не просила, а приказывала Элла Петровна, беспокойно высовывая голову в проход вагона. — Лена, спроси у проводницы, скоро откроются туалеты? А какая следующая станция по расписанию?

Беспардонная старушенция очень быстро вызвала во мне раздражение. Я достала книгу и уткнулась в нее, откровенно игнорируя Эллу Петровну. Однако Жора был из другого теста. Он с радостью кидался исполнять каждую прихоть пенсионерки. Кроме того, выяснилось, что оба страстные любители коротать время за бесконечными разговорами. Жора в этом смысле был удивительным человеком. Он часами внимал собеседнику, не перебивая его и сохраняя живую заинтересованность в глазах.



В разговор он вступал мягко, уважительно и, поскольку был любознателен и начитан, мог рассказать много интересного. Скоро Элла Петровна смотрела на Жору с обожанием, а я оказалась третьей лишней.

И все бы ничего, отчасти мне даже нравилось такое положение дел: меня наконец перестали поминутно дергать. Но когда перед длительной стоянкой Элла Петровна скомандовала, чтобы я оставалась присматривать за вещами, пока все остальные выйдут подышать воздухом, и все это при молчаливом согласии Жоры, я огрызнулась:

— Вам жалко своих вещей, сами и охраняйте! А у нас, кроме ситцевого халата, в сумке нечего и взять.

Жора посмотрел на меня как на врага народа. Как я посмела говорить с Эллой Петровной таким тоном после того, как она угощала его колбасой и пирожками?!

Поезд остановился, мы спустились на перрон, и я процедила сквозь зубы:

— Я не поняла, ты с кем едешь — со мной или с этой наглой пенсионеркой?

— Чего тебе надо? Ты, как улитка, залезла в свою раковину и сидишь обиженная, гордая и одинокая. Тебе что, жалко поговорить с людьми, поинтересоваться их жизнью? Не жмись, будь щедрее на эмоции, общайся! Это самое главное в путешествии. А не хочешь, тогда и мне не мешай.

Все время стоянки мы молча бродили вдоль поезда. Жора был демонстративно холоден. Думаю, Элла Петровна мысленно потирала руки.

Глядя на другие пары, которые мирно прогуливались по перрону, я уныло размышляла, что не таким представляла наше первое путешествие. Меня мучили противоречивые чувства. Отчасти я оправдывала Жору, которому жажда человеческого общения, очевидно, была вшита еще в период внутриутробного развития. Но в его рвении выслужиться перед посторонним человеком я видела не просто глупость, а проявление холопской природы. Откуда в нас берется это жажда понравиться случайному человеку, который забудет о нашем существовании на следующий день?

К вечеру жара дала нам передышку, утомленные дорогой люди начали оживать. Все чаще сновали туда-сюда торговцы холодным пивом. Разговоры становились громче и откровеннее. Жора, к моему удивлению, выбрался из-под каблука Эллы Петровны, но сразу же познакомился с молодыми людьми из соседнего купе, которые развлекались карточной игрой. Улыбчивому и общительному Жоре не составляло труда стать своим парнем в любой компании. Люди легко попадали под его обаяние, он знал множество дорожных развлечений, сыпал анекдотами. Новые знакомые с удовольствием угощали его выпивкой, а Жоре ничего другого и не требовалось.

Элла Петровна сошла с поезда ночью, уже не помню, в каком городе. Утром ее место заняла простая деревенская женщина, она села на станции, где состав простоял лишь пару минут.

День прибытия в Санкт-Петербург мы встретили с волнением. После трех суток пути нужно было привести себя порядок. Ксюша спу-

стилась вниз с миниатюрным чемоданчиком, расписанным в китайском стиле розовыми пионами, и, с разрешения Жоры, устроилась на его полке. Она открыла чемоданчик и начала доставать из него и укладывать на салфетку металлические предметы, похожие на хирургические инструменты. Инструменты оказались маникюрными. Ксюша, ничуть не смущаясь нескольких пар глаз, наблюдавших за ней, устроила целый спектакль. Сначала она набрала горячую воду в крохотную пластмассовую ванночку и отмачивала свои ноготки. Потом по очереди брала инструменты и производила над каждым ноготком разные манипуляции.

Обычно сей акт не выставляется на всеобщее обозрение. Мне на ум пришло слово «экспозиционизм», но с Ксюшей оно как-то не уживалось. Мы с соседкой по купе от неловкости устались в окно. Однако зритель у этого представления нашелся. Жора, наклонив голову набок, наблюдал все действие, так сказать, из первого ряда. Ксюша, в шортиках и майке с глубоким вырезом, вполне половозрелая, игриво поглядывала на Жору. Я скрипела зубами: любой порядочный мужик в присутствии своей женщины отвернулся бы.

— А что это такое? — спрашивал Жора каждый раз, когда Ксюша брала в руки очередной инструмент. Он хотел быть не просто зрителем, а заинтересованным участником.

— Это для удаления кутикулы, — кокетливо отвечала Ксюша, а Жора умилялся ее словам с поистине щенячьей радостью.

Ревность во мне зашевелилась или просто стало неловко, когда женщины с боковых мест начали бросать на меня любопытные взгляды, только я сделала вид, что мне нужно в туалет, и вышла в тамбур. Жаль, что какому-нибудь мужчине не пришло в голову при всех бриться, иначе, глядя на него масляными глазками, я непременно поинтересовалась бы, лезвие какой марки он предпочитает. Хотела бы я посмотреть в этот момент на Жору...

Когда я вернулась, представление было завершено. Началась суeta последних часов пути.

И вот наш поезд прибыл на конечную станцию. Все выбрались из вагона на вокзальную платформу. Жора распрощался с попутчиками, взял сумки и уже собрался идти к выходу в город, но я его остановила. Родственники Ксюши опаздывали к поезду, и она стояла совсем растерянная, со страхом озираясь по сторонам.

— Давай подождем с Ксюшей. Не хочется ее тут одну оставлять, — попросила я, чувствуя ответственность за семнадцатилетнюю девчонку.

У Жоры уже пропал интерес и к маникюру, и к самой Ксюше, незапланированное промедление его раздражало. Он не стал поддерживать нашу женскую болтовню и со скучающим видом разглядывал людей в толпе. Едва на горизонте появились Ксюшины родственники, Жора тотчас увлек меня за собой на привокзальную площадь.

Поиск жилья Жора начал по нескольким номерам телефонов, раздобытым еще в нашем городе. Из будки таксофона дозвониться удалось по одному-единственному. Ответил женский голос. Договорились о встрече.

Дом оказался в обычном спальном районе из старых пятиэтажек, такие во всех городах на одно лицо. Отыскав нужную квартиру, мы позвонили в дверь.

Дверь распахнулась, и на пороге возникла молодая женщина. Бледненькое личико, огромные карие глаза с густыми накладными ресницами, которыми она взмахивала, как опахалами. На веках слой золотых блесков. Маленький аккуратный рот в яркой помаде. Женщина напомнила мне сказочную птицу Феникс из фильма моего детства «Садко». Странно, но даже этот странный грим своей фальшивой броскостью не портил ее красоты. Короткое платье с глубоким вырезом не оставляло сомнений: у птицы Феникс вполне земная и очень древняя профессия.

— Мария, — произнесла женщина и улыбнулась нам без тени кокетства, скорее как детям.

Мы буквально не могли оторвать от нее глаз. Мария выслушала наш лепет по поводу съема квартиры, устремив взгляд куда-то в сторону, с полуулыбкой на губах. Будто богиня с лицом индийской красавицы, она была наполнена мудростью и любовью и спокойно позволяла себя разглядывать.

После того как мы договорились об условиях аренды, Мария впустила нас в квартиру. У дверей в прихожей сидела овчарка. Она тут же уставилась на нас грустным умным взглядом.

— Это моя Эдель. Не бойтесь, она уже старая и абсолютно спокойная. Она живет в квартире, разве вас не предупреждали? — Мария подняла брови, и ее красивое лицо выразило искреннее удивление.

— Очень хорошо! — От восторга и умиления у бедного Жоры перехватило дыхание.

— Я включила холодильник. Можете спокойно класть туда свои продукты. Я все равно здесь не ем.

Последняя фраза меня насторожила. А что она здесь делает?

Мария провела нас в жилую комнату, которая, как и кухня, не видела ремонта лет двадцать. Унылая мебель, драный линолеум, выцветшие обои. Вдоль стен стояли кровать, диван, старые шкафы и обеденный стол.

Я предположила, что Мария держит это жилье, чтобы сдавать его небогатым туристам. Вот только зачем здесь собака?

— Вы будете спать на этом диване, он раскладывается. Меня по ночам дома не бывает, а днем вы будете по Питеру гулять. Так что мы с вами друг другу не помешаем. — Мария была невысокого роста и смотрела на нас снизу вверх.

До меня стал доходить смысл ее слов.

— Деньги вперед, мне собаку нечем кормить. — Хозяйка квартиры ласково потрепала овчарку по загривку.

Жора, не раздумывая, отсчитал всю сумму за десять дней и протянул ей. Мария с равнодушным видом положила деньги в вазочку на пыльной полке шкафа, затем взяла все с той же полки фотографию мальчика в рамке и показала нам:

— Это мой сын. Он сейчас в детском лагере отдыхает. Через пять дней вернется.

Жора был всем доволен, и новое известие его нисколько не смутило.
 — Я спущусь в магазин на первом этаже, куплю собаке еды. А вы располагайтесь.

Когда Мария закрыла за собой дверь, я накинулась на Жору:

— Кто дал тебе ее телефон? Ты заранее знал, что мы будем в одной комнате с хозяйкой? Что это будет? Трое в спальне, не считая собаки!

— Все нормально. Где мы еще за такие деньги снимем жилье в полчаса езды от центра? Поверь, главное — обзавестись местом для ночлега, — оправдывался Жора.

Вернулась Мария со свертком в руках и положила его в пустой холодильник. Она купила для овчарки колбасы.

Вскоре за ней зашла подруга. Девушка была моложе Марии, худощавая, с короткой стрижкой, без макияжа, в брюках. В сумерках ее можно было принять за юношу. Она смотрела на Марию во все глаза, за слабой улыбкой угадывалось душевное страдание. Похоже, бедняжка была влюблена. Мария что-то говорила, девушка слушала, иногда кивала в ответ, но ее лицо оставалось почти неподвижным.

Перед уходом хозяйка квартиры попросила нас не запираться на замки, чтобы дверь можно было открыть ключом снаружи, и скрылась в сопровождении своей подруги.

Мы наконец остались одни, если не брать во внимание овчарку Эдель. Жора купил все в том же магазинчике на первом этаже пельмени и бутылку вина, и мы сообразили на скорую руку наш первый ужин в Питере. Я носила тарелки в комнату, потому что вид кухни отбивал всякий аппетит. Эдель слонялась за мной туда-сюда.

Когда мы сели за стол, Жора произнес тост:

— Ну, за нашу первую ночь в Питере!

И она, наша первая ночь в Питере, началась!

Сытно поужинав, мы застелили диван чистым бельем, которое оставила Мария, и блаженно раскинулись на нем, уставившись в экран старенького телевизора. Эдель улеглась на полу рядом с диваном. Время приближалось к двенадцати, а за окном замерли сумерки — была белая ночь.

— Вроде мы еще кое-чем должны отметить наш приезд... — проворковал Жора и полез ко мне с поцелуями.

Я шутливо отозвалась:

— Не получится. У меня нет с собой волшебных золотых блесток для век! Потом попрошу у Марии... и тогда, может быть...

Мы прыснули, а потом — то ли от усталости, то ли от переизбытка впечатлений — начали хохотать, набирая обороты.

В чувство нас привел неожиданный звонок в дверь.

— Не будем реагировать. Пусть решат, что никого нет, — предложила я.

— Ага, а кто же гоготал на всю квартиру?

Человеку за дверью не понравилось наше молчание. Он нажал на кнопку звонка и долго не отпускал ее, видимо решив свести нас с ума непрерывным противным дребезжанием. Потом ему это надоело, и на

дверь посыпались сильные резкие удары. Ярость, с которой незнакомец барабанил кулаком, наводила на мысль, что наш хохот действительно был услышан. Жора, не выдержав, подошел к двери. Следом потащилась Эдель. Она лениво рыкнула и уставилась на Жору.

— Хозяйки нет дома, — вежливо сказал Жора.

За дверью раздался женский голос:

— Где моя дочь? Я знаю, что она здесь! Откройте немедленно! Мария! Я тебя задушю собственными руками!

— Мария с подругой ушли уже пару часов назад. Их здесь нет, — еще раз объяснил Жора.

До нашего слуха долетели проклятия в адрес Марии. Вскоре они перешли в глухие причитания, которые слились со звуками удаляющихся вниз по лестнице шагов, и все стихло.

Жора опять лег рядом со мной. Но уже через минуту зазвонил домашний телефон. Жора вскочил и, недолго думая, выдернул провод из розетки, после чего вернулся на диван.

Когда на лестничной площадке снова послышалось негромкое шуршание, мы замерли. Кто-то разок-другой дернул дверь за ручку и начал скрестись снаружи совсем по-кошачьи. В квартиру проник мужской голос, исполненный вождения:

— Мария, открой! Мария! Прошу, открой мне!

— Черт, вот влипли! — прошептала я.

Жора на цыпочках подошел к телевизору, выключил его и таким же образом вернулся. Мы затаились, как воришки.

Мужчина тем временем постепенно перешел на стук. В его голосе пропали бархатные нежные ноты, он уже не просил, а требовал:

— Мария, давай же, открывай! Открывай, тебе говорят!

Быть может, ему обещали эту ночь и сейчас он был оскорблен подозрительными звуками за закрытой дверью. Еще какое-то время воздыхатель пытался достучаться до совести Марии, но потом его терпение лопнуло. Напоследок он грубо пнул ногой дверь, выругался и ушел.

В квартире повисла тишина. Возбуждение незнакомца оказалось заразительным. Жора запыхтел мне в ухо. Мы прильнули друг к другу, и в этот момент раздался короткий звон, от которого я вздрогнула. Звук повторился, и мы догадались, что кто-то бросает камешки в окно. Я спряталась за спину Жоры. Камешки летели один за другим, с цоканьем бились о стекло и отскакивали. Мне казалось, окно вот-вот разлетится вдребезги. Человек внизу наловчился и раз за разом без промаха попадал в цель. Впрочем, с каждым брошенным камешком его страсть угасала, и, окончательно смирившись с перспективой провести ночь без Марии, он оставил окно в покое.

После того как последний камешек звонко цокнул о стекло, мы еще какое-то время напряженно прислушивались к звукам с улицы. К счастью, за окном слышался только привычный городской шум: поток автомобилей нисколько не уменьшился даже к трем часам ночи. Под гул огромного мегаполиса, не знающего отдыха круглые сутки, мы начали засыпать. Не знаю насчет Жоры, но я уснула, чувствуя себя обманутой.

После ссоры и долгой дороги в поезде мы наконец остались наедине, да к тому же в спальне питерской жрицы любви, — и никакого результата!..

Едва мы провалились в сон, как нас разбудила подозрительная возня у входной двери. Жора, взяв на кухне нож, тихо вышел в прихожую. Эдель села напротив входа и заскулила. Дверь открылась, вошла Мария все с той же подругой. Они прошли в комнату и, не раздеваясь, улеглись на кровать, расположенную по соседству с нашим диваном. Ну вот, теперь все в сборе, можно и поспать.

Утром, когда наши ночные бабочки еще не проснулись, мы с Жорой пили на кухне чай и обсуждали дальнейшие планы.

— Нужно забирать деньги и искать другую квартиру, — настаивала я.

— Не уверен, что она отдаст.

— Это будет не отдых, а издевательство! Все ты с твоей вечной экономией...

Жора молчал. Он уже был не так оптимистично настроен, как вчера.

Я подошла к спящей Марии и тихо позвала ее. Лицо женщины во сне казалось спокойным, но не счастливым. Ресницы дернулись, и Мария с усилием открыла глаза:

— Что случилось?

— Мария, мы не сможем у тебя жить.

— Почему?

— Всю ночь нам не давали спать. Стучали в дверь, звонили, бросали камни в окно...

— Вы не волнуйтесь. Я просто не успела всех предупредить. Больше такого не будет. — Спросонья женщина говорила вяло.

— Нет, Мария. Мы заплатим, если хочешь, за эту ночь как за две, но остальные деньги отдай нам. Мы поищем другое жилье. Пожалуйста!..

— Да? Ну ладно. Я немного потратила на еду для собаки, остальное забирайте... — Не привыкшая долго ломаться, Мария протянула руку к вазочке в шкафу, достала оттуда деньги и отдала мне, не пересчитывая. В ту же секунду глаза ее закрылись.

Я поблагодарила ее с таким жаром, как будто она выручила нас из беды. Она открыла один глаз, усмехнулась и снова отключилась.

С дорожными сумками в руках, полуживые после сумасшедшей ночи, мы приехали на Балтийский вокзал. Оставили вещи в камере хранения и налегке отправились на Невский проспект. Посетили Казанский собор, вышли на Дворцовую площадь, прошли по набережной Мойки. Фасады старинных зданий, украшенные кариатидами и атлантами, вызывали у меня восхищение. Питер поражал роскошью и блеском. Эти впечатления стоили трех суток в поезде и одной бессонной ночи в квартире Марии.

В этот же день уладилось и с жильем. Мы нашли дом в пригороде, на станции Сиверская, куда и добрались за полтора часа на электричке. От станции прошли вслед за местными жителями по узкой тропинке вдоль речки Оредеж с живописными оранжевыми берегами — и через десять минут перед нами вырос двухэтажный сруб. Когда-то здесь была база отдыха какого-то НИИ. Теперь хозяйкой дома стала дама по имени Маргарита Владимировна.

В доме было два входа, и доставшаяся нам изолированная комната с отдельным санузелом и душем, все после свежего ремонта, показалась нам прекраснее, чем гостиничный номер люкс. В комнате стояла простая мебель, а воздух был необыкновенно чистым. Общей оставалась только кухня. И к нашей великой радости — никакого шума за окном, никаких страстных любовников, собак и ночных фей!

Наутро я и Маргарита Владимировна встретились на кухне. Хозяйка уселась пить чай, я готовила завтрак. Маргарите Владимировне было под сорок. Льняной юбкой в пол и скрученными в дульку волосами она напоминала сектантку. У нас с ней сразу обнаружилась несовместимость.

— Так, значит, тебя Леной зовут? — спросила она.

— Да.

— Это не твое имя. Твое имя — Ольга. Вот у тебя все в жизни удачно складывается?

— По-разному. — Вопрос вызвал у меня улыбку.

— Это потому, что у тебя не твое имя. Я буду звать тебя Ольгой.

— Зовите, — согласилась я.

— Хочешь, я составлю тебе гороскоп? Не обычный гороскоп, а натальную карту! Я астролог с большим стажем, мои клиенты — очень важные персоны. Кому попало не берусь делать.

— Подумаю, Маргарита Владимировна, — пообещала я, зная заранее, что у Жоры на это развлечение точно не выпросишь ни копейки.

— Поаккуратнее тут, на кухне. Не заляпайте скатерть.

Хозяйка, явно обиженная тем, что я не проявила должного интереса к астрологии, оставила грязную чашку и удалилась в свою часть дома, на второй этаж.

Я ополоснула после нее чашку и, прежде чем мы сели с Жорой за стол, застелила бумагой матерчатую скатерть.

Следующие дни мы с Маргаритой Владимировной не сталкивались, но догадывались о ее присутствии по звукам, доносившимся сверху, и по грязной посуде, которую она упорно не хотела за собой мыть. Иногда ее наведала соседка — тучная женщина, она не спеша проходила перед нашими окнами, оставляла свои туфли на крыльце и тяжело поднималась наверх, в хозяйские комнаты.

Каждый день мы посещали какую-нибудь достопримечательность Санкт-Петербурга или его пригородов. Одним солнечным утром мы решили отправиться в Петергоф. Добрались на электричках за три часа, сошли на перрон и поразились невероятному количеству людей. Два нескончаемых потока двигались в противоположных направлениях. Мы отправились к входу вдоль железной ограды, за которой глаз лишь изредка выхватывал в просветах густой листвы кусочки пейзажей Петергофа. И тут Жора случайно заметил двух мальчишек, которые в гуще деревьев перемахнули через ограду и очутились на той стороне.

— Давай перелезем! Сэкономим штуку рублей, а то и больше.

— Ты серьезно? — Я постаралась сделать максимально презрительную мину.

Ему бы от стыда сквозь землю провалиться, а он нырнул в пыльные кусты и буквально воспарил — цепляясь за прутья литой узорчатой ограды, начал взбираться вверх, обронив мне через плечо:

— Ну не хочешь, тогда торчи в очереди. Встретимся возле «Самсона».

Я даже не успела возмутиться. Опустив голову, чтобы не ловить насмешливые взгляды свидетелей этой сцены, я поплелась дальше одна и, отстояв длинную очередь за билетом, отправилась искать знаменитый фонтан.

Его я увидела издалека. Самсон раздирал пасть льва, из которой, как последний рык побежденного зверя, вырывался высоченный водяной смерч. Это было красиво!

Подойдя ближе, я заметила в толпе туристов Жору, он поджидал меня с мороженым в руках.

— Я здесь уже минут сорок гуляю. Думаешь, кому-то есть дело до тех, кто перелезает через заборы? Да всем на всех наплевать!

— Всем, только не мне, — отмахнулась я.

У меня еще оставался неприятный осадок, но обстановка не располагала к ссоре. Мы отправились любоваться дворцами, фонтанами, статуями, аллеями и газонами.

Наступил вечер. Время, отведенное туристам для прогулок по территории музея-заповедника, заканчивалось, а мы блуждали в самом дальнем уголке Нижнего парка. И тут Жора обнаружил выход на дикий пляж Финского залива.

— Пойдем, ты худенькая, тут легко пролезть! — Он смотрел настолько озорно и в то же время умоляюще, что мне пришлось согласиться.

Кажется, я впервые намеренно нарушила правила общественного порядка. Мы пролезли между изогнутыми кем-то металлическими прутьями ограды и, почти бегом преодолев несколько десятков метров, попали на пляж. Быстро раздевшись — я до купальника, Жора до трусов, — зашли в воду залива. Вода оказалась мутной и грязной, купание не принесло удовольствия, и, едва обсохнув, мы поспешили обратно. Но галочка, что мы искупались в Финском заливе, была поставлена.

Через тот же тайный ход мы вернулись на территорию музея. Кажется, парк совершенно безлюден. Откуда ни возьмись — охранник:

— Время экскурсий закончилось! Пройдемте к выходу!

Так, в сопровождении охраны, как нашкодившие дети, мы покинули Петергоф.

На Сиверскую вернулись уставшие. Я отправилась на кухню готовить ужин. Там царил жуткий беспорядок — ни еды приготовить, ни сесть за стол. Из хозяйской части дома слышались музыка и громкие разговоры. По всем признакам, у Маргариты Владимировны были гости. Пришлось сначала прибрататься и только потом заняться собственным ужином.

Оставались последние деньки до нашего отъезда. Жора созвонился со старым приятелем, обосновавшимся в Питере. Договорились посидеть в клубе где-то на окраине города. Вечером, одевшись как можно при-

личнее, насколько позволял наш дорожный гардероб, мы отправились на встречу.

Клуб располагался в здании, где когда-то была фабрика. Мы сели за столик и огляделись. Это место, похоже, намеренно противопоставляло себя вычурности и кричащей роскоши рококо или барокко. Интерьер соответствовал индустриальному облику всего здания. Просторное помещение с высоченными потолками и широкими окнами освещали фонари, явно позаимствованные с уличных столбов. Над головой голые металлические балки; стены, выложенные красным кирпичом, не оштукатурены. Вся эта фабричная фактура как будто кичилась своей пролетарской простотой. Мне вспомнились стихи Маяковского:

Мне наплевать на бронзы многопудье,
 Мне наплевать на мраморную слизь...

В клубе играла инструментальная музыка. На деревянных столах из грубого дерева вместо скатертей были расстелены газетные листы. Меню оригинальничало забавными названиями: салат «Парад гербицидов», коктейль «Контрольный выстрел»... Зародившаяся было у меня подленькая по отношению к Жоре мысль, что это самое недорогое ночное заведение, исчезла: здесь было необычно и, казалось, витал дух питерского андеграунда.

— Что тебе заказать? — поинтересовался у меня Жора.

— Коктейль.

— Давай я сам сок разведу с водкой — будет тот же коктейль, только в три раза дешевле.

Я лишь пожала плечами.

Очень скоро появился Паша, друг Жоры.

— Жорик! Опять стопом? — Он смотрел на Жору с нескрываемой радостью.

— С девушкой разве стопом поедешь? — с сожалением ответил Жора.

Паша оглядел меня и улыбнулся открытой веселой улыбкой, показывая щель между передними зубами:

— Смотрю, Жорик брюшко поднарастил. Сытая семейная жизнь?

— Есть немного.

Клуб заполнялся медленно. Очевидно, публика здесь была сплошь из местных жителей, туристы приезжали в Питер ради иных интерьеров.

— Ну что, где твой шнапс? Ты еще не придумал, как мы будем его наливать?

Жоре удалось незаметно пронести с собой бутылку водки, и нужно было ее как-то легализовать. На нашем столе уже стоял фруктовый сок в пластиковой упаковке — для моего «коктейля». Я посоветовала разлить сок в стаканы, а водку перелить в эту упаковку. В туалете. Страстная одержимость Жоры принципом «не за все нужно платить, а если и платить, то не переплачивать», подобно любой фанатичной вере, начинала вызывать во мне сочувствие.

И вот два здоровых мужика, пряча под одеждой бутылку водки и пустую упаковку от сока, хихикая, отправились в туалет. Вернулись довольные: теперь они пили водку раз в пять дешевле, чем была в клубном баре.

Зазвучало танго. Взгляды всех посетителей клуба обратились на долговязого парня с папиросой в зубах и в белоснежном шарфе на тонкой шее, спускающемся до самых колен. Он театральным жестом пригласил на танец свою спутницу и, не вынимая изо рта папиросу в мундштуке, увлек девушку в центр зала. По их движениям, по внешнему облику и манерам можно было догадаться, что эта пара специально приглашена для развлечения публики. Девушка, стройная и высокая под стать партнеру, в платье из синего атласа, с темными волосами до плеч, то подстраивала свои шаги под его, то по едва заметному знаку выгибала спину, ложась тонкой талией на его руку. Парень окидывал партнершу холодным порочным взглядом и, выдохнув дым папиросы, снова вел ее в танце, заставляя себя соблазнять.

Танец сдержанной страсти произвел впечатление, атмосфера в клубе заискрилась эротикой. Женщины с интересом поглядывали на мужчин, а те, в свою очередь, — на женщин.

Темп звучавшей в клубе музыки все ускорялся по мере того, как в крови присутствующих росла концентрация алкоголя. Услышав залихватский молдавский мотив, на танцпол выбежала целая компания девушек. Жора с Пашей резво подскочили со своих мест и ринулись в гущу мелькающих в танце юбочек, платьиц и каблуков. Жора успел на ходу буркнуть мне что-то похожее на приглашение присоединиться к ним, заранее зная, что я не соглашусь, и теперь с чистой совестью пустился в пляс. Своим танцем он демонстрировал огненный темперамент, успевая бросать девушкам многообещающие взгляды. Паша не отставал. Приятелям было из кого выбирать. Вскоре Жора отплясывал с блондинкой, а Паша — с брюнеткой.

Веселье было в самом разгаре, когда мое внимание привлекли новые посетители клуба. Молодой мужчина и девушка, не переговариваясь между собой, прошли в глубину зала и заняли столик, соседний с нашим. Девушка напомнила мне подругу Марии: такая же худенькая, с короткой стрижкой, в черных брюках. Если бы она не сопровождала мужчину, ее никто бы и не заметил. А мужчина был красив. Его наружность нельзя было назвать брутальной — никаких накачанных мускулов или волевого подбородка; не ощущалось в нем и самодовольства, с каким смотрят красавцы-мачо с фотографий в глянцевых журналах. Это была красота благородная, утонченная. Он напоминал какого-нибудь французского киноактера из прошлого, когда снимали фильмы не о проблемах сытой жизни, а о любви, сводящей с ума.

Печаль и красота невидимой стеной отделяли незнакомца от толпы, распоясавшейся в пьяном угаре. Его спутница тоже была грустна, но казалась лишь его тенью.

Они не были влюбленной парой, их связывало нечто другое. Об этом можно было догадаться по тому, что мужчина не оказывал девушке знаков внимания, которые обычно указывают на близость.

Он что-то сказал ей, она тут же встала и пошла к стойке бара. Оставшись за столиком один, таинственный незнакомец посмотрел в мою сторону. Наши взгляды встретились, и мне почудилось, что я с ним давно и очень близко знакома. Отчего возникло это странное ощущение, я не могла себе объяснить. Мужчина не спешил отвести глаза и смотрел на меня просто и откровенно. Он не ошибся: я тут же попала на крючок и мгновенно лишилась внутренней свободы. Мрачный и одинокий, он сидел напротив меня, и мы оба оказались внутри некоей оболочки, которая пропускала и свет, и звук, но все-таки изолировала нас двоих от всего остального мира. Мне было легко заразиться его печалью. Он сразу про меня все понял.

Тем временем девушка вернулась с бутылкой коньяка и двумя бокалами в руках. А мне пришлось вспомнить о Жоре. Он, Паша и две девушки с танцпола направлялись к нашему столику. В эту минуту Жора показался мне чужим. Хорошо, что он был пьян и не заметил перемену во мне.

— Познакомьтесь, это моя девушка Лена, — представил меня новым знакомым Жора.

Я равнодушно кивнула. Лицо блондиночки вытянулось. Брюнетке было все равно, она весело щебетала с Пашей. Жора всячески пытался создать непринужденную и дружескую атмосферу, но его новая приятельница провела в нашей компании всего несколько минут, натянуто улыбаясь, а потом нашла предлог уйти и исчезла. Вторая девушка упорхнула вслед за ней.

Мой незнакомец все это время, не скрываясь, наблюдал за нашим столиком. Он о чем-то попросил спутницу. Та повернула голову в нашу сторону, потом послушно кивнула, встала и подошла к нам.

— Мы с другом приглашаем вас за наш стол, — сказала она.

Жору ничего не насторожило и не смутило. Напротив, он принял предложение как должное, первый соскочил со своего стула и быстро перебрался за чужой столик, прихватив рюмки. Паша отправился вслед за ним. Мой незнакомец выжидающе смотрел на меня. Я медлила. Я догадывалась, что это приглашение было ради сближения со мной, но к чему оно могло привести?

Кто ты? Ты хочешь, чтобы я попала к тебе в рабство и по первому твоему требованию бежала за коньяком в бар или приглашала за столик других девушек?

Где-то в глубине души я желала, чтобы мой незнакомец позволил себе холодный, циничный взгляд или какую-нибудь непристойность. Тогда очарование рассеялось бы. Но нет. Он казался мне правителем неведомой страны, а девушка словно вызвалась быть его верным пажом. И какое же несчастье постигло их королевство?

Неизвестность дразнила воображение. Помешкав, я присоединилась к странной компании столь неподходящих друг другу людей.

— Меня зовут Петр, — тихо произнес незнакомец, обращаясь только ко мне.

Вблизи его бледное одухотворенное лицо было еще прекраснее.

— Я Жора, а это мой друг Паша. Я из Сибири. Как вам тут, в Питере, живется? — Жора был воодушевлен приглашением и вел себя как свежее испеченная телезвезда в эфире.

Петр сделал знак девушке, которая представилась Тоней, и она наполнила рюмки и два бокала.

— Сегодня мы похоронили друга. Выпьем не чокаясь, — медленно произнес Петр.

Так вот в чем крылась причина его таинственного трагического обаяния! Он переживал смерть друга. Но разгадка не принесла облегчения. Наоборот — случилось то, чего я боялась. Теперь я, как и Тоня, была готова на все, что могло облегчить его страдания.

Жора с Пашей выпили до дна, остальные лишь пригубили крепкий напиток. Жора, видимо не расслышав или не поняв слов Петра, взял на себя труд развлекать компанию, он отчаянно старался заразить всех своим весельем и отработать угощение. Разве не за тем его позвали за свой стол питерцы? Когда в ход пошли скабрзные анекдоты, по лицам Петра и Тони стало заметно, насколько им это не по душе. Но Жору, как заведенного, уже нельзя было остановить.

Петр взглядом указал на пустые рюмки, Тоня вновь послушно наполнила их коньяком. Жора неловко потянулся за своей и опрокинул ее. Коньяк выплеснулся на стол. И тут Жора, наклонив голову, быстро, в один вдох, собрал растекающийся напиток губами, вытянутыми трубочкой.

От неожиданности все сначала онемели.

— Узнаю Жорика! — первым отреагировал Паша и простодушно рассмеялся.

На лице Петра мелькнула презрительная усмешка. Тоня посмотрела на Жору как на ничтожество. Эта неприкрытая надменность наконец отрезвила меня. Я почувствовала пронзительную жалость к Жоре — не брезгливую, а, наоборот, сострадательную, подобную материнскому инстинкту, который заставляет любить больное дитя сильнее, чем здоровое. Жора — смешной, нелепый, без барских замашек — искренне, от души старался понравиться этим питерцам. Я протянула руку и пригладила его волосы.

В голове и без того был кавардак, а после этой позорной сцены мне показалось, будто я потихоньку схожу с ума.

— Пойду прогуляюсь, — сказала я и отправилась в туалет в надежде, что без меня все как-то переменится и само собой наладится.

Когда я вернулась в зал, Жора уже спал, сидя за столом и уложив голову на руки. Паша исчез. Тоня и Петр топтались рядом с Жорой и поджидали меня.

— Поедем с нами, — глядя на меня в упор, почти приказал Петр.

— Я не могу...

— Поедем с нами, — упрямо повторил он.

— Я не могу.

Петр сделал несколько шагов к дверям и обернулся. Он пристально и долго смотрел на меня, словно давая мне одуматься, затем охрипшим голосом попросил:

— Поедем с нами!

— Я не могу, — грустно ответила я.

Он пошел к выходу, не оглядываясь, Тоня — следом за ним. Они ушли.

Я почувствовала себя осиротевшей и смертельно уставшей. Жора мирно похрапывал. Вокруг опустевших столиков уже сновали работники клуба, и мне пришлось растолкать Жору. Проснувшись, он отправился в туалет — и через несколько минут вернулся с сияющими глазами и радостной улыбкой.

— Сейчас мы пройдем пешком до ближайшей станции метро и отправимся в какой-нибудь музей! С утра как раз народу не будет. Предлагаю музей Пушкина на Мойке, — говорил Жора, на ходу разминая плечи и дыша на меня неслабым перегаром.

— Я не хочу.

— Что значит — не хочешь? У нас последний денек остался, нужно его с толком провести.

— Да иди ты... Я еду на Сиверскую.

— Ты чего? — протянул Жора, но послушно поплелся за мной.

Мы приехали на Сиверскую. Как обычно, вставили ключ в замок, но дверь оказалась заперта изнутри. Из комнат хозяйки на втором этаже доносилась музыка, на крыльце стояли знакомые туфли. По-видимому, к Маргарите Владимировне пришла соседка. Жора громко забарабанил в закрытую дверь. Никакой реакции.

Жора обошел дом, проверил окно кухни; оно оказалось на слабой защелке и открылось без особого труда. Он пролез в окно и отпер мне дверь.

Я вошла в дом и сразу же обратила внимание на пороги между комнатами: все они были присыпаны каким-то белым порошком, похожим на обычную пищевую соду. Насекомых травят?

Умывшись, я прошла на кухню. Кухня была завалена грязной посудой. Я расчистила на столе местечко и налила себе и Жоре чаю.

Из комнат хозяйки спустилась соседка.

— Ты Ольга? — спросила она, разглядывая меня.

— Я Лена.

— Маргарита Владимировна рассказывала мне про тебя. Она сказала, что у тебя плохая аура.

Если у меня плохая аура, можно сразу мне тыкать? И я еще обвиняла Жору в раболепии, в то время как сама каждый раз мыла тарелки и чашки за какой-то безумной теткой!

— Так это защита от моей ауры? — я кивнула на белый порошок на входе в кухню. — Что ж, боюсь, с такой аурой мне нельзя прикасаться к ее посуде. Пусть Маргарита Владимировна сама разгребает за собой всю эту грязь!

Я допила свой чай и, не ополоснув чашку, ушла в нашу комнату. Упав на кровать, я устала в потолок.

Питер и его белые ночи окончательно сведут меня с ума. Я хочу назад в Сибирь. По крайней мере, там ночь — это ночь, а день — это день. Хочу домой!

Соседка вошла в нашу комнату и присела на угол кровати.

— Леночка, послушайте! Маргарита Владимировна — нездоровый человек. Когда-то она преподавала в институте одну из самых сложных дисциплин — сопромат. Потом так случилось, что ее сына убили прямо у нее на глазах. Она долго лечилась, но вернуться к работе так и не смогла. Теперь вместо сопромата она занимается астрологическими расчетами. Не судите ее строго.

Соседка ушла, а я расплакалась. Я плакала о Марии, Петре, Маргарите Владимировне, а заодно о Жоре и о себе. Приступ человеколюбия помог мне заснуть, я проспала до самого утра.

Утром я ощущала себя на удивление хорошо. Мысль, что все случившееся в Питере скоро останется далеко позади, причем и в пространственном, и во временном измерении, успокаивала.

Вещи были собраны. Мы плотно позавтракали, поглощая последние свои запасы из холодильника. Я заметила, что вся посуда перемыта.

Мы допивали чай, когда к нам спустилась Маргарита Владимировна.

— Кто-то рожден творцом, а ты, Ольга, создана для кухни. Извини, но каждому свое. Оставьте ключи на столе, — сказала хозяйка дома и поднялась к себе с видом барыни, оскорбленной неблагодарностью челяди.

Не знаю, по каким таким звездам ей привиделось, что я не Лена, а Ольга и что место мое у раковины с грязной посудой, но я с жалостью проводила ее взглядом.

Мы попрощались с домом, с оранжевыми берегами реки Оредеж, а позже и с самим Питером. Путь домой оказался скучным, лица всех попутчиков быстро забылись.

В городе мы вернулись к нашей привычной жизни. Я вышла на работу. Накануне зарплаты я заявила Жоре со всей категоричностью:

— Это несправедливо — зарабатывать деньги и потом выпрашивать у тебя даже на какую-то мелочь!

— Установим компаньонский принцип! — предложил Жора. — Пусть у нас будет общая касса на совместные нужды.

Так мы и поступили.

Однажды мы с Жорой отправились в бар на центральной площади города и засиделись допоздна. Он угостил меня коктейлем и предупредил, что за такси должна буду расплатиться я.

Когда мы подъехали на такси к нашему дому, я заглянула в кошелек и попросила Жору:

— Мне не хватает. Добавь, дома отдам.

— Я подожду в машине, а ты сходи возьми деньги и расплатись с водителем, — жестко ответил Жора.

Таксист зло поторопил:

— Давайте быстрее разбирайтесь и платите за перевозку!

Я поднималась на третий этаж, еле сдерживая слезы.

Наутро я объявила Жоре, что собираю вещи и уезжаю домой.

Директор заставил меня отработать две недели. Все это время я и Жора жили в квартире бок о бок, но как чужие люди. Однажды мы случайно встретились в городе. И прошли мимо, едва кивнув друг другу.

Я с грустью вспоминала свои надежды и мечты. В начале лета я видела себя оседлавшей Дракона, который уносил меня из прошлой никчемной жизни в новое счастливое тысячелетие. А теперь меня одолевало беспросветное разочарование. Дракон, проказник, подsunул-таки мне хромую лошадь! Вот и не верь после этого гороскопам.

В конце лета я бесславно вернулась в поселок...

Жора приехал ко мне через месяц. Он прошелся по двум комнатам пятистенка с белой печкой и сказал:

— Будем строить дом!

Его изъясн, который, раньше казалось, не даст нам ужиться, внезапно обернулся полезнейшим качеством. Все деньги шли на покупку строительных материалов. Со словами «Не боги горшки обжигают» Жора сам клал стены, крыл крышу, вставлял окна. Для него не существовало слова «проблема». Иногда мы внезапно срывались и ехали куда-нибудь автобусом, поездом или автостопом. Жора на время утолял свою потребность во внутреннем обновлении — и снова впрягался в рутину сельской жизни. Рядом с ним я стала смотреть на жизнь легко и весело.

Шло время. Дом успел обрести свой окончательный вид. И однажды Жора затосковал. Он окинул дом взглядом, подмигнул мне и, сказав: «Это все твое», уехал. Сущность Жоры словно очнулась и позвала его на поиски новых приключений. Удерживать его было бы все равно что бороться с мощью неуправляемой природной стихии.

Я от этого удара потеряла аппетит и целый год приходила в себя. А когда время понемногу меня вылечило, новая встреча стала началом новой жизни.

Как-то в начале июня я празднично накрыла стол, поставила в центре бутылку вина. Муж вернулся с работы уставший. Я встретила его, как обычно, радостными объятиями. Он зашел на кухню и удивился:

— Я забыл о каком-то празднике?

— У меня есть для тебя сюрприз. Мы летим в Питер! Ты наконец-то увидишь белые ночи! — торжественно объявила я.

И добавила:

— Мы обязательно купим себе новые наряды и поселимся в приличной гостинице. И еще — мы не станем жмотиться и будем щедры на обычное человеческое внимание. Ведь в путешествии главное — общаться.



Геннадий ПРАШКЕВИЧ

**АРХИПЕЛАГ
ИСЧЕЗАЮЩИХ ОСТРОВОВ**

*Поиски литературной среды и жизнь в ней**

* * *

(От Бориса Штерна)
Киев, 28 сентября 1986.

Мартович! Говорил с Либкиным. С твоим «Котом» все в порядке, жду в ноябрьском номере. Петрянов¹ подписал на январь «Производственный рассказ № 1». Полный захват «Химии и жизни»! Надо прочитать в № 9 или в № 10 рассказ Биленкина — Либкин говорит, что исключительное дерьмо, но им пришлось взять из уважения к мэтру. Ну не будем злословить над больным человеком. Почитай эту заметочку в черкасской газете. Обрати внимание, что я продолжаю оставаться сибирским писателем² — но теперь я уже живу в Красноярске. Почему — сам не понимаю.

Мой редактор наконец-то наткнулся на посвящение — я его замаскировал так (в заголовке рассказа): «СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА» (необходимое дополнение к трем законам Азимова — посвящается Геннадию Прашкевичу).

Спрашивает по телефону: Что это такое?

Я отвечаю: Посвящение хорошему человеку.

Он: Никаких посвящений!

Я: начинаю долго и нудно объяснять и доказывать, напирая на личные, общественные и общечеловеческие духовные ценности.

Он: Ладно, ладно, пока оставляем, но не ручаюсь...

Жму руку! Всем привет! Твой Штерн.

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2021, № 5.

¹ Игорь Васильевич Петрянов-Соколов (1907—1996) — физико-химик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. Долгое время был главным редактором журнала «Химия и жизнь».

² Чтобы опубликовать в Новосибирске рассказ Штерна «Дом» (сборник «Дебют», 1980), мне пришлось (в биографической справке) представить его сибиряком. Впрочем, работал тогда Борис (вахтенным методом) в Нижневартовске.

* * *

(От Георгия Гуревича)
 Москва, 15 мая 1987.

Дорогой Геннадий! Я долго откладывал это письмо, помня, что Вы просили отчет о юбилее. Но юбилей оказался растянутым на полтора месяца и все еще не кончился.

Во-первых, должен Вас предупредить, что в самом 70-летию нет ничего хорошего. В молодости не хватает денег и времени, в старости не хватает сил. Жизнь наполнена промежутками между кратковременными полезными часами. Какие-то пустяки требуют усилий, отдыха и раскочки. Тьфу! Но это так.

Что касается самого юбилея, самый главный день я провел по собственному вкусу. Загодя освободил этот день от обязанностей и провел его на кровати с книжкой. Выпали «Дети Арбата», их я и читал. Впрочем, без большого удовольствия. В этот день предпочел бы перечитывать Диккенса. А гости — только родня — были в предыдущую субботу. Племянников не звал, только ровесники. И надраться было некому.

Получил два примечательных подарка. Один из Свердловска — приз имени Ефремова — в форме кубка из серого мрамора с перечислением моих заслуг. Кажется, я первый лауреат этого приза, и есть опасение, что последний. Впрочем, возможно, Бугров расскажет Вам точнее. Вместимость кубка заметно больше четвертинки. Когда приедете, проверите.

Другой подарок — настольные электронные часы. Сейчас на них 18:12. В часах этих есть нечто давящее на психику. Они лезут в глаза настойчивее стрелочных. Они настырно напоминают: идет время, идет! Уже 18:15. Начался поход Наполеона, и вот он уже — на Елене. Кроме того, каждая секунда обозначена двоеточием. Две точки. И так? И так? И так? 18:16! Нет душевного спокойствия.

Что еще юбилейного? Вчера в Доме ученых был юбилей Ефремова. У нас же роковая связь со стариком: я моложе на 10 лет и 2 дня. Говорил ученым об этом. А кроме того и о том, что Ефремову присуще было точное ощущение грядущего. Он всегда писал о том, что будут воспевать на следующем этапе развития. В конце войны писал о романтике мирной жизни, в эпоху ползучей заземленной фантастики задумывал «Туманность Андромеды». Некий дотошный юноша зачитывал с трибуны цитаты из «Часа Быка», они дословно совпадают с речами на XXVII съезде. О чем бы писал Ефремов сейчас? Не о перестройке, а о том, что будет волновать после. Я спрашивал Вас об этом, но Вы отшутились. Таков отчет.

Привет внуку, дамам и Гомбоджапу, конечно. Ваш — *гуру*³.

* * *

(От Георгия Гуревича)
 Москва, 1987.

Дорогой Геннадий! Не сразу ответил на Ваше деловое письмо только потому, что надо было разобраться в своем собственном положении. Впрочем, и сейчас

³ Так иногда в шутку подписывался Г. И. Гуревич.



особенной ясности нет. Посланные Вам материалы держите. Задержка — рядовое дело в литературе. Когда сможете, публикуйте. Может быть, в другую редакцию попадет юбилейный отчет... но после Вас.

О «Книге обо всем»⁴. Она не совсем такая. В тексте всего 6—7 листов + 30 страниц + 30 страничек пояснений к таблицам. Вот так я решил написать ее — тезисно, поняв, что пять томов я буду писать пять лет, а за эти пять лет набегут новые материалы, которые надо будет отражать и переиначивать еще пять лет. А у меня не такие сроки в распоряжении. Итак, книгу я написал вкратце и послал в ноябре в N-ское нелитературное изд-во. А дальше произошло несусветное. В январе объявился рецензент, в феврале он написал рекомендацию, а на прошлой неделе мне сказали в редакции, что планируют книгу на следующий год. Лично я не верю. Но так сказали.

За год я написал одну, всего одну повесть листов на 5—6. И писал Вам: «Если сумею написать, как следует, молодец буду». Нея одобрила, кроме нее, никто пока не читал. Будете в Москве — дам почитать. Повесть не для уровня нашей н.-ф. смелости. Даже не знаю, куда понесу. Взрослым? Но кому? Вам даже не предлагаю.

Юбилейное⁵ письмо Вам показалось грустным. А сейчас пойдет абзац мрачноватый.

Вы знаете, что я болен. Все знают. Болею девять месяцев. Лечат меня новыми дозами, от которых рождаются новые болезни. Врачи разошлись. Вчера был на консультации, разговоры со мной идут о месяцах-немесяцах жизни, но о месяцах — до следующей больницы. И в этой связи напоминаю Вам мельком и легкомысленно высказанное Вам пожелание — разобраться в моем архиве. Если Вы, подумавши, откажетесь, претензий нет никаких... Не думаю, что мои черновики имеют художественное значение. Но кое-что есть набранное типографским шрифтом. Детское представляет интерес — документы эпохи. В общем, я вступаю в переговоры с Неличкой, с ЦГАЛИ и с Вами. Разговор это сугубо предварительный, теоретический. Пока еще время есть. Месяцы... или годы...

Ради бога, только не снисходите до утешений. Деловой разговор идет. Порядок хочу навести в «функции». На том желаю Вам вдохновения. А Гомбоджапу... воробья поймать.

Ему — воробья, нам — жар-птицу. Ваш Гуревич.

* * *

(От Бориса Стругацкого)
Ленинград, 8 декабря 1987.

Дорогой Гена! Извините меня, я задержался с ответом, так как уезжал и вернулся только что. Я очень рад, что предисловие к нашему сборнику будете писать именно Вы⁶. И рад буду оказаться Вам полезен.

Мы начали писать «Обитаемый остров» в середине 1967 года, и писался он легко, весело и с азартом. У нас только что оказались запрещены к опубли-

⁴ «Книга обо всем» — это «Логия будущих открытий» (Москва, «Наука», 1990). Автограф на книге: «Дорогому Геннадию Прашкевичу — бывшему мальчику из Тайги — от бывшего гуру. Желаю взлета: все выше и выше».

⁵ В апреле 1987 г. Г. И. Гуревичу исполнилось семьдесят лет.

⁶ «Братья по разуму». Послесловие к книге братьев А. и Б. Стругацких «Волны гасят ветер». (Томск, 1989).

кованию наши самые последние вещи: «Сказку о Тройке» отверг Детгиз, а потом и НФ (для которого был написан сокращенный вариант), «Гадкие лебеди» отвергла «Молодая гвардия», и настроение у нас было такое: ах, вы не хотите серьезных вещей? хрен с вами, тогда мы покажем вам, как пишутся боевики — даешь комсомольца-супермена!

Сначала было все хорошо. Детгиз принял ОО благосклонно, взял в работу. Удалось даже опубликовать повесть в толстом журнале — в «Неве». Пришлось, правда, при этом выбросить описание атомной войны и кое-какие эпизоды из жизни Неизвестных отцов, а так же Комиссию по Галактической Безопасности (так в первом варианте назывался КОМКОН-2) и энное количество «зандиц», «чертей» и «закаканцев» — это нынешний Главный «Невы» позволяет у себя в журнале и «жопы», и «засранцев» и даже эпитет...⁷, а тогдашний главный — Попов А. Ф., лауреат Сталинской премии, автор бессмертного фильма «Далекое плавание» — даже слово «дьявол» переносил не без труда...

Короче, все было очень мило, но тут в газете, как сейчас помню, «Известия» грянула статья под названием «Листья и корни», в коей два деятеля из Пушкинского Дома (Ленинград) поносили современную литературу за отрыв от почвы русской и отеческих корней. В одном абзаце авторы крепко дали по «Обитаемому острову» — главным образом за засилье технологии и терминологии. (Если судить по этому абзацу, наш ОО — сочинение вроде «Семи цветов радуги» — про самоходные трактора и самонадевающиеся ботинки.)

Мы утерлись и думали, что на этом все кончится, ан нет. Вдруг — необычное дело! — в издании ОО в Детгизе вмешалась цензура. Вообще говоря, цензура вмешивается крайне редко и требует, например, убрать номерные автомобильные знаки, упомянутые в тексте, или, скажем, планету Уран, или еще какой-нибудь бред вроде этого. Теперь же Главлит пошел на ОО стеной. Сначала заявлено было, что вообще не может быть речи об опубликовании. Потом позиция была смягчена, и был дан список более чем 300 (!) поправок — от отдельных слов до целых страниц, которые надлежало выбросить. Можно было только догадываться, что они хотели сделать Саракш как можно более непохожим на Землю, а поэтому надо было упразднить землеподобных животных, земные термины и т. д. А Детгиз — со своей стороны — внес предложение сделать Максима немцем. Так Ростиславский превратился в Каммерера. (Гораздо более жалко Неизвестных отцов, превратившихся по категорическому требованию Главлита в Огненосных Творцов.) В общем, мы учли тогда 240 замечаний, и повесть, хоть и с запозданием, но вышла.

С «Жуком» проблем почти не было. Правда, первое издание его в ленинградском сборнике редактировали два идиота, которым приходилось объяснять, что такое кроманьонец, и один из них вбил себе в голову, что стишки «стояли звери...» — это парафраз какой-то песенки гитлерюгенда; откуда эта идея взялась и кто ее породил, мне выяснить не удалось. Так что пришлось текст песенки слегка изменить, а эпиграф убрать совсем.

«Волны» вообще прошли в журнале без хлопот. Но, правда, они еще ни разу не издавались в книжке. Так что — посмотрим.

Для альманаха НФ (Вашего) всячески рекомендую Вам: В. Рыбакова, А. Столярова, А. Измайлова, С. Логинова, Н. Галкину, А. Щеголева. У всех у них найдутся хорошие вещи, способные сделать честь любому альманаху.

Желаю удачи, Ваш Б. Стругацкий.

⁷ Пропущено по цензурным соображениям. — *Ред.*

(От Бориса Стругацкого)
Ленинград, 18 августа 1988.

Дорогой Гена! Только что вернулся в Ленинград и спешу ответить на Ваши вопросы.

1. Фотографии тех времен если и сохранились где-нибудь в семейных альбомах, то — совершенно любительские и в типографии их не вытянуть. Могу прислать только более или менее современные — пяти-, десятилетней давности.

2. «Спонтанный рефлекс» у меня не сохранился. Он был опубликован, помнится, в «Знание — сила», так вот, ни одного номера я у себя не нашел. А зачем он Вам? Единственное его достоинство — что был это, кажется, чуть ли не первый в СССР рассказ о разумном кибере, а в остальном — жуткая ведь бодяга: завязка — кульминация — развязка — объяснение. Возьмите уж лучше «Извне» (повесть, разумеется) — там хоть исходная идея красивая: первые пришельцы на Земле — автоматы. До этого тогда никто, даже американцы, по-моему, не додумался.

3. Теперь об атмосфере тех лет. Связно писать об этом — значит потратить не час времени, а гораздо больше. Поэтому я предпочел бы отвечать на конкретные вопросы. Некоторые Вы задали. Отвечаю:

— Писать фантастику мы начали потому, что любили (тогда) ее читать, а читать было нечего — сплошные «Семь цветов радуги»⁸. Мы любили без памяти Уэллса, А. Толстого, Чапека, Конан Дойла, и нам казалось, что мы знаем, КАК надо писать, чтобы это было интересно читать. Было (действительно) заключено пари с женою А[ркадия] Н[атановича], что мы сумеем написать повесть, точнее — сумеем начать ее и закончить, — так все и началось. «Страна багровых туч» после мыканий по редакциям оказалась в Детгизе, в Москве, где ее редактировал Исаак Маркович Кассель после одобрительных отзывов И. Ефремова (который уже тогда был Ефремовым) и Кирилла Андреева, который сейчас забыт, а тогда был среди знатоков и покровителей фантастики фигурой номер один.

— В Детгизе нам покровительствовал главным образом К. Андреев — именно он принял на ура «Возвращение» и вообще всячески нас продвигал. А среди журналов главную роль сыграл «Знание — сила», но об этом лучше расскажет А. Н. — он с ними тогда контактировал. Чуть позже (уже в 60-х) нас взяла под крыло тогдашняя «Молодая гвардия», т. е. Белочка Ключева и Сергей Жемайтис. А Иван Антоныч в те времена очень к нам хорошо относился и всегда был за нас. В Ленинграде нас поддерживали тогда Дмитревский, работавший в «Неве», и Брандис — в то время чуть ли не единственный спец по НФ. Правда, Дмитревский так и не опубликовал нас ни разу, а Брандис все время упрекал Стругацких, что у них «машины заслоняют людей», однако же оба они были к нам неизменно доброжелательны и никогда не забывали о нас в тогдашних статьях своих и обзорах.

— Сопротивления особенного я не припоминаю. Ситуация напоминала сегодняшнюю: журналы печатали фантастику охотно, хотя и не все журналы, а в издательства было не пробиться — от «Детгиза» до «Мол. гв.». Помнится,

⁸ Научно-фантастический роман В. И. Немцова.





главное, что нас тогда раздражало, было абсолютное равнодушие литкритики. После большой кампании по поводу «Туманности Андромеды» литкритики, видимо, решили, что связываться с фантастикой — все равно, что живую свинью палить: вони и визгу много, а толку — никакого. Мы тогда написали несколько раздраженных статей по этому поводу — всё доказывали, что фантастика всячески достойна внимания литературоведов. Однако статьи эти напечатать не удалось — и слава богу! Сегодня их было бы стыдно читать.

Если у Вас будут еще КОНКРЕТНЫЕ вопросы, рад буду ответить.

Желаю всего доброго, всегда Ваш Б. Стругацкий.

Р. С. Да! Мне не очень понравилось Ваше сообщение, что наш «том в Томске выходит в начале года». Я же специально просил их выпустить нашу книгу во второй половине, а лучше — в последней четверти года! Они же нас под неприятности подведут: «Волны...» должны выйти в начале года в «Сов. писе», а там с этим строго. Один раз «Сов. пис.» уже расторгал с нами договор в аналогичной ситуации.

* * *

(От Бориса Стругацкого)
Ленинград, 12 сентября 1988.

Дорогой Гена!

1. Разумеется, я пришлю вам распечатку «Извне» (на расклейку у меня нет экземпляров) и перепечатку двух наших ранних (неопубликованных) статей об НФ и о критике НФ (это самый конец 50-х, а может быть, самое начало 60-х — даты на статьях, увы, нет). Однако все это я отдам в распечатку только после получения договора или гарантийного письма издательства. (Извините, но «таков наш примар», иначе мы тоже давно вылетели бы в трубу.) Тогда же пришлю и фото. Заодно.

2. Предисловие к сборнику ФАНТАСТИКИ Прашкевича я бы еще взялся, пожалуй, написать (хотя очень не люблю такого рода работу и делаю ее лишь в самом крайнем случае, когда другого выхода нет). Но предисловие к сборнику, где помимо фантастики есть еще и публицистика, и документалистика, и реалистическая проза — нет, увольте, за такое я не возьмусь ни за какие коврижки! Так что уж извините меня, Гена, великодушно.

3. Был тут у нас Пищенко⁹, змей лукавый. Перебаламутил всех наших цыплят, разозлил всех моих драбантов... Теперь будет у нас специальное собрание семинара на тему: вступать или не вступать в ВТО? Я намерен проводить идею, что вступать можно и нужно, но — с опаской, дабы Щербаковы и Медведевы не переродили начинающих, не изуродовали бы им вкус, не купили бы у них право первородства за чечевичную похлебку. Боюсь, однако, что все эти рассуждения — сотрясение воздуха. Молодые-опытные и сами это понимают, а молодые-зеленые ничего не воображают, им лишь бы напечататься, а там хоть трава не расти. Ах, как не хватает нам сейчас СВОЕГО издательства! И ведь не видно пока в волнах ничего, или почти ничего.

Желаю вам всего доброго, Б. Стругацкий.

⁹ Пищенко Виталий Иванович (род в 1952 г.) — писатель-фантаст, в 1988—1996 гг. — организатор и директор Всесоюзного творческого объединения молодых писателей-фантастов (ВТО МПФ).

(От Сергея Снегова)

Калининград, 13 марта 1988.

Дорогой Гена! Буду отвечать по порядку, чтобы не запутаться. Мысль писать фантастику томила меня еще до начала литературной работы. Она превратилась в потребность, когда я начал знакомиться с зарубежной послевоенной НФ. Писать ужасы — самый легкий литературный путь, он всего больше действует на читателя — почти вся НФ за рубежом пошла по этой утопанной дорожке! Стремление покорить художественные высоты показывали только Д. Оруэлл, Г. Маркес и еще очень немногие. Мне захотелось испытать себя в НФ как в художественном творчестве.

Я решил написать такое будущее, в котором мне самому хотелось бы жить. В принципе, оно соответствует полному — классическому — коммунизму, но это не главное. Проблема разных общественных структур — проблема детского возраста человечества. Я писал взрослое человечество, а не его историческое отрочество.

Для художественной конкретности я взял нескольких людей, которых люблю и уважаю, — у некоторых даже сохранил фамилии — и перенес их на 500 лет вперед, чтобы художественно проанализировать, как они себя там поведут. За каждым героем — человеком — конечно, стоит реальный прототип.

Я сознательно взял название уэллсовского романа. Прием полемический. Но не для того, чтобы посоревноваться с Уэллсом художественно. Уэллс один из гениев литературы, дай бог только приблизиться к его литературной высоте! Спор шел не художественный, а философский. Я уверен, что в человеке заложено нечто высшее, он воистину феномен — в нем нечто божественное. Думаю, он венчает эксперимент природы — либо неведомых нам инженеров, — смысл которого в реальном воплощении не мифов, а божественности. Энгельс писал, что человек — выражение имманентной потребности самопознания самой природы и что если он погибнет, то в ином времени, в иной форме природа рано или поздно вновь породит столь нужный ей орган самопознания. Это ли не божественность? Энгельс глубже Уэллса — во всяком случае, тут. Помните Тютчева?

...И мы, в борьбе, природой целой
Покинуты на нас самих.

Люди будущего у Уэллса — прекрасные небожители. Но быть прекрасным — не главная акциденция божества. У меня человек бросает вызов всему мирозданию (особенно в третьей части) — он ратоборствует с самой природой, той силой Спинозовской *deus sive natura*¹⁰. Схватка двух божеств — чисто божественное явление. Словом, Зевс против отца своего Хроноса в современном научном понимании. Это не мистика, не религия, а нечто более глубокое...

В первом варианте второй части я собирался послать людей в Гиады, проваливающиеся в другую вселенную, но потом выбрал Персей. В Гиадах было бы больше приключений, в Персее больше философии. Там главная идея — кроме утверждения высшей человеческой, то есть божественной морали — схватка человека с энтропией, представленной разрушителями. Разрушители — организация беспорядка, хаос; они — слепая воля природы. А люди — разум той же самой природы, вступившей в сознательную борьбу со своей же волей. Созна-

¹⁰ Бог, или природа (*лат.*).

тельную, ибо рамиры тоже борются со слепой стихией, но взять над ней верх не могут. Они во многом мощней людей, но лишены человеческой божественности.

Боюсь, изложение неясно. Уж очень трудна сама тема. После появления первой части читатели во многих письмах просили продолжения. Я, как всегда, нуждался в деньгах — все же один на всю семью зарабатывающий — и быстро написал «Вторжение в Персей». Снова требовали продолжения. Тут я поколебался, но все же написал. А чтобы не просили четвертой части, в третьей побивал многих героев — уже не с кем продолжать. По примеру М. Шолохова, покончившего с главным героем «Поднятой целины», ибо стало ясно, что ввести его в светлый колхозный рай уже не удастся за отсутствием такого рая. Думаю, Шолохову было много труднее, чем мне, расправляться со своими литературными детьми — они ведь не успели выполнить то великое дело, которое он предназначал для них. А мои по Шиллеру: «Мавр сделал свое дело, мавр может уйти».

Судьба первой части «Люди как боги» была не сладостна. Ее последовательно отвергли «Знание», «Детская литература», «Молодая гвардия», Калининградское книжное издательство. Основание — космическая опера, подражание американцам. Писали резкие рецензии Кирилл Андреев, Аркадий Стругацкий (он теперь вроде бы переменял отношение), В. Гаков (перемена отношения ко мне, но не к роману) и др. В общем, я решил про себя, что бросаю НФ, здесь мне не светит. Но случайно критик Э. Штейнман, написавший против моего первого романа «В полярной ночи» («Новый мир», 1957, № 4, 5, 6, 7) разгромную рецензию в «Лит. газете» и растроганный, что я не обиделся, не стал ему врагом, выпросил почитать отвергнутую рукопись и передал в Ленинград В. Дмитриевскому, а тот ее напечатал в сборнике «Эллинский секрет» (1966). Отношение к роману у критиков, особенно московских, недружественное. В. Ревич при каждом удобном — и даже неудобном — случае мучает меня, и не один он. В 1986 году Роскомиздат запретил печатать роман в Калининграде и только после моей личной схватки со Свининниковым (Войсунский называл Комиздат Свиниздатом) снял запрет, а Свининникова перевели в «Наш современник». Отношение ко мне вы можете видеть и по тому, что в справочнике для библиотек «Мир глазами фантастов» (86 либо 87 г.) глаза Казанцева и Медведева меня в чаще НФ не увидели — более мощные деревья заслонили меня. В общем, в сотню советских фантастов я не гош. Не обижаюсь — констатирую.

За рубежом отношение ко мне вроде иное. В Польше вышли два издания, в Японии — пять (первой части, сколько второй и третьей — еще не знаю), в ГДР — три издания, в ФРГ одно, готовится издание в Венгрии. А когда на немецком появились в изд. «Das neue Berlin» две первые части, в Лейпцигском университете состоялся семинар на тему «Будущее в романе С. Снегова» — и участвовали в нем литераторы, философы и физики!

Надеюсь, рецензия Комиздата на Вашу книгу будет хорошей. Вы для них — как и я — не из их «коды», но все же времена меняются. А если будут осложнения, езжайте сами в Москву. Я два раза туда ездил — и два раза сумел отстоять себя.

Нежно, крепко обнимаю Вас. Ваш — С. А.¹¹

¹¹ Снегов Сергей Александрович (наст. фамилия Козерюк, позже (по паспорту) — Штейн, 1910—1994) — писатель-фантаст и популяризатор науки, член СП СССР. Лауреат премии «Аэлита» (1984). Окончил Одесский физико-химико-математический институт. В тридцатые годы работал инженером на ленинградском заводе «Пирометр», там был арестован — в июне 1936 года, осужден на десять лет ИТЛ. Срок отбывал на Соловках и в Норильлаге. Там (совместно с историком и географом Л. Н. Гумилевым) составил «Словарь наиболее употребляемых блатных слов и выражений». Создатель первой советской «космической оперы» — «Люди как боги».

(От Владимира Немцова)
Москва, 28 ноября 1988.

Уважаемый Геннадий Мартович! Прошу извинить меня за задержку с ответом. Перенесенные болезни и плюс возраст не дают возможности работать в полную силу, а иногда и совсем повергают в вынужденное безделье, санкционированное врачами. А я не привык к безделью, оно для меня хуже болезни. Я много работал и много ездил. Побывал во многих странах, а в своей — чуть ли не во всех областях европейской части. Ездил по путевкам Бюро пропаганды СП с выступлениями перед читателями. А вот в Томск попал по командировке Союза писателей для проведения семинара по научной фантастике. Из Томска мне захотелось проплыть по реке Томи и по Оби. Ведь Сибирь я совсем не знал. Новосибирск просто восхитил меня. У него какая-то особая стать. Широкие улицы, не сдавленные небоскребами, что видел я в разных странах. К сожалению, и у нас сейчас возникает такая тенденция. А в Новосибирске дышалось легко. На улицах продавались первые весенние цветы «жарки», похожие на раскаленные угли. Пришла тогда шутовская мысль, что в самолет с таким букетом не пустят по причине пожарной безопасности.

Ну а если без шуток, то Сибирь поразила меня своей необжитостью. И я представил себе в этом необычном краю большие просторные города, современную промышленность. Ведь тогда еще не было дороги — БАМ, современных поселков при новых подземных разработках. Под этим впечатлением я приступил к работе над романом. Первая книга «Когда приближаются дали» вышла в изд-ве «Советский писатель» в 1975 году, а над второй — я еще продолжаю работать.

Вот Вам и ответ, что меня привело именно в научную фантастику. Не устаю повторять слова В. И. Ленина: «Надо мечтать!» Развивая эту мысль, он приводит высказывание Писарева: «Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать... если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим в цельной и законченной картине то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками — тогда я решительно не могу представить, какая побудительная причина заставила бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни» (В. И. Ленин. «Что делать?» Полн. соб. соч., т. 6, стр. 172).

О теории «фантастики ближнего прицела» я никогда не слышал¹², хотя некоторые из критиков — радетелей «чистой фантастики» — ругали меня за «приземленность», а однажды была даже статья в молодежной газете, которая называлась «Изменивший мечте». Да и теперь иные и критики, и редакторы торопятся объявить «техническую фантастику» устарелой. Мне же думается, могу даже утверждать, опираясь на свой жизненный опыт, как в технике, так и в литературе, что такая «теория» не имеет под собой основания. Дело ведь даже не в том, будет ли осуществлена в практической жизни та или иная техническая невидаль, придуманная автором книги, важно, как он об этом рассказал. Заставил ли читателей сочувствовать герою книги, маявшемуся в поиске решения технической задачи, и ненавидеть тех, кто мешает герою осуществить свой замысел

¹² Разумеется, Владимир Иванович тут несколько лукавил. Фантастику ближнего прицела он, собственно, возглавлял, но видно, что очень достали его литературные критики и недоброжелатели.



на благо людям. А если в читателе (тем более юном) заложена изобретательская жилка или способность к конструированию, то такая книга как раз и поддержит его в таком деле, оно станет для него любимым, и тогда, как предрекал великий Горький, большие вопросы политехнизации школы будут решаться легче.

А сейчас, в период революционной стройки страны, технического перевооружения, такие книги для юношества просто необходимы, на мой взгляд. Вы затеяли благородное дело¹³. Ответить же на все Ваши вопросы затрудняюсь.

На развитие этого жанра в первую очередь, конечно, влияли классики. Когда-то в разговоре я услышал от первого космонавта Земли Юрия Гагарина: «А «Аэлиты» -то еще никто не написал». Работающих в этом жанре было много, а кто влиял на развитие — сказать трудно.

С Вадимом Охотниковым¹⁴ я действительно был знаком. Человеком он был добрым, и, как мне казалось, голова его была переполнена всякими техническими идеями. Я хорошо знал Л. Лагина. «Старик Хоттабыч» его стал классикой. А. П. Казанцев — мой друг. Человек разносторонне талантлив и неутомимый труженик. С С. Беляевым был знаком, но знал его мало.

Уважаемый Геннадий Мартович, посылаю Вам три рассказа («Шестое чувство», «Снегиревский эффект», «День и ночь») для Вашей Антологии (если не опоздал). Они взяты из сборничка «Шестое чувство», о котором Вы упоминаете. Книг моих действительно нет, хотя изданий насчитывается уже больше сорока, примерно столько же на языках республик наших и зарубежных стран. Посылаю Вам свою автобиографическую книгу (2-е издание, «Молодая гвардия», 1975).

Желаю Вам успехов. Вл. Немцов¹⁵.

* * *

(От Бориса Штерна)
 Киев, 17 января 1990.

Гена! Славомир (который Кендзиерский¹⁶) прислал мне открытку. Пишет, что наша с тобой книжка должна появиться в Варшаве уже в январе. Возникает естественная мысль — а не съездить ли нам в Варшаву за гонораром?

Конкретно вот что получается: Людочка Козинец сейчас уехала на семинар ВТО в Ислочь. Как видно, Славомир там тоже будет (Пищенко его пригласил). Я попросил Людмилу поговорить со Славомиром насчет задержки нашего гонорара в Польше и насчет нашего приезда. Она это сделает, но — она в сентябре была в Польше, и говорит, что из-за инфляции все эти гонорары становятся настолько копеечными, что нет никакого смысла за ними ездить — на ресторан не хватит. А сейчас инфляция еще пуще.

¹³ В самом конце 1980-х гг. с писателем и поэтом Николаем Константиновичем Гацунаевым мы подготовили «Антологию советской фантастики (1917—1957)» в двух томах. Выйти она должна была в изд-ве им. Гафура Гуляма (Ташкент), но этого не случилось из-за общего развала страны.

¹⁴ Охотников Вадим Дмитриевич (1905—1964) — писатель-фантаст, инженер, изобретатель, заслуженный деятель науки и техники, член Союза писателей СССР.

¹⁵ Немцов Владимир Иванович (1907—1994) — писатель-фантаст, изобретатель, популяризатор науки, публицист, член СП СССР. Увлекался радиоэлектроникой, в годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде налаживал выпуск радиоаппаратов для Ленинградского фронта, принимал участие в организации военного радиозавода в Баку, был его главным инженером. Получил более двух десятков авторских свидетельств как изобретатель. Один из видных представителей фантастики «ближнего прицела».

¹⁶ Польский прозаик и переводчик.

В общем, пусть Славомир скажет свое весомое слово на этот счет.

Киевская газета «Великое кольцо», которая на все 100 % (по сентябрьским прогнозам) должна была выходить с Нового года, — выходить не собирается. Нет помещения, нет счета, нет бумаги, нет закона о печати, а есть суета и пустое место. М. б., к весне-лету все же газета появится.

«Игрушки»¹⁷ у меня. Кроме этой газеты, я хочу показать твои «Игрушки» Иванченко в симферопольском «Варианте» — опять же, херня в том состоит, что и сие колесо очень медленно и туго раскручивается.

С превеликими трудами ушли в печать две книжки (одна — Чейза, вторая — сборник НФ «Огонь в колыбели» (Иванченко, Астахова, Клугер, Козинец, Тибилова, Логинов и еще три-четыре автора... Забыл, Штерн тоже... Сборник этот очень неровный, но сильнее ВТОшных), третья книжка зависла между небом и землей (между издательством и типографией — бумаги нет), а четвертая и пятая (Шекли и что-то еще) вообще не могут выйти из состояния грязных машинописных экземпляров. Принята (ее сейчас сокращают!!!) повесть Шекли. Вот народ.

Гена, мы с тобой очень хорошие писатели! — это ужасно.

Гланц молчит. Она (из Вильнюса) молчит. Что-то будет с нашими туманами в ботинках?¹⁸ Зря трудились?

Обнимаю. Подождем польских новостей. Б. Штерн.

* * *

13 января 1991¹⁹.

Дорогой Генка! Мы тебя любим.

А. Стругацкий.

Лена.

新年明けましてお目出度う!

С Новым годом!

* * *

(От Евгения Войскунского)

7 января 1991.

Дорогой Гена! Сегодня — Рождество Христово, праздник, снова входящий в нашу жизнь. На душе как-то печально и в то же время просветленно. Давно уже душа освободилась от осточертевших догматов, а ведь для ее наполнения заново нужна еще одна жизнь — где же ее взять? Надо что-то делать с той, что осталось дожить. После смерти моей Лиды я не надеялся выжить. Полвека любви — не шутка, не каждому человеку такое выпадает. И, конечно, правиль-

¹⁷ Рассказ «Игрушки детства».

¹⁸ На одном из фанконов, кажется в Николаеве (Украина), Боря Штерн, Толя Гланц и я, подстрекаемые литовской критикессой Оной (фамилии, к сожалению, не помню), договорились, что каждый из нас напишет фантастический рассказ под (одним для всех) названием «Туман в ботинке» («Ту ман патинки» — «Ты мне нравишься» по-литовски). Предполагалось, что Она издаст книжку в Вильнюсе, но этого не случилось, вскоре всем стало не до фантастических книжек. Написанные нами рассказы сходились под одной обложкой только однажды — в каком-то волгоградском сборнике; кроме этого, мой рассказ печатался еще в Нью-Йорке и в Москве, рассказ Бори Штерна — в Киеве и в Одессе, Гланца — в Израиле.

¹⁹ Новогоднее поздравление от Аркадия Натановича и его жены Елены Ильиничны.

нее было бы уйти вместе с ней (как когда-то вместе ушли Цвейги). Не хватило духу. Нам хотелось состариться вместе. Но с судьбой не поспоришь. Что же делать с остатком жизни, да еще в разваливающейся стране среди ожесточившихся людей? Не знаю.

Внешне — как-то наладилась жизнь. Я женился на женщине немолодой, любящей меня. Снова начал работать, то есть писать. Но душа постоянно полна печали. Год назад, когда я лежал на операционном столе и меня взрезали, как консервную банку, я отчетливо увидел в черной космической пустоте ярко освещенное пятно и поднялся к нему, там были люди, вернее, неясные фигуры в белом, и я знал, что там — моя Лида, и я не то чтобы услышал ее голос, а просто до меня дошло: нет, еще рано. И тут я услышал уже явственно: «Е. Л., проснитесь, операция давно закончена». И я проснулся. Был ли это просто сон? Или не просто? Не знаю.

Наверное, я пишу Вам все это потому, что Ваше письмо очень меня тронуло. Хорошее, искреннее письмо. И я от всей души благодарен Вам за него, хотя понимаю, конечно, что Вы несколько «переживаете» в оценке моего романа²⁰. Но в главном — в понимании треугольника главных событий (я их определяю как «трое в одной лодке») Вы совершенно правы.

Да, Лида прочла всю рукопись. Успела. Ей нравился роман. Будет ли еще книга? Если Бог даст время и силы, то, возможно, будет. Сейчас у меня в работе повесть, которую надеюсь закончить к лету. А потом — потом надо приниматься за третью книгу. Полвека нашей любви взывают к ней. Чувствую необходимость для этой огромной работы наполнения души, но много, много еще надо обдумать — в частности, форму... Мне еще потому так дорого Ваше письмо о моей книге, что теперь почти никто книг не читает. Читают газеты, журналы, «горяченькое». А толстую книгу мало кто раскрывает. Такие времена.

А от Вас жду обещанную книгу. Мне запомнились люди Огненного Кольца, и Колька Зырянов очень запомнился. Вы равно хорошо и живо пишете и фантастику, и реальную прозу. И я от Вас многого жду. Еще раз спасибо за прекрасное письмо. Привет Вашей семье.

Обнимаю дружески — Е. Войскунский.

* * *

(От Евгения Войскунского)
 Малеевка, 4 марта 1991.

Дорогой Гена! Получил Ваше письмо: на днях ездил домой и забрал накопившуюся почту. Мы с женой с 10 января в Малеевке. Вот кончается второй «срок», послезавтра вернемся домой, и после малеевской беззаботности я просто не знаю, как будем добывать пропитание в полуголодной Москве. Жутковато заканчивается 73-летний эксперимент. Мне, знающему, что значит настоящий голод, особенно жутко. Вдруг без войны, без чумы — разваливается огромная страна. И как быстро!

Мне кажется, я пережил несколько жизней. Первая — довоенная, так сказать, щенячья, бакинское детство, полудетская влюбленность (в Лиду!). Вторая — война, огонь, гибель, блокада, случайное выживание. Третья — большой и счастливый массив жизни вместе с моей любимой. (Сюда входят и послевоенная флотская служба, и демобилизация, и Баку — город, полный друзей,

²⁰ Войскунский Е. Мир тесен. — Москва, 1990.



и переезд в Москву.) Затем — московский период, тоже счастливый — до кончины Лиды. Опять выживание, может быть, тоже случайное. Страшная катастрофа. И вот пошла последняя из моих жизней. Как-то наладилась она, я уже не погибаю от одиночества, но — рушится жизнь вокруг, все больше приобретаю отчетливый апокалиптический рисунок.

А в Малеевке — хорошо! Лес, тишина, скрип снега под ногами. До неприличия хорошее питание (надо наесться впрок!). Ситуация «Декамерона»: во Флоренции чума, а мы сидим на загородной вилле и рассказываем друг другу байки. Мне тут хорошо работается. За полтора месяца написал больше 2-х листов. Для меня это очень много (я пишу медленно). Новая вещь понемногу подвигается. Как всегда, я полон сомнений...

Ваши письма я люблю, они очень живые. Дай Вам бог не терять интерес к жизни — и работать, работать. Жду Ваших книг.

Привет жене. Обнимаю сердечно — Е. Войскунский.

* * *

(От Евгения Войскунского)

Москва, 12 октября 1991.

Дорогой Гена! Уже неделю или больше ловлю себя на мысли: давно нет писем от Прашкевича, давно не видно милого динозаврика, коего Вы ставите в конце письма (вместо vale). И вдруг вспомнил, что, кажется, не ответил на Ваше письмо и не отозвался на присланные книги. Извините, Геночка. Такая жизнь крученная, со всякими неожиданностями, такое ощущение всеобщего развала... Конечно, это меня не оправдывает. Связи между спесивыми республиками — это одно, связи между людьми — совсем другое, и не дай бог разорвать их. Итак, возобновили переписку.

Спасибо за присланные журнал и книгу. «Кота на дереве» я прочел не сразу, а в два приема. У Вас хорошее, острое перо, нет неработающих фраз. А по значимости (социальной и художественной) лучшая вещь сборника, конечно, «Другой». У меня когда-то были мысли (не ставшие замыслами) о повести или романе (фантастическом), в основу которого надо положить страшные преступления красных кхмеров в «демократической Кампучии». Выстраивается такой ряд: нарастающая по мере движения на Восток коммунистическая ярость в истреблении людей. Мы. Потом Китай — времен «культурной революции». И как апогей — Камбоджа. В самой истории XX века выстроился этот ужасный, восходящий к апокалиптическим событиям ряд. И вот вопрос: не заверчивается ли этот ряд, эта прямая — в спираль и не придется ли новый виток эскалации опять на нашу несчастную страну?..

Так вот. Ваш «Другой» мне интересен не только потому, что хорошо написан, но и потому, что перекликается с моими мыслями. Очень точно — художественно точно — написан Кай — «новый человек», искусственно созданный в тоталитарном государстве, обрекающем свое население на массовую гибель. Ваши братья Кай и Тавель как бы поменялись своими библейскими местами — запоминающиеся персонажи человеческой трагедии XX века. Гена, а где обещанный исторический роман?²¹

²¹ Роман «Секретный дьяк, или Язык для потерпевших кораблекрушение» вышел в свет гораздо позже (Москва, изд-во «Текст», 2001). Я работал над ним с начала семидесятых до самого конца восьмидесятых. В письме речь идет о рукописи, которая еще была в работе.

Трудные времена. И поражает ускорение, с которым движется XX век к своему концу. В 70-е, 80-е годы время тянулось, тянулось, ничего не происходило — и вдруг лавинообразное ускорение. Ни дня передышки.

Вру, передышка у меня была. В конце июня я с группой ветеранов обороны Ханко был — по приглашению финского общества ветеранов Ханко — там, на Гангуте, где полвека назад девятнадцатилетним юнцом начинал войну. Четыре дня мы провели в этом благословенном, тихом, безмятежном уголке Финляндии. Господи, есть же такая жизнь — благополучная, без ненависти, без надрыва, то есть истинно человеческая... Ну, понятно, нахлынули воспоминания... Четыре дня в раю земном.

Ну ладно, Гена. Пишите. Привет Вашему семейству.
 Дружески — Е. Войскунский.

* * *

(От Абрама Палея)
 Москва, 21 мая 1992.

Дорогой Геннадий Мартович... зигзаги пространства и времени... и потому не скоро дошла до меня Ваша книга «Посвящения»²². Я знал, что она вышла, — из «Книжного обозрения», но и тогда огорчился, что тираж такой малый. Тем более — большое спасибо.

А стихотворцы всегда стесняются говорить о себе — «поэт», как советовал говорить Пристли. Мы с Вами разные; наверное, так и надо. В моих стихах (которые я уже закончил писать) преобладает настроение, в Ваших — непрекаемая афористичность. «Кожу сморщило время» — куда ни шло, на слуху. А вот что оно «валуны превратило в песок» — это уже говорит о гигантской способности представления о неисчерпаемости времени.

Стихи Ваши набраны в отдельные строки, а читаются слитно. В Справочнике СП сказано, что Вы прозаик. А вот Андрей Белый писал рифмованной прозой, он-то наверняка не «поэт». «Как говорил Заратустра» написана вроде бы обыкновенной прозой, но Ницше безусловно поэт. Вы, по-моему, ближе к нему, а не к Белому.

Был бы рад (если так и не придется увидиться) получить от Вас вести — как живется (трудно), как публикуется (сложно). В этих вопросах и мои тоже ответы.

С огромным уважением — А. Палей²³.

* * *

(От Момы Димича)
 Белград, 6 июня 1993.

Дорогой Геннадий! Вот минуло уже десять лет, как мы встретились в твоём незабвенном Академгородке. Многие изменились, и много изменилось, хоте-

²² «Посвящения», книга стихов (Новосибирск, 1992).

²³ Палей Абрам Рувимович (1893—1995) — писатель-фантаст, поэт, очеркист, член СП СССР. Очень живой сухонький человек, невероятно любопытный. Я переписывался с ним и даже был у него дома в Москве — в день его столетия.

лось бы снова встретиться, тем более что в мире многое изменилось. Рассекли нас на две земли. Но я надеюсь, что мы остались такими, каким были. Не так давно, в феврале этого года, умерла наша великая Десанка Максимович²⁴. Она всегда надеялась, что ты однажды приедешь из Сибири и посетишь ее родной город, где она теперь похоронена. Возле нее лежит и ее покойный супруг, он был русский — Сергей Калужанин, детский поэт. И вот в этом году мы собираем международную встречу писателей в Белграде, а также в Браквиче, где пройдет традиционный фестиваль «Славянская поэзия Десанки».

Мы очень хотели бы, чтобы наконец в этом году ты был бы нашим дорогим гостем.

С Союзом писателей в Москве мы продолжаем поддерживать отношения и надеемся, что все будет, как и раньше. Боюсь, они не смогут, как прежде, сильно помочь тебе с этой поездкой и облегчить получение визы и прочих формальностей, мы сами будем пытаться, сколько можно, сделать это отсюда, от нас, тем более что есть в России несколько благожелательно настроенных фирм, например, «Брача Карич» и другие, которые помогут с билетами до границы, потому что до Белграда самолетом сейчас невозможно добраться из-за воздушной блокады; только поездом, автобусом или авто.

Ты должен увидеть, что такое блокада.

Напиши нам, сможешь ли ты к нам приехать?

Хорошо бы получить подробности о твоих новых книгах, чтобы заранее знать о них и объявить о них у нас здесь. Я сам издал несколько новых книг, в одной даже описал путешествие в Сибирь. Она осталась для меня настоящей большой любовью и великой тайной. Одна глава так и называется: «Неожиданное путешествие в Сибирь», там, кстати, рассказано и о тебе.

²⁴ Десанка Максимович (1898—1993) — сербская писательница и поэтесса, член Сербской академии наук и искусств. Мы встречались с нею, переписывались, Десанка переводила на сербский мои стихи, я не раз представлял ее стихи русским читателям. О Сербии Десанка умела писать как никто. Вот одно из ее стихотворений (в моем переводе).

В детстве
мы не видели
ни зверинца, ни ботанического сада,
никогда не любовались желтыми мимозами,
не слышали о попугаях, — козы и овцы окружали нас,
лилии цвели на озерах, на полях волновалась моря пшеницы.

Какие музеи?
Если мы что-то видели,
то всего лишь иконы святого Саввы
или любительскую мазню герцеговинских ребят,
что же до статуй, они не могли нам даже присниться,
потому что кладбища наши были простыми.

До самой юности,
до самого совершеннолетия
мы не бывали ни в каких столицах
и знали о мире только то, что мы в нем родились.

И все равно,
не зная языков, политики, книг,
не представляя, что там лежит за следующим поворотом дороги,
никому не известные, ни с кем не знакомые,
именно мы меняли судьбы империй,
потому что наша провинция
могла предложить миру
только нас самих!

Есть ли у тебя проблемы в том, что пишу тебе на сербском? Или писать на английском? Мне пиши на мой домашний адрес или на адрес Союза сербских писателей. Очень надеюсь тебя увидеть.

Привет — Мома Димич²⁵.

* * *

(От Виктора Астафьева)
 Красноярск, 21 апреля 1994.

Дорогой Геннадий! В настоящее время я нахожусь в больнице, а рукопись романа «Прокляты и убиты» (вторая книга — «Плацдарм») в «Новом мире» читается, и что из этой читки получится — пока не знаю, но что будет еще работа — несомненно.

«Плацдарм» взял все мое здоровье и силы, более я ничего не писал и написать был не в состоянии, так что прислать вам нечего. А чего «Сибирские огни» достигли? А «Земля Сибирь» жива ли? Надо было бы сохранить старейший сибирский журнал с давней хорошей репутацией «Сибирские огни», а уж потом, наверное, в лучшие времена начинать новый журнал. Или я неправ? У нас в Красноярске выходит журнал для семейного чтения «День и ночь», но держится он на подачках богатых людей. Я не уверен, что долго продержится²⁶. Доброго вам всем здоровья, успехов.

В. Астафьев.

* * *

(От Бориса Штерна)
 Киев, 21 апреля 1994.

Гена, дорогой! Новость о твоём журнале²⁷ очень об-на-де-жи-ва-ю-ща-я и во-о-ду-шев-ля-ю-ща-я! Я очень впечатлился (суммой предполагаемого го-

²⁵ Мома Димич — прозаик, один из руководителей Союза писателей Сербии. Мы встречались с ним в Новосибирске и много говорили о будущем. Кое о чем мы уже тогда догадывались, будущее нас пугало, но мы никакого представления не имели о том, каким оно окажется.

²⁶ Продержался, благодаря энтузиазму красноярского прозаика и поэта (главного редактора журнала) Романа Солнцева (1939—2007), и до сих пор держится. Несколько лет я работал в редколлегии «Дня и ночи»; убежден, что у подобного рода изданий (литературный журнал для семейного чтения) есть будущее.

²⁷ Литературно-художественный журнал «Проза Сибири» был задуман и издавался Аркадием Пасманом и Леонидом Шуваловым — моими новосибирскими друзьями, людьми талантливыми, пишущими, многое понимающими. Девяностые годы были как взрыв: обрушилось отечественное книгоиздание, хлынул на рынок (до этого сказали бы — к читателям) поток самой низкопробной литературы, а то ценное, человеческое, что, конечно, еще продолжало появляться, далеко не всегда доходило до Сибири. Мы хотели давать читателям качественную литературу, потому и договаривались с каждым автором отдельно и, конечно, платили им гонорар. Делали журнал: главный редактор — Г. М. Прашкевич, редакторы — драматург Замира Ибрагимова и прозаик Владимир Клименко. Практически с каждым автором журнала я договаривался сам, в итоге «Проза Сибири» соединила на своих страницах творческих людей, казалось бы, совершенно непримиримых. В итоге дали согласие сотрудничать с нами (и сотрудничали): Виктор Астафьев (Москва), Александр Бирюков (Магадан), Кир Булычев (Москва), Владимир Войнович (Москва — Мюнхен), Евгений Войсунский (Москва), Георгий Гуревич (Москва), Сергей Другаль (Екатеринбург), Евгений Евтушенко (Москва), Василий Коньяков (Новосибирск), Виктор Колупаев (Томск), Владислав Крапивин (Екатеринбург), Юрий Магалиф (Новосибирск), Вильям Озолин (Барнаул), Валентин Распутин (Иркутск), Марк Сергеев (Иркутск), Роман Солнцев (Красноярск), Борис Стругацкий (Санкт-Петербург), Вадим Шефнер (Санкт-Петербург) и многие другие. К сожалению, поставить журнал на самоокупаемость нам не удалось. Главная причина — социальные потрясения.

норара тоже). Вот было бы здорово, если бы журнал состоялся! Готов отдаться журналу с потрохами — специально писать для тебя («специально» в том смысле, чтобы попадать в тональность журнала) и отдавать в первопечать все, что тебе подойдет.

Теперь — вопли. Не советы, а именно вопли. Не публикуй эту дурную фантастику. Ни малеевскую, ни текстовскую, ни молодогвардейскую, ни петербургскую! Никакую! Михайлов уже пытался сделать из «Даугавы» журнал фантастики — неудачно, и не только из-за политики. Не нужно это. Нормальная крепкая литература нужна — а если она будет со странностями, с уклоном в фантастику — вот и отлично. Хорошие писатели нужны — а если появятся рукописи вроде «Человека-невидимки» или «Пикника на обочине» — публиковать, не разбирая, «фантастика» это или «не фантастика».

И еще. За последние пятнадцать лет мы прекрасно увидели, кто чего стоит, кто писатель, кто не-писатель, кто издатель, кто делец, кто книгопродавец, кто вообще никто. Все расчудесно раскрылось, все очень понятно стало, хотя я и прежде не особенно заблуждался. Ну их всех в дупу! Недавно показали по РТР семинар Бориса Стругацкого — он в порядке, он при исполнении, но вокруг него сидели все известные тебе семинаристы — всем далеко за сорок — и всерьез рассуждали о том: «Поэт в России больше, чем поэт, или меньше?» Стыдоба!

Отсылаю тебе три рукописи. О Чехове. Это фантастическая биография Чехова. Писал ее с удовольствием и считаю, что получилось удачно. Чехов — он Чехов, о нем всегда интересно и читать, и писать. У Моэма в статье «Искусство рассказа» есть изложение чеховской биографии. Я вначале прицепил свой вагон к паровозу Моэма, а потом сам поехал. Возможна хорошая литературная мистификация — неопубликованный текст Моэма, найденный под подушкой. Можно несколько строк от редакции: мол, неизвестный текст Моэма, но редакция ответственности не несет. Я бы сыграл в эту игру. Материал интересный, литературный, юбилейный — в этом году девяносто лет со дня смерти Чехова; может вызывать всякие забавные волны и разговоры. Но можно и не мистифицировать, публиковать под моим именем. На твое усмотрение. Но я бы поиграл. Чтобы жить стало веселее. Обрати внимание: Чехов о Ленине, Чехов о Владимире Сорокине...

Мишель Шлиман. Эта повестушка под вопросом. Тоже как бы биография двойника знаменитого Генриха Шлимана. Кажется, я перехулиганил Мишеля. Не знаю, посмотри. Там, кстати, есть твой анекдот о монахах в тайге и мои старые нижневартовские впечатления. Вообще, если будут конкретные деловые соображения насчет чего-то «добавить», «переделать», «сократить», «развить» — я никогда не против, могу повкалывать — но только не давай никому текст редактировать без меня. Хотя, конечно, я иногда перебираю со смефүчками и недобираю в серьезе, меня надо немного «доворачивать», немного со мной «работать».

Моцарт и Сальери. Правда, эта «пиеса» уже издана в моей одесской книжке, но... Кто эту мою книжку видел и увидит? Даже у меня ее до сих пор нет. Если понравится — бери для журнала.

Да, еще о «Чехове» Эта рукопись сейчас находится в Москве. В газете «Литературные новости». Возможно, они решат опубликовать, но в июле, — хотя она для них большая, не газетная, на два листа. Потом, я месяц назад послал ее Стругацкому — он может предложить ее в ленинградскую (питерскую)

то бишь) «Звезду». Если возьмешь «Чехова» в свой журнал — ответь, и я зарублю все эти планы.

Как журнал называется? Откуда такие великолепные гонорары? Он кем-то спонсируется? Будет ли какое-то определенное («сформулированное») направление?

Поздравляю от всей души с «Аэлитой»²⁸. Все правильно, им давно надо было это сделать. Я говорил когда-то в Свердловске (кажется, Сергею Казанцеву): почему дали «Аэлиту» Корабельникову, а не Прашкевичу? В ответ что-то невразумительное — мол, молодому надо дать. И вот дозрели. Я очень рад.

Насчет моего приезда на «Аэлиту» — наверно, не нужно говорить об этом с Бугровым. Дорога очень уж дорого стоит. Надо поездом пилить в Москву, потом в Екатеринбург — а один лишь билет из Киева в Москву стоит 20—25 долларов (у спекулянтов, в кассах нет). И потом, я уже почти год не пью, а на твоей «Аэлите», конечно же, сорвусь с крючка. Нельзя. Жаль, хочется повидаться... но что же делать?

Сейчас включаю принтер, перепечатаваю тексты и иду на почту. Гена, пусть твои журнальные спонсоры купят компьютеры для журнала и всякие принтеры и ксероксы. Один компьютер забери домой и освой простой русский редактор «Лексикон» — это несложно, через неделю-вторую забудешь о машинке, уже не сможешь к ней вернуться. Очень уж удобная штука, особенно в саморедактуре — исчезают черновики, все тексты всегда на экране, очень облегчает, убывает, исчезает механическая работа.

Тьфу, черт, только что Сидорович звонил с Николаевым. Прямо-таки требует, чтобы я приехал в Питер. Ой. И отказывать неудобно... но и ехать нельзя. Что-то я стареть стал, боюсь поездов и пьянок. Все. Жму руку! Жду новостей. Очень нужны хорошие новости.

Твой Штерн.

* * *

(От Надежды Черновой)
 Алма-Ата, 1995.

Геннадий Мартович, свет очей моих! О, как рыдал Барон²⁹, когда я зачитала ему то место в письме, где Вы пишете о том, как написали бы обо мне — «о первом дуновении с моря, об этой давящей стене ветра» и т. д. Он с Вами совершенно согласен, особенно что касается «давящей стены ветра», ибо давление сие испытывает на себе довольно часто, спасаясь в своем кабинете, в кресле, которому была бы рада любая уважающая себя помойка, в клубах табачного дыма из вишневой трубки, привезенной из Парижа (но табак, увы, наш, натуральный самосад!), — стена ветра всюду его достает и в разгар самых сладостных медитаций требует к заветной жертве, например, пылесосить ужасный туркменский ковер, который нам подарила мама, и мы подыхаем от пыли. Правда, ковер исправно дерет наш кот Степан Бек-Софиев, но работы там еще много — ковер необъятен и кроваво-багров. Поскольку мой муж не только барон (есть в Германии, в Швабии, станция Кнорринген — оттуда и его предки родом), но еще

²⁸ В мае 1994 г. я стал лауреатом «Аэлиты» — всесоюзной, самой почетной на то время награды в отечественной фантастике.

²⁹ Муж Н. М. Черновой.

и очень восточный человек (другие его предки носили очень длинную фамилию Кули Бек Софиевы оглы и служили у Шамиля (они, вероятно, лезгины), то как очень восточный человек он обожает всяческие трубки, ковры, жен, лен и т. д. Но на всякого ленивого восточного человека, склонного к бесплодной философии, всегда найдется «давящая стена ветра с моря», в данном случае в лице меня, т. е. столбовой внучки казачьего есаула, который когда-то участвовал в антисоветском мятеже и крепко уважал питье. Уф! Ну и фразу я закатила — вот как меня взволновали прекрасные Ваши слова и стихи о таинственной незнакомке, которую Вы ревновали «ко всему и ко всем». Это божественно! Вы прекрасны в каждой строке, и не дай бог нам однажды встретиться вживе. Что может быть лучше тумана (поэтического), воображения и т. д. Виртуальный мир уже назван реальностью, и потому с радостью сообщаю Вам электронный адрес журнала «Простор» (у меня лично такого адреса нет, да и компьютер сломан — я люблю пиш. машинку и никогда ей не изменю). Вы это должны прочитывать так: и никогда не изменю также Вам! <...> Нас читает даже Эфиопия! Дискеты с названными Вами вещами я не получала, ее не было в бандероли, клянусь нашим туркменским ковром! Книжки были, фото были, а дискет — не было. Вероятно, Вы их забыли вложить, не могли же их вынуть на таможне? К нам спокойно приходят дискеты и из России, и из Киргизии, и т. д. Может, в самом деле, попробовать по электронной почте? Нам таким макаром присылали рукописи из Америки, из Иркутска, из Израиля. Боже мой, я бьюсь о Ваше письмо от отчаяния, что не получу ни роман «Русская мечта», ни повесть «Царь-Ужас», ни Ваши воспоминания!

Но ведь эта потеря не навсегда, и Вы все пришлете мне, да?

Говорила ли я Вам, что я тоже теперь бабушка? Моей внучке Алене уже три месяца (Козерог и Змея). Обожает стриптиз и гуляние, а также когда я ей пою всякую белиберду. Хотя я и бабушка, но внешне юна, как «ветер с моря» и «вспышка на фиолетовом небе», потому что молоды Ваши губы, выдыхающие эти слова! Барон снова рыдает. А я Вас обнимаю — N³⁰.

* * *

(От Георгия Гуревича)
 Москва, 12 июля 1994.

Дорогой Геннадий! Во-первых, поздравляю с «Аэлитой». Это приятно и почетно. Теперь навек Вы внесены в список лучших фантастов всех 12 разоб-
 щенных государств (12-кратный лауреат). «Аэлита» по-прежнему так же кра-
 сива и основательна? И родонит есть, и черный мрамор?

Ужасно жалко Бугрова³¹. И почему это лучшие люди умирают раньше? Я глубоко уважал его. Бугров был Великим Работягой. Я уверен, что мир спасет не красота, а работяги.

³⁰ Чернова Надежда Михайловна (род. 1947) — поэтесса, переводчица, литературный критик. Работала в редакции журнала «Простор» (Алма-Ата). Человек широкий, открытый. При ней в журнале были опубликованы мои повести и романы: «Приключение века» (1988, № 11), «Демон Сократа» (1991, № 10), «Возьми меня в Калькутте» (1993, № 4), «Тайный брат» (1994, № 8), «Бык» (1997, № 10—11), «Язык для потерпевших кораблекрушение» (третья часть романа «Секретный дьяк», 2000, № 10), «Подножье тьмы» (2011, № 6) и др.

³¹ Виталий Бугров, один из самых близких моих друзей, прозаик, историк фантастики, эссеист и литературный критик, умер в Екатеринбурге в ночь с 23 на 24 июня 1994 г.



«Приключения мысли»³² написаны, все 12 глав (русел). Проходит стадия подчистки. Надеюсь послать Вам числа 25—30 июля. Прошу простить мне некоторые незаконченные чистые страницы. На перепечатку нет сил, лишнего месяца и денег. Две ленты за перепечатку для меня слишком много.

Вам разрешается сокращать слова, абзацы и даты 1 и 2 главы, если покажутся лишними. Вписывать никакому редактору я никогда не разрешал ни глав, ни абзацев, ни слов. Сейчас живу в Переделкине, и, если верить Нелечке, буду жить до середины августа. Живу, как всегда, в корпусе и с каждым годом все меньше общаюсь. В столовую хожу раз в день на обед — трудно, ноги не желают. Сдаю, постепенно гасну. Вовремя успел написать отчет — «Приключения мысли». А за дверью — до балкона — великолепная пышная зелень, сияющая на солнце. Буйная жизнь идет своим чередом. Желаю Вам бурного (не буйного) успеха в создании подлинно литературного журнала.

Привет Лиде, Лене и Гомбоджапу. Есть ли у него сейчас какая-нибудь должность, например, Хранитель спокойствия и равновесия главного редактора?

С самыми лучшими пожеланиями всегда — Гуревич.

* * *

(От Георгия Гуревича)
Москва, 23 января 1995.

Дорогой Геннадий! «Прозу Сибири» я получил. Спасибо, и еще раз поздравляю. Это великое дело в наше время — не только затеять, но и выпустить журнал. Общее впечатление — добротное. Литература, ни одной халтурной вещи. Больше других понравились Другаль, Декельбаум и Момерсет³³. «Дни по Фрейду»³⁴ прочел просто с увлечением, а на «Мифологии детства»³⁵ заскучал. Мастерски описано, литературно, но скучно. Скучны мне детские впечатления будущей домашней хозяйки. Может быть, она и стала писателем, но все равно круг интересов домашний.

Из этого перечня видите, что вкус у меня, как и был, — среднечитательский. Меня интересует действие и развитие. Я хочу знать, что мне хотел сказать автор и как он это говорит. С чего началось, к чему привело? «Что вы хотели сказать?» — ужасно мучил я своих семинаристов. Они не могли ответить и затали на меня обиду.

³² Горжусь тем, что уговорил Георгия Иосифовича написать эти воспоминания. «Когда принято было сидеть — сидел, а когда пришлось воевать — был солдатом» — так он пишет. Все просто, все воспринимается. Даже о школьном литературном кружке написано со скрытым юмором (вовсе не обязательно считать его черным): «Побывал у нас Борис Пильняк (позже расстрелян), Сергей Третьяков (тоже расстрелян), Лев Кассиль (у Кассиля только родной брат расстрелян), Корней Чуковский, Николай Асеев. Считая себя будущим писателем, я записывал все эти встречи для себя, чтобы опыта набраться...» Больше всего из выступления Льва Кассиля, например, школьнику Гуревичу запомнилось, как «...Маяковский с утра уходил бродить по прибрежным скалам, шагал, шепотом повторял слова, а к вечеру приносил четыре новых строки, в удачный день — восемь строк для "Облака в штанах", и за ужином читал всё сначала плюс новые строки. А пятилетняя дочка Чуковского запомнила всё наизусть и однажды потрясла родителей, декламируя: "И выблывается как голая пластинка из окна голящего публичного дома..."». Не удержался, цитирую; все же «Приключения мысли» печатались только в журнале «Проза Сибири» (а его номера сейчас большая редкость).

³³ Повесть Бориса Штерна «Второе июля четвертого года» (о Чехове) мы напечатали под псевдонимом — Момерсет Соэм.

³⁴ «Дни по Фрейду» — повесть Надежды Синиченко (Новосибирск).

³⁵ На мой взгляд, повесть-эссе Татьяны Янушевич «Мифология детства» — одна из лучших публикаций журнала.

О Прашкевиче³⁶. Я перечитал дважды. Это здорово. Это красочно, картинно. И по-моему — это стихи в прозе, целая поэма жизни; такой язык, такая манера. И, как всякие стихи, можно толковать по-разному, потому что многое автор оставляет про себя. Как толковать долину черных альпинистов? Судьба? Призвание? Талант? Невыносимость одиночества? Или утомительность выбора катящихся по конвейеру апельсинов? Хороший образ. Вообще вы богаты образами.

Себя я спрашиваю, моя долина где? Боюсь, что в натурфилософии. И каюсь в нее неудержимо. Так вот, о натурсоциофилософии, которую я обозвал омнеологией.

Вопрос у меня к Вам, биопалеонтологический. Сами меня натолкнули на стр. 174.

Дарвин со своим естественным отбором великолепно объяснил, как природа отбирает рациональные виды, но не смог объяснить, как возникают изменения. К тому же осталось недоумение: если изменения происходят понемножечку, тогда и выгода немножечкая. У мириадом бактерий она скажется рано или поздно. А как у тысячи мастодонтов? Клык чуть подлиннее, и он всех победит?

Генетики ответили на вопрос, как возникают изменения, но с отбором у них получается еще хуже. У человека сотни тысяч генов, на сто тысяч поломок 99,9 % вредных. Как-то не видим мы такого количества уродов. И шевелится у меня в голове вредная мысль: «А может быть, все-таки изменения-то направленные?» Так я и написал в своей «Лоции». Представим себе две планеты: на одной мутации случайные, на другой направленные. Где жизнь будет развиваться лучше? А если лучше развивается на второй, неужели природа не выберет лучший вариант?

И последнее, главное, о промежуточных звеньях. Уверены ли мы, что виды возникают понемножечку? Вот существует закон Кювье: по одной косточке можно восстановить весь облик животного. Не означает ли это, что изменение одной косточки меняет весь скелет разом? Недавно я вычитал, что человек произошел от обезьяны, у которой появились прямые ноги. А полусогнутые, слегка выпрямленные, не давали бы никакого преимущества? Нужны сразу прямые? Не оттого ли и не нашли эпоху промежуточных форм? Вот на такие размышления трачу я немногочисленные оставшиеся мне годы.

Кстати, о годах. Палей умер 11-го. Ужасно мучился и замучил добросовестную свою, героически добросовестную жену. Эх. Кто бы сказал мне, что пришла пора помирать. Не скажут же. И врачам запрещена эвтаназия.

От этих мрачных мыслей вернемся к перспективам. Я очень болею за перспективы «Прозы Сибири». Разошелся ли нулевой номер? И не стоит ли Вам для привлечения покупателей и будущих подписчиков делать тематические номера? В свое время я посоветовал это изд-ву «Мир», они меня послушались и не проиграли. Выпускали сборники — фантастика планетная, фантастика изобретений и т. д. А у Вас диапазон шире: номер, посвященный фантастике, номер, посвященный Сибири, номер молодых... Извините, что даю советы, но это от эгоистического интереса.

³⁶ «Черные альпинисты, или Путешествие Михаила Тропина на Курильские острова». Печаталась только в журнале.

Все. Желаю успеха. Ни пуха Вам, ни пера! Ангелиде³⁷ привет и поклон нижайший.

Всегда Ваш — Гуревич.

* * *

(От Виктора Колупаева)

Томск, 23 августа 1995.

Здравствуй, Гена! Каждое мое письмо к тебе в последнее время — это вопль о помощи. Потому и не пишу. Но сил больше нет. Издательство «Флокс» в Нижнем Новгороде в феврале 95 г. прислало мне договор на издание двухтомника. С гл. редактором Людмилой Михайловной Мартьяновой мы договорились, что изд-во вышлет аванс через месяц. Затем начались телефонные переговоры, смысл которых заключался в том, что аванс, видимо, будет выслан через неделю. Теперь у меня уже нет денег на телефонные переговоры, а на мои письма ни Мартьянова, ни директор не отвечают. Просьба моя, может, не очень затруднит тебя. Что все это может означать? Может, издательство уже лопнуло?

А я еще отправил им и третий том («Фирменный поезд» и рассказы). Просил вернуть, не возвращают. Да и кому теперь этот том предложить?

Теперь о «Пространстве и времени»³⁸. Тут тоже какая-то странность. Все, кто интересовался моей работой, получив ее, переставали звонить и заходить ко мне. Экземпляров 50 я разослал по различным популярным и научным журналам (даже на конференцию по проблемам пространства и времени в Ярославле — в июне этого года). В ответ — молчание. В итоге я пришел к печальному выводу — я идиот. Людям просто неудобно говорить это мне, потому что раньше они ошибочно принимали меня за нормального человека. Но тут уже ничего не поделаешь: я продолжаю работу, и она будет, видимо, еще идиотичней первой.

Вот кончу огородные работы³⁹ и отпечатаю первую часть нашего с Марушкиным⁴⁰ романа. А куда послать? У тебя, я слышал, портфель редакции лопается от предложений. Кстати, так ни одного номера твоего журнала я еще и не видел...

Надеюсь, что у тебя все хорошо: и со здоровьем, и в семье, и в литературе, и с журналом. Привет Лиде! Настроение у меня хорошее, как это ни удивительно. (Впрочем, разве может быть плохое настроение у идиота?)

Всего тебе доброго — В. Колупаев.

³⁷ Прочитав мою фантастическую повесть «Только человек» («Уральский следопыт», 1978, № 11), Георгий Иосифович стал называть мою жену Ангелидой, связав ее имя (Лиды) с именем героини повести (Анхелы).

³⁸ Свою работу «Пространство и время для фантаста» (1994) — уникальную, умную, нежную и глубокую работу — Виктор напечатал на рыхлой газетной бумаге (другой не было) в маленьком местном изд-ве «Образ» при финансовой помощи Томской областной администрации. Тираж — 500 экземпляров. В работе обильно цитируются те, кто, несомненно, повлиял на писателя и философа Виктора Колупаева: Лукиан, Ньютон, Лейбниц, Эйнштейн, Теофраст, Аристотель, Ленин, Эпикур, Блаженный Августин, Кант, Энгельс, Мах, Николай Кузанский, Хайдеггер, Декарт, Лосский и другие. На наших глазах возникало нечто совсем новое; к сожалению, закончить главные свои работы Виктору не хватило времени.

³⁹ Из письма томского писателя Владимира Шкаликова (01.09.95): «Вот думаю (в аэропорту хорошо думается): до чего интересно легли пути четырех фантастов русских. Прашкевич трудится на ниве, Колупаев — на поле, Шкаликов — на огороде, а Рубан — витает в облаках».

⁴⁰ Юрий Марушкин — соавтор Колупаева. Вручая на презентации в томском Доме ученых написанный совместно с Юрием фантастический роман «Безвремяе» (2000), Виктор обронил мне печально: «Тираж — семьдесят пять экземпляров... Боюсь, скоро и такие тиражи мы будем считать гигантскими...»

(От Бориса Штерна)
Киев, 20 декабря 1995.

Гена, дорогой! Я тут огляделся по сторонам, оказывается, Новый год скоро. Кажется, единственный праздник остался, который имеет какой-то смысл праздновать.

С Новым годом! 95-й вроде был неплохой, вроде попривыкли жить в бедламe.

ЧТОБ НОВЫЙ БЫЛ ЛУЧШЕ!

После Одессы я две недели приходил в себя. Наконец пришел. Совсем трудно стало на конях, пьянка забивает все. В поездках — пьянка, в номерах — пьянка, в перерывах — все равно пьянка. Вроде держишься на этом горячем, а приезжаешь домой — ни черта не помнишь. Третий месяц держусь, пишу «Эфиопа»⁴¹, в нем уже страниц 500 (грязных), и никак не заканчивается. Для меня такой объем — кошмар, обвал. И тема (пушкинско-генетическая) сложная. И всякие сюжетные линии запутанны. И здорово надоело. Хочу зимой дописать, к апрелю. Как раз два года от начала будет. Пришли тебе. Если допишу. Как дела с журналом? Появились ли 2-й и 3-й номера?

Так. Звонил я недавно Диме Громову в Харьков. Новости такие: пятитомник (Громов, Прашкевич, Штерн, Рыбаков, Лазарчук) нормально проходит очередную свою стадию, ожидается в феврале. Очень даже неплохо было бы.

А «Флокс» заплатил мне аванс и опять заткнулся. В апреле срок договора закончится, а там ничего не делается. Странно все это. Напоминает «Ренессанс» — авансы платят, книг не издают.

А в апреле хочу все-таки поднять задницу и съездить в Израиль, посмотреть на внучку. Дедом я стал, старшая дочь дочку родила. Такое вот.

С НОВЫМ ГОДОМ! С ПОСЛЕДНЕЙ ПЯТИЛЕТКОЙ В ЭТОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ! УСПЕХОВ НА НАШЕМ МНОГОТРУДНОМ ПОПРИЩЕ (чтоб его)!

Твой — Штерн.

(От Бориса Штерна)
Киев, 4 июня 1998.

Гена, дорогой, привет! Ох! Одним словом, ох. Я вчера роман закончил. «Вперед, конюшня!» называется. 17 листов. Ровно год писал, не разгибаясь. Задыхался. Изнервничался. Работал на Ютанова⁴², на срок. Должен был закончить в марте, но взял еще два месяца, не успевал. Пару раз крепко запивал.

⁴¹ Роман «Эфиоп» — самая крупная (что, конечно, не означает — лучшая) вещь Бориса Штерна. Вышел роман в 1997 году (АСТ, Москва, Terra Fantastica, Санкт-Петербург). Некий темнокожий шкипер из африканской страны Офир вывез из Одессы украинского хлопчика Сашка Гайдамаку, чтобы у себя на родине путем кропотливой «работы» получить в четвертом поколении великого поэта, настоящего африканского Пушкина. Боря любил такие сюжеты. История написания романа «Эфиоп» вся прошла перед моими глазами, поскольку с самого начала писалась Борей для журнала «Проза Сибири». В будущем Боря мечтал вернуться к роману, переписать, вычистить текст, вернуть ему энергию прежних вещей, но внезапная смерть (ушел из жизни во сне, как это ранее случилось с Виталием Бугровым) не позволила чуду свершиться.

⁴² Ютанов Николай Юрьевич (род. в 1959) — писатель-фантаст, издатель, организатор Конгресса фантастов России, на котором вручалась премия «Странник».



Танька злилась. Вот закончил — удовольствия никакого. Нельзя работать «на срок». Спешешь, калечишь, идешь по верхам, нервничаешь. Кажется, роман получился не скучным, но я в этом не совсем уверен. «Футбольно-астро-физический» роман о Бел Аморе. Не знаю. Посмотрим.

Я в Питере не был в мае. Не успевал с романом, вот и не поехал. И в прошлом сентябре не был. Паспорт был сдан на прописку, а ехать без паспорта — в Белоруссии высадят из поезда и завернут обратно. В другом государстве живу. Иностранец.

Я не был в Питере, а мне Стругач за «Эфиопа» улитку дал. Я даже не знал, что «Эфиоп» был в номинации. Ни черта не знаю. У меня такое ощущение, что «Эфиопа» почти никто и не читал. Разбросали тираж 10 тысяч по городам и весям — как в бездонную бочку. Надо было рекламную компанию провести, как это многие делают, но у меня на это ни сил, ни желания, ни возможностей... Ладно. «Эфиоп» для тебя с зимы лежит, но выслать по почте нельзя — надо ехать в таможенно за разрешением. Сил нет на такие подвиги. Хочу подарить Войскунскому, Берковой, ребятам — на таможенно в очередь. Каждую книгу они проврят, я при них заверну, поставят печать, заплати пошлину, потом уж на почту.

Гена, как бы мне прочитать твой исторический роман, который в Москве вышел?⁴³ Здесь, в Киеве, мне его не достать. Ничего тут нет. «Только Маринина с Корецким на каждом шагу валяются», — кто-то пошутил в местной газете. Раньше Брежнев с Лениным валялись, теперь Маринина с Корецким. Завидую тебе — будешь в Москве, с ребятами пообщаешься, свою новую книгу увидишь. Привет всем! И Мише Гуревичу, и Бабенке, и кого увидишь. Хоть и расстроили они нас в «Тексте» в начале 90-х годов, книг не издали, да и сами перессорились — ну да ладно, не держим зла. Пришли мне книгу — в России ведь нет этих таможенных зверств. Зашел на почту и выслал.

Теперь такие дела. Мой сосед Боря Сидюк нашел спонсора и начал издавать журнал «Империя фантастики». Первый номер уже вышел, прилично выглядит, о содержании умолчу. (Есть несколько неплохих рассказов и статей, есть и чушь перумовская.) В общем, я в этом журнале «литературный консультант» (Борю на кухне консультирую, рассказываю ему, где там чушь, а где «ничего»). Сейчас он второй номер собирает. Нет ли у тебя неопубликованных рассказов или статей о фантастике? Размером плюс-минус один лист. Ну, полтора. Два листа многовато. Боря платит — 50 долларов за лист. Не так чтобы, но все же. Всем авторам заплатил сразу, не кобенясь. Если есть рассказы, если есть охота — пришли. Будет ли журнал жить — темна вода в облацех. Как к тебе гонорар попадет — придумаем что-нибудь.

Умолкаю. Запоздало: с днем рождения! Здоровья и удач! Лиде привет! Всем привет!

Твой Штерн.

* * *

(От Бориса Стругацкого)
 19 февраля 1996.

Дорогой Гена! Получил Вашу посылку благополучно. Спасибо большое! Действительно, «Проза Сибири» уверенно выходит в первые ряды, и можно только пожалеть, что «Улитка» не предусматривает такую номинацию — «Жур-

⁴³ «Пес Господень» (Москва, «Вече», 1998).

налы», а то бы, конечно... всенепременнейше! Впрочем, совсем не исключено, что «Странник» обратит на вас свой благосклонный взор.

Павла Кузьменко и его роман⁴⁴ я знаю давно, читал еще в рукописи, даже делал какие-то конвульсионные попытки пробить в печать, но — куда там! Очень рад, что Вам это удалось. Роман нетривиальный.

Желаю дальнейшего процветания, Ваш — Б. Стругацкий.

* * *

(От Валентины Синкевич)

Филадельфия, 28 июля 2001.

Дорогой Геннадий Мартович! С большим запозданием поздравляю с 60-летним юбилеем. У Вас это заслуженный праздник: в сложных условиях Вы успели сделать очень многое. Тому свидетельство Ваши проза и стихи, с последними я знакома лучше, чем с прозой. Пусть Вам все так же пишется! И да будут следующие десятки лет такими же плодотворными, как и предыдущие!

«Сибирские Афины»⁴⁵ — спасибо, получила. Мне понравилась «душа» этого номера, хотя и в прошлых номерах я находила для себя что-нибудь интересное.

Благодарю за публикацию в журнале «День и ночь», мне прислала вырезку Женя Димер, не пометив, откуда она. Но на мой запрос сообщила, что это из «Дня и ночи». Если будет когда-нибудь новая подборка, хотелось бы получить весь номер журнала: я его никогда не видела.

Только что закончила статью о поэтессе Ольге Анстей, первой жене Ивана Елагина. Статья пойдет в декабрьском номере «Нового журнала» и войдет в мою книгу воспоминаний. Книгу я почти закончила: ее обещали издать в Москве. Но поживем — увидим. Самое главное — закончить.

«Встречи»⁴⁶ с замечательным материалом о корейском поэте (Ким Цын Соне) должны выйти в октябре. Весь Ваш текст (предисловие, стихи, переводы) я считаю украшением нашего юбилейного выпуска. Большое спасибо! Теперь нужно только, чтобы не подкачали наши горе-печатники, они капризны и непредсказуемы.

От всей души благодарю за добрые слова о моих стихах: я не избалованна. Открыто меня не ругают, относясь лично ко мне доброжелательно, но почти все (явно или тайно) считают мои вирши «иностранными». И не совсем ошибаются. Было бы странно прожить на Западе добрых шестьдесят лет и не взять ничего от здешней литературы. Для этого нужно оглохнуть и ослепнуть, многим такое удавалось, но не мне. Вот и пишу «ино» и «странно».

Спасибо за новую подборку для будущих «Встреч». Она очень хороша! Возьму все, что поместится на четырех (наш максимум; юбилейный номер — исключение) страницах.

В октябре ко мне предполагает приехать гостя из Пушкинского Дома. Погостит в Филадельфии недельки две. Если буду жива-здорова, покажу ей наш город, поедем и в балаганное Монте-Карло — Атлантик-Сити⁴⁷, пусть по-

⁴⁴ «Катабазис» (Новосибирск, «Проза Сибири», 1995, № 4).

⁴⁵ Тонкий иллюстрированный журнал, с 1990 г. выходил в Томске — усилиями местных прозаиков и поэтов.

⁴⁶ Ежегодный поэтический альманах (Филадельфия).

⁴⁷ С удовольствием похваюсь: в 1999 г. в одном из казино Атлантик-Сити я удачно надрал будущего президента США Д. Трампа (владельца казино) — на 700 баксов.



глядит на Атлантический океан. Авось повезет с погодой. Будьте во всем благополучны и по-прежнему творчески плодотворны.

Сердечно Ваша — Валентина Синкевич⁴⁸.

* * *

(От Евгения Любина)

East Hanover (USA), 18 июля 2001.

Дорогой Геннадий! Всегда рад твоим письмам. Извини, что пишу от руки, — ненавижу компьютер, хотя и приходится постоянно им пользоваться.

Хотелось бы прочитать «Человека “Ч”» и «Секретного дьяка»⁴⁹. Как это можно сделать? Сам я пишу мало (для чего?), но закончил недавно sentimentalный рассказ «Второй концерт Шопена», его уже ждет Крейд⁵⁰. У меня не чувство усталости, скорее — безразличия, а это еще страшнее.

Хотелось бы напечататься в «Вагриусе», там лежит мой роман — дневник русского шпиона, но пробить его можно, как я понимаю, только толкаясь там.

Прочитал две книжки Улицкой, изданные «Вагриусом». Она, конечно, талантлива, но читать скучно и почему-то раздражает.

Рад, что ты вскоре вселяешься в «человеческую» квартиру, но с приездом гости не обещаю. Хотя побродить по тайге, побывать на Алтае было моей мечтой. Вот ты пишешь, что «быть привязанным к разным другим географическим точкам» — может быть, это и есть главное, а для меня все главное осталось в России, и все эти «географические точки» и райские острова мне осточертели. Не зря же я заработал здесь сенной насморк — довольно сильную весеннюю аллергию. Воздух-то не родной. Как ты пишешь: «жечь костры, бродить ночами, не вино, а воздух пить» — не для меня.

Стихи твои замечательные, и я непременно их опубликую в следующем альманахе Клуба русских писателей (Нью-Йорк). Насчет издания моей книги (не знаю, о какой ты пишешь, их у меня наберется 5 или 6), честно говоря, не верится. Я уже начал вести переговоры с изд-вом «Геликон» в Питере (его хозяин Ал-р Житинский), но это издание за свой счет, не хочется.

Рад, что тебе понравился альманах. Как ты думаешь, стоит ли опять делать его совместным с питерским Лито?

Я окучиваю картошку, как много это делал на Урале, но сейчас возжусь у себя на участке: поливаю, сажаю цветы и траву, ухаживаю за бассейном — это тоже для меня отдых.

Передал Соне твой привет. Она с 16 июля — на пенсии (не по возрасту, просто ее компания дала ей хорошую пенсию — и она ушла). Шлет тебе и Лидии наилучшие пожелания.

Недавно навестили дочь и внуков — они живут в Детройте (1000 км от нас). Юля работает врачом, внуки (четверо, младшему три года) — чудесные,

⁴⁸ Синкевич Валентина Алексеевна (1926—2018) — русская поэтесса, эссеист и переводчик, литературный критик. Родилась в Киеве, в 1942 была депортирована в Германию в качестве «остарбайтера». После окончания войны находилась в лагерях для перемещенных лиц во Фленсбурге и Гамбурге, с 1950 г. жила в США, занималась литературой и издательскими делами.

⁴⁹ Оба романа вышли в Москве в 2001 году: «Человек “Ч”» (написан в соавторстве с моим другом — томским писателем Александром Богданом) — в изд-ве «Вагриус»; «Секретный дьяк, или Язык для потерпевших кораблекрушение» — в изд-ве «Текст».

⁵⁰ Вадим Прокопьевич Крейд (родился в 1936 году в Нерчинске, в 1973 году эмигрировал в США) — поэт и литературовед, в 1995—2005 годах — главный редактор известного «Нового журнала» (Нью-Йорк).

но едва говорят по-русски. Вот уж у кого никогда не будет тоски по России, они и книжки-то мои едва могут прочесть.

Грустно все это, грустно. Что, для кого, зачем? Пиши (во всех смыслах).
Твой Женя Л.⁵¹

* * *

(От Евгения Войскунского)
Москва, 18 декабря 2003.

Дорогой Гена! Ваше письмо получил. Всегда приятно слышать Ваш голос. На последнем склоне своей жизни я потерял многих любимых людей — тем более дорожу теми, кто остался. Вы — среди них, оставшихся.

Отвечаю на новую серию Ваших вопросов⁵².

Из своих книг я ценю больше всех, пожалуй, «Мир тесен». Там больше всего меня самого. Хотя, может быть, еще ближе «Румянцевский сквер» — роман, который, увы, уже года три не могу издать.

«Ур, сын Шама» в конце 70-х попал на глаза неким писателям-антисемитам, они обвинили меня в том, что этот роман — сионистский (мол, некий Ур, семит по происхождению, учит советскую молодежь). По моим сведениям, один из них, некто Семанов, написал на меня донос. Госкомиздат РСФСР (я его называл «Госсвиниздат»: там работал подонок Свининников; еще там была зампред Куценко, подлейшая баба из ЦК комсомола) — устроил разнос Детгизу за издание «идейно-порочной книги». Эти гады постарались перекрыть мне дороги в издательства, делающие фантастику. Я написал письмо в ЦК КПСС — о группе антисемитов, сеющих рознь, препятствующих изданиям и т. п. Было разбирательство, меня вызывали в Госкомиздат СССР, там моей жалобой занималась И. Николаева, жена членкора Петра Ал. Николаева, — она, конечно, не нашла в «Уре» ничего «сионистского», но попеняла мне: дескать, как это Вы решились обвинить гос. учреждение в разжигании нац. розни? Разве можно, etc. С меня было достаточно. И я ушел из фантастики — засел за «Кронштадт».

«Ур» не переиздавался ни разу — до этого года. Он теперь вышел в АСТ в серии «Классика отечественной фантастики». АСТ переиздал почти все, что мы с Лукодяновым написали, а также две повести, написанные мною после его смерти.

Разница между моей фантастикой и mainstream — не ощущаю. Всегда придерживался принципа полной достоверности.

Где мне нравится на этой Земле? Непростой вопрос. Очень люблю Прагу. Люблю Париж. Люблю очаровательный город в Германии Вернигероде. Испытал потрясение в Иерусалиме. Поразителен Гонконг — небоскребы на горе. Но больше всего мне нравится дома — с моей Лидой. Она была чистым ангелом моей жизни. Ну вот, милый мой Гена, ответил на Ваши вопросы.

⁵¹ Любин Евгений Михайлович (род. 1934) — прозаик, поэт, основал в 1979 г. (вместе с М. Поповским, Г. Скачинским и Г. Табачником) Клуб русских писателей Нью-Йорка. Мне приходилось выступать на заседаниях клуба в Нью-Йорке, с Еугенио (я так его называю в ответ на его дружеское обращение — Геннадю) мы дружим много лет, даже написали в соавторстве роман «Escape from paradise» (издан во Франкфурте-на-Майне в 2009 г.). Живет в городке East Hanover — чудесном тихом уголке штата Нью-Джерси.

⁵² Вопросы были связаны с моей работой над книгой «Красный сфинкс: история русской фантастики от В. Ф. Одоевского до Бориса Штерна» (несколько изданий в Новосибирске и Москве, журнальные публикации на Украине и в Болгарии).



Наступает Новый год, с каковым и поздравляю Вас и всю Вашу семью. Побольше здоровья, поменьше огорчений и — удачи с задуманной книгой о полусотне фантастов.

Обнимаю дружески — Е. Войскунский.

P. S. Почему бы Вам не прислать мне «Секретного дьяка», о котором я слышал и слышу только хорошие отзывы?

* * *

(От Александра Бирюкова)
Магадан, 2004.

Дорогой тов. Гена! В тот же день, что отправил тебе письмо, пришли и две твоих бандероли с книгами. Конечно, большое спасибо! Сразу кинулся читать твои. Начал со «Школы гениев»⁵³. Очень красиво написана книга, но запутался в персонажах (одних гениев 15, да все с нерусскими именами) и в очень серьезных сведениях. Ну, глупый я, прости меня ради бога. А вот «Носорукий»⁵⁴ мне гораздо ближе. И понятнее. Особенно вторая повесть. Ничего такого о Дежнев-е я не читал. И читал с упоением.

Знаешь, читал эти твои книги и вспоминал старого моего знакомого Сашу Кондратова. Удивительный был человек. После его смерти я прочитал в какой-то московской газете о нем: гений. Кажется, филолог по образованию, он писал книги обо всем на свете: о кибернетике, об истории, о географии. Популярные, очень умные книги. Когда я работал в издательстве, мы издали его книгу «Была земля Берингия», потом, уже без меня, вышли еще две — об Арктике и Охотии, древних землях, ушедших на дно. Хорошие, по-моему, книги. Я это к чему? А к тому. Что сегодня, как мне кажется, у читателей особенно велик интерес к истории, к краеведению. И, может быть, вам в вашей издательской политике следует это учитывать. Если книги Саши об этих «землях» тебя интересуют, могу прислать. Где-то они у меня были.

Жил Александр Михайлович (мой тезка) в Ленинграде. Там же и умер (кажется, покончил жизнь самоубийством). Был одинок, наследников, видимо, не осталось.

Гена, а я живу тихо и бездарно. Половину будущей книги (400 стр.) сдал в типографию, половину — еще собирает знакомая в Ленинграде. Зарылся в работу, в одиночество (Мила, жена, укатила в отпуск). Только Лаврик-Лаврецкий (собака) и спасает.

Всего доброго.

Твой Бирюков⁵⁵.

⁵³ Научно-фантастическая повесть, написанная в соавторстве с Владимиром Свиным. Первая публикация — в журнале «Байкал» (1979, № 2), отдельной книгой (2004) вышла в Новосибирске в изд-ве «Свиный и сыновья».

⁵⁴ «Носорукий» и «Тайна полярного князя» — исторические романы. Первая публикация «Носорукого» — «Сибирские огни», 1990, № 7; отдельной книгой оба романа вышли в 2004 году в Новосибирске (изд-во «Свиный и сыновья»).

⁵⁵ Бирюков Александр Михайлович (1938—2005) — журналист, публицист, прозаик, член СП СССР. Автор многих публицистических и чисто документальных книг, посвященных судьбам репрессированных (и оказавшихся в Магадане) советских писателей. После окончания МГУ жил в Магадане, редактировал газету «Магаданский комсомолец», возглавлял Магаданское книжное издательство. В самые тяжелые для меня годы (после запрета книги стихов «Звездопад») Бирюков щедро публиковал стихи мои и даже переводы с болгарского — в своей газете. В 1976 г., будучи главным редактором Магаданского книжного издательства, отказался посылать в Москву на обязательное контрольное рецензирование рукопись моей прозаической книги «Люди Огненного Кольца» — под свою личную ответственность. В итоге в 1977 г. «Люди Огненного Кольца» вышли в свет. Именно с этой книги я начинаю отсчет своей серьезной литературной жизни.

(От Александра Бирюкова)
Магадан, 2004.

Дорогой тов. Гена! Просидел несколько дней над «Эхом в квадрате». Должен сказать, что эта грандиозная издательская затея⁵⁶ все-таки безжалостна по отношению к читателю (или это — на мои старые, к тому же юридические мозги): такой здоровенный том, да и личности весьма разные...

Поэтому читал довольно выборочно. Но — тебя целиком, в остальных только заглядывал. И, боже мой, какое удовольствие я получал от твоих стихов (начиная с «Провинции»)! Одни узнавал⁵⁷, другие читал впервые. Рано набрав высоту, ты уже нигде не опускался. Ты большой, настоящий поэт, поэт замечательный (о других говорить не буду, но то, что ты выше, гораздо выше их, для меня несомненно). И ты еще можешь писать (в своих письмах), что без меня ты бы не состоялся в литературе! Перестань так безжалостно шутить со старым больным человеком, иначе прекращу с тобой все отношения, в том числе и деловые. Хотя мне это будет очень и очень больно, потому что ты давно и прочно вошел в мою жизнь...

Книга Рытхэу называется (вспомнил, что такая была) «Когда киты уходят». В ней две «современные» легенды: «Когда киты уходят» и «Тэрькы». Она издана в 70-е годы в «Сов. писе» и наверняка есть в новосибирских библиотеках. Это почище Маркеса.

Книгу Куваева пришлю на днях.

Дня три ломал голову над твоим новым предложением⁵⁸ и решил, что маленькую книжку можно сложить из трех последних очерков. Один — об А. З. Добровольском, авторе сценария фильма «Трактористы», второй — о Г. М. Рубинштейн, невесте Л. Д. Троцкого, третий — о крупных исторических личностях, напрасно приписываемых к Колыме. В изданных вами «Колымских историях» этих очерков нет.

Очерки пришлю на дискете. Положение несколько осложняется тем, что в один очерк нужно сделать небольшую вставку, а другой никак не могу найти, но найду.

Прилагаю книгу Семена Лившица. На стр. 97 найдешь его замечательное изображение. Не падай в обморок. Меня эта падла-художница изобразила еще краше (стр. 56). Зачем нужно было перерисовывать с фотографий, ума не приложу. Провинция, эти ее мать. Хотели как интереснее. Лиде горячий привет.

Твой — Бирюков.

⁵⁶ «Эхо в квадрате: антология лирики четверых, 1960—2000 гг.» Стихи В. Н. Бойкова, И. И. Воробьева, В. Е. Захарова, Г. М. Прашкевича. Москва, «Пробел-2000», 2004.

⁵⁷ Узнавал, конечно; ведь когда-то сам отбирал многие и печатал их в своем «Магаданском комсомольце».

⁵⁸ В изд-ве «Свиньян и сыновья» (Новосибирск) вышли (или были переизданы) почти все основные документальные книги Александра Бирюкова, среди них «Колымские истории» (2004), «Жизнь на краю судьбы. Писатели на Колыме» (2006), «Избранные произведения в двух томах» (2011); с подачи Бирюкова была переиздана знаменитая работа Д. П. Святополка-Мирского «История русской литературы с древнейших времен по 1925 год». Мы часто обсуждали с ним (в письмах и по телефону) многие новые литературные проекты. Много что Саша собирался сделать, но не на все нам дается время. Там, наверху, Он лучше знает, что нам нужно. В сентябре 2005 года Саша позвонил мне из Магадана в какой-то совсем уж неурочный час. «Утра не мог дожидаться?» В ответ он сказал: «Хочу с тобой пообщаться, Геночка». Жить Саше оставалось буквально какие-то недели... Так уходят друзья, так пустеет мир... Нет, конечно, он не становится пустым, в нем всегда есть замечательно интересные люди... Но не приходят письма, которых ты ждешь, не позвонишь тем, чьи голоса хочется слышать. Время наводит свои порядки. К счастью, и оно, столь беспристрастное, все же щадит письма.

Николай ЗАЙКОВ

«ОТТЕПЕЛЬ».
ЭПИЗОДЫ ДЕТСТВА.
1957—1961

Часть первая

Имя

Однажды у меня приболела собачка

В ветеринарной лечебнице перед столом, за которым сидела симпатичная девушка, очень большой, красный и потный мужчина отвечал на вопросы.

— Имя?

— Софья.

— Отчество?

Мужчина растерянно:

— Мы ее просто Соней зовем; кошка Соня; без отчества.

— Я спрашиваю имя хозяина, а не кошки!

— Извините. Степан Степанович.

А просто кошка Соня, без отчества, которая чем-то занемогла, сидит себе смирно в контейнере, ждет оформления бумаг.

Примерно так и меня назвали. Отец шибко огорчился, когда узнал, что у него родился четвертый сын. Он дочку хотел. Да и вся семья хотела девочку — и мама, и бабушка, и три брата: довольно, мол, парней. Отец от досады и, возможно, от более сложных чувств запил, конечно. Мама в надежде, что он протрезвеет от данных ему новых обязанностей, снарядила его в загс. Там его спрашивают:

— Имя?

— Николай.

Секретарь записала в свидетельство о рождении — Николай.

— А ваше имя?

— Я ж говорю — Николай.

— Я спрашивала имя ребенка! Как малыша хотите назвать?

— Михаилом. В честь деда. Я-то Николай Михайлович.

— Ну вот, испортили бланк, а эти бланки — строгой отчетности. У меня лишних бланков для вас нет, — осердилась работница загса. — Радоваться рождению сына надо меньше!

— Да ладно, какая разница — Михаил, Николай? Один хрен мальчонка, — махнул рукой отец. — Пускай Николаем живет.

Так я стал Николаем Николаевичем. Имя Николай мне весьма не нравится. Коля — колесом катиться по жизни. А Коля Колич — катиться на двух колесиках. Михаил ближе душе. Записали бы Михаилом — в честь деда Михаила Ефимовича, и судьба моя, глядишь, повернулась бы иначе. Известно: как корабль назовешь...

Сатурн сиял

Однажды, в теплую звездную ночь, четверо мальчишек лежали на холщовых матрасовках, набитых травой

Родился я в феврале 1953 года, за пару недель до смерти Сталина. Разумеется, о своей жизни при нем в те первые две недели я ничего не могу сказать, как и о своих впечатлениях в первые три года жизни. Однако усатый профиль генералиссимуса часто маячил в отчаянных спорах взрослых, когда я начал вслушиваться в их разговоры, лет с четырех.

Начинаются мои осознанные воспоминания летом 1957 года, когда на дворе вовсю звенела капель хрущевской «оттепели». Я рос младшим из братьев: Лешке десять, Сашке восемь, Сережке седьмой год, а мне тогда исполнилось четыре.

Пронзительно пахнет свежими стружками, чистым деревом: семья строит дом на берегу реки Читинки. Пока есть лишь пол и стены. В стенах — проемы для окон. В воздухе — горьковатый запах полыни, аромат цветущего багульника, слабый плеск близкой воды. Потолка и крыши нет. Мы, все четверо, завороченно смотрим с душистых лежанок в ночное небо.

Лешка объясняет:

— Есть звезды, и есть планеты. Звезды очень далеко, они как Солнце. Их так много, что на всех не хватило имен. А вот планет мало, и они все названы старыми богами. Самая большая планета — Юпитер. На втором месте Сатурн. Его нельзя ни с кем спутать, потому что у Сатурна есть кольца.

— Где, где Сатурн?

— Да вон — видишь, далеко вверху желтое пятнышко, а вокруг блестящие колесики? Это кольца, они ледяные, потому и светятся.

— Где колесики? Я вижу одно колесико!

— Кольца слились в сплошную ленту, потому что Сатурн очень далеко, очень! А колец много, если близко смотреть — тысяча.

Да, я вижу Сатурн — медную копеечку на черном бархате неба. Я вижу его бриллиантовые кольца. Прищуриваюсь — и вижу, как величественно они вращаются вокруг великолепной планеты — с виду крохотной монетки, а в действительности невообразимой громады. Более того — я слышу тихий шорох, производимый ледяными космическими колесами. Понимаю, что вокруг Сатурна раскинулась бездна, однако в небе тесно от звезд, и кажется, что они щедро рассыпаны по небосводу, как крупнозернистый сахарный песок.

Меня пронизывают, заполняют от затылка до пяток дурманящий запах распиленных досок, чистых стружек, ароматы летней ночи, цветущего багульника, крадчивый шепот Читинки. И — тепло братского дыхания.

— А люди на Сатурне живут? — спрашивает Сережка.



— Не, людей нету, — отвечает всезнающий старший брат. — Там живут лишь птицы и рыбы. Сатурн ведь жидкий и газовый: кругом вода, а над водою воздух. Рыбы в воде живут, а птицы рыбами питаются.

— Где ж они спят, если всюду вода?

— На кольцах. Птицы поклюют рыбу и поднимаются на кольца, а там, на ледяных скалах, гнезда из своих перьев и пуха вьют.

Первым беззвучно засыпает Сашка, пробежавший, как обычно, за день наибольшее количество километров. Сосредоточенно сопя, тонет в перинах снов Сережка. Лешка думает о чем-то своем. Я успеваю увидеть, как на страшно далеких ледяных кольцах, нахохлившись, сидят орлы и кукушки... Картинка гаснет.

Позднее я рассказывал, что видел в небе Сатурн с его кольцами — отлично видел безо всяких телескопов и биноклей. Возможно, малыши имеют обостренное, уникальное зрение? Но кто же поверит, что они видят то, чего взрослякам увидеть нельзя?

Возможно, сыграл свою роль эффект колодца. Известно, что со дна глубокого колодца даже в ясный день можно увидеть звезды. А ведь мы, братья, разглядывали ночное небо, лежа на полу среди стен без крыши — чем не колодец? Да и погода стояла сказочная — тишина и ни облачка.

Надо мной посмеивались друзья и знакомые. Посмеивались не только по поводу Сатурна, и постепенно, с годами, я несколько свыкся, что к моим правдивым словам люди относятся иронически. Что ж, каждый судит о жизни на основе собственного опыта, а личный опыт большинства людей чаще несчастливый, чем счастливый.

Но и сейчас, в старости, я уверен, что зрение меня не обмануло, что первым видением в жизни, которое я запомнил сразу и навсегда, была золотистая планета Сатурн с изумительными хрустальными кольцами.

Лингвистическая болезнь

Однажды жарко пели петухи, цвел багульник и цвел июнь

В тени сарая полеживал Шарик и лениво потягивал на раскричавшихся не вовремя — поздним утром — пестрых дураков. Петухи что-то там не поделили в своей птичьей жизни — вот и разорались некстати. Куры и утки проживали в сарайчике, а в конуре возле стайки ютился пес Шарик. Милая черная, косматая, ушастая собачушка, мой друг и четвертый брат. Три старших брата, а он — как бы единственный младше меня.

Без сомнений, Шарик был чистокровной дворняжкой. Возможно, тысячи его простодушных предков проживали в будках и охраняли хозяйские усадьбы — звонким лаем и добросовестным вынюхиванием. Также возможно, что его неприхотливые предки черной тучей следовали за обозами воинственных кочевников куда-нибудь к последнему морю. Все возможно, а теперь вот Шарик жил с нами в Чите и по-братски делил со мной разные радости и невзгоды бытия. Когда он вставал на задние лапы, а передние складывал на мои плечи, мы оказывались с ним одного роста. Бодая его крутой лоб, я всматривался в сообразительные смородины черных глаз и готов был поклясться, что умнее этих ягод нет во всем лесу. Во время наших объятий торчали две пары ушей: его треугольные — вертикально над головами, мои лопухи — горизонтально сбоку.



В такие минуты мы оба, безусловно, испытывали счастье, ибо ни о чем не думали и пребывали в восторженном состоянии духа. А счастье, конечно, такое и есть — когда не думаешь совсем и когда тебе хорошо — совсем хорошо. Ты вроде бы становишься частью другого существа, отсюда, наверное, и слово — счастье, соучастие. Еще скажу: счастье всегда позади, его невозможно предугадать, оно просто случается с тобой или кем-то другим, о нем потом можно лишь вспоминать. А горе ждет человека впереди, ведь в любой час с человеком может случиться непоправимое, и обычно он беду свою может предвидеть или почувствовать заранее. Счастье — нет, оно внезапно приходит и уходит. Не думаешь в момент счастья, что это счастье, а горе ожидаешь и знаешь, что вот оно — горе, пришло, наступило.

Шарик с необычайной хитростью прокрадывался по утрам в мою кровать и нашептывал свои ночные секреты, облизывая мой нос, пока его не заставала бабушка и не гнала веником из хаты. Мы с дворняжкой барахтались в траве, как ласточки в поднебесье, а когда над нами парили голубые паутинки или стрекозы, Шарик высоко подпрыгивал и ловил их в воздухе. Единственный спор между нами касался бабочек: я не позволял собачьему брату гоняться за ними, а он все же вылавливал шелковых красавиц, грозно щелкая зубастой пастью. Зубов он имел не меньше, чем нильский крокодил, к тому же впереди неизвестно для какой цели отрастил клыки — два сверху и два снизу. Меня Шарик прикусывал нежно, подкладывая под свои зубы длинный и мягкий язык, но клыки-то для чего-то же ему служили? Для устрашения бабочек?

По своей человеческой природе я родился совой, причем неисправимой, упертой совой. Просыпался в семье позже всех, шлепал в туалетный скворечник, плескался кое-как под умывальником и норовил бежать на речку. Бдительная бабушка от калитки влекла меня к столу — завтракать. Есть по утрам я не хотел категорически. Бабушка с притворным гневом сообщала, что брат Сашка уже посетил курятник и смяк два сырых яйца; она демонстрировала скорлупки с прилипшими к ним соломинками. Так она пыталась пробудить во мне аппетит. От брезгливости у меня перехватывало горло.

В то позднее утро я вышел во двор... Орала петухи. И вдруг я тоже закукарекал. Шарик, не глянув в мою сторону, твякнул. Я ответил ему визгливым лаем. Шарик вскочил как ошпаренный и закрутился юлой — искал взглядом соперника. Я встал перед ним на четвереньки, высунул язык, сколько мог, громко задышал и заскулил. Песик бросился мне на шею. Я отодвинул его и огласил окрестности громким петушиным воплем:

— Кука-рлеху-рлеху-кукарлеку!

Пес неодобрительно глянул в мои глаза.

— Кикилики! Кукелеку! Куккокьеку! Кукареку! — ответил я.

— Куд-кудах! Куд-кудах! Ко-ко-ко! — всполошились куры.

На пороге домика, поспешно вытирая руки о фартук, появилась встревоженная бабушка.

Так началась моя лингвистическая болезнь. На пару с Шариком мы валялись в лебеде и лаiali на разные голоса. Освоив кукареканье и лай, я принялся за подражание пороссятам, благо их на улице паслось немало: хрю-хру, ойнк-ойнк, хыр-хыр. В промежутках между хрюканьем, лаем и кукареканьем я подражал мычанию коров, бляню коз и чириканью воробьев — с разным успехом.

В течение месяца я не произнес ни одного человеческого слова, разговаривал только на языке животных — лаял, хрюкал, кукарекал, крякал, мычал и



блеял. Я пытался понять, о чем говорят животные. В том, что они владеют собственным разумным языком, я не сомневался ни капли. Даже яблони в сказках говорят!

— Садись есть! — строжилась бабушка.

— Гав-гав, тяф! — отвечал я.

— Да брось ты его, чем бы дитя ни тешилось, — смеялся умный Лешка. —

Пусть поблажит.

— Мяу-мяу-мяу! Му-у! — отвечал я.

Кончилось тем, что всерьез взволнованная мама собралась вести меня к доктору. Она уже водила меня раньше к логопеду, но тот эпизод в моей памяти не сохранился. Тогда семья заподозрила, что я глухой, ведь я не разговаривал до трех с лишним лет. Совершенно не хотел говорить. Лепетал некоторые непонятные звуки — и все. Доктор осмотрел меня, послушал дыхание, велел высунуть язык, постучал по коленям молоточком, поводил пальцем перед глазами и вынес вердикт:

— Мальчик здоров, слышит отлично, вовсе не глухой и вполне сообразительный.

— Чего ж он не говорит?! — вскричала мама. — Ему же три года!

— Ну не десять же, — возразил врач.

И рассказал маме старый глупый анекдот про парня, который молчал все детство. И вдруг отчетливо спросил за столом, почему ему не положили в чай сахар. «Что же ты молчал все эти десять лет?!» — рассердился дед. «Повода не было, — отвечал отрок. — Чай всегда был сладкий».

— Вот так и ваш ребенок, — подвел черту доктор. — Однажды сам заговорит. Без врачебного вмешательства. Вон сосульки на крыше — одни тонкие, другие толстые; одни растают быстрее, другие медленнее. Но растают все.

Мама воротилась довольной, а логопед и правда как в воду глядел. Однажды утром, спустя пару недель после посещения клиники, я продрал глаза и ясным голосом спросил:

— Мама, где мои чулочки, где моя рубаша, я хочу гулять.

— Толстая сосулька растаяла! — засмеялся Лешка. — Выдала целое предложение.

Семья пришла в восторг и на все лады повторяла: «Где мои чулочки, где моя рубаша?!» Так рассказывали мама и бабушка.

Лингвистическая болезнь тоже улетучилась сама собой, как и мнимая глухота. Некоторое время я упорно пытался подслушать и подсмотреть, как смеются животные. Сам-то я был смешливым мальчонкой, любил похохотать и был уверен, что все вокруг тоже любят это дело. Но никто из птиц и зверей не издавал характерных насмешливых звуков, ни одно животное не строило в мой адрес клоунаских гримас, как я ни стремился его рассмешить.

Одна старая ворона, правда, подала надежду, однако пустую. Я лежал как-то под сосной и старательно каркал — передразнивал ворону, сидевшую над моей головой. Она вроде бы заинтересовалась моей речью. Возможно, расслышала что-то родное в моих упражнениях: круа-круа, какко, гаак... Я настойчиво продолжал изобретать вороньи звуки: кра-кра, кое-коек, кау-кау... Ворона склонила голову набок, прислушалась. Я начал осторожно хохотать: ха-ха-ха, хпа-хпа-хпа, как бы предлагая ей повторить мой смех. Ветхая ворона ответила: кха-кха-кха. Я радостно встрекнул, то бишь подпрыгнул, и захохотал гром-

ко: ха-ха-ха! Ворона презрительно плюнула на меня сверху и лениво полетела прочь. Увы, я остался непонятым ею.

Разочаровавшись и устав подражать наземным тварям, я взялся за рыб. Моей любимой сказкой был «Конек-горбунок». А в той сказке у рыб с юмором все в порядке. Особенно мне нравился ерш-забияка: «Ерш ну рваться и кричать: “Будьте милостивы, братцы! Дайте чуточку подраться. Распроклятый тот карась поносил меня вчера...”».

Как-то же рыбы смеются у себя под водой, в домашней обстановке, у них ведь и рот подходящий — губастый, широкий. Тихо ли, громко ли, шипят, как лимонад, когда пузырьки из него выходят, или хихикают, когда пузырьки лопаются, — но смеются ведь порой, улыбаются! В крайней степени любопытства я решил изучить рыбий язык и в очередной раз едва не утонул. Влез с головой в Читинку, чтобы подслушать речи пескарей и гольянов, да и нахлебался воды. Братья меня выловили, вытащили на берег, надавали подзатыльников, потрясли за ноги, выливая из меня воду. Я отдышался, полежал на песочке и заговорил снова человеческим языком — чисто русским.

Однако во мне и сейчас живо огромное удовольствие, которое я испытывал, общаясь с курами, кошками, собаками, свиньями и воробьями, исторгая из себя их замечательные звуки. Или подобные им. Иногда, когда рядом никого нет, я тихонько лаю или чирикаю до сих пор. Но рыбьего языка, увы, не знаю.

Парадное фото

Однажды в семейном альбоме мне попалось постановочное фото — оно сделано за год до моего рождения

Тогда почти все снимки были постановочные, ведь фотоаппараты и принадлежности к ним имелись в редких семьях.

На снимке — бабушка Елена Липатьевна и мои старшие братья — Леонид, Александр и Сергей. Леониду шестой год, Сашке четвертый, Сережке два. Он сидит на коленях у бабули, а старшие стоят сзади на табуретках, стоят по стойке смирно, надувшись, — как фотограф приказал.

Дети, по тогдашней моде, в шароварах. Чистенькие, серьезные. У старших на ногах сандалики, у младшего, Сережки, — что-то вроде пинеток на веревочках. Его пальчики крепко вцепились в крестьянские бабушкины руки.

Елена Липатьевна умрет через десять лет после этого фотографирования, умрет в голодных муках от рака пищевода. Сергей скончается от туберкулеза в год своего пятидесятилетия. Леонид не выживет после нелепой драки с бандитами: брату было шестьдесят лет, но кулаками справиться подмосковные молодые спортсмены с ним не смогли и проломили череп кастетом. Старший братишка и в шестьдесят считал себя крутым боксером.

В нашей семье огромным уважением пользовался чай. Бабушка и мама родились в забайкальской станице. Кого-то из бабушкиных предков сослали в Дарурию после восстания Емельяна Пугачева вместе со многими другими казаками. Скоро заснеженная зимой и пропыленная летом станица заменила русский квас на крепкий китайский чай: климат и обстоятельства способствовали. Казаки занимались сельским хозяйством, в промежутках усердно учились военному делу и по тревоге дружно защищали амурские рубежи. В мирные годы торговали и обменивались продуктами с южным соседом охотно и много. Вот и родилась



Бабушка Елена Липатьевна Зимина с внуками Леонидом, Александром и Сергеем. 1952 г.

чаек без молока, но зато с сахаром. Они считали, что молоко портит вкус чая. Отец кидал в стакан с чаем особенно много сахарного песка, чем изрядно меня веселил. Часто покупали кусковой сахар. Большие сверкающие куски зажимали в ладони и разбивали их ножом на более удобные, мелкие кусочки. Пили чай из граненых стаканов — все, кроме бабушки: она пользовалась старинной эмалированной кружкой с красными печальными розами.

Бабушка называла себя даурской казачкой, гуранкой. К тридцати годам она родила пятерых сыновей. Первый муж был изрублен японцами, но не до смерти — вернулся и умер в родной станице.

Тяжело женщине одной в доме с пятью казачатами.

А в село тем временем возвратился другой казак — Иван Зимин. Этого Зимина ждали с войны жена и пять дочек. Жена ждала-ждала, да не вынесла тяжких работ — заболела и умерла. У вдовы Елены Липатьевны — пятеро мальчишек. У вдовца Ивана Зимина — пять девчонок. А жизнь, конечно, не сахарный песок, да и не кусковой сахар.

Старшины станицы велели: ребяток жаль, сходитесь и живите. Сошлись с детьми и хозяйствами не шибко молодые уж Иван и Елена. Получилось в большой семье десять детей: пять мальчишек да пять девчонок. От Зимина бабушка, уже сорокалетняя, 7 января 1928 года, в Рождество, родила одиннадцатого ребенка — девочку, мою маму Екатерину Ивановну. Иван Зимин долго не протянул, раны его сильно донимали, и он умер перед Великой Отечественной. Мама звала его тятей. Говорила, что у него был могучий голос: если он запевал песню на одном краю деревни, слышали жители другого края. За голос его

в русских даурцах стойкая привычка пить крепкий чай.

На плите в Чите стоял объемный чайник, литра на четыре, слегка закопченный, с помятыми боками; на приступочке печки — фарфоровый чайничек с густой, кирпичного цвета заваркой. В него с утра кидали добрую пригоршню чаю; в течение дня бабушка несколько раз высыпала использованные листья, мыла посудку, засыпала новую порцию и заливала заварку кипятком. Семья делилась по способу питья. Бабушка, мама и я любили очень крепкий и очень горячий чай — кипяток шоколадного или бурого цвета с молоком, но без сахара. Сахар портил для нашей партии вкус чая. Отец и другие братья пили слабенький

дразнили муллой, хотя был он абсолютно русским казаком. Бабушка всю жизнь носила православный крестик. С ним ее и похоронили.

Бабушка заменяла мне детский сад и грамотных воспитателей, сама будучи малограмотной. Мы подолгу с ней беседовали обо всем.

— Почему улица называется Аянской?

— На берегу Охотского моря, — вздыхала бабуля, — далеко на востоке, в горах, где начинается океан, есть бухта. А в этой бухте стоит поселок. Поселок называют Аяном. На тунгусском языке Аян — это вход, двери, дорога. По океану из Аяна путь зачинается на Аляску, а по горам в другую сторону — на материк, в Якутию. При царе ишо строили. От якутов дорога идет в Читу. Улица-то наша крайняя в городе, вот потому и Аянская, из самого Аяна, значит.

— И мы можем по нашей улице дойти до Аляски?

— Господь с тобой, нет. Аляску-то давно продали американцам. Не ходят туда пароходы. И дорога из Аяна к нам заколобродила, непроезжей стала.

Так я и запомнил: крайняя улица Аянская — это вход в Читу, а значит, и выход из нее. Если долго ехать и идти на восток, можно добраться до Аяна, что стоит на берегу моря.

В первом классе я научился бегло читать и за зиму вслух для бабушки прочитал первую свою реалистическую толстую книгу — роман «Даурия» Константина Седых. Бабушка слушала внимательно. В некоторых местах морщилась, качала головой — значит, неправду сказал писатель; часто согласно кивала — правильно, так и было, мол, помню.

Бабушка перед смертью есть не могла, жила на уколах глюкозы. А я совал ей то конфетку, то пряник. Когда умерла, все мои гостинцы лежали под ее подушкой. Дядя Миша, кудрявый и высокий, сказал: «Отмучилась». Была ли вся ее жизнь мукой? Не знаю.

Вот такое парадное фото из тумана 1952 года.

Молоко

Однажды бабушка кипятила молоко

Кастрюля стояла на печке. А я, двухгодовалый, сидел у бабушки на коленях. Молоко забурлило и побежало через край посуды. Если кастрюлю мигом не снять с печи — поднимется смрад, дым, часть молока выплеснется на плиту, часть сгорит. Елена Липатьевна кинулась к печке — и опрокинула кастрюлю с молоком на себя и на меня. Я зашелся благим матом.

Конечно, ничего этого я не помню. Позже мне рассказывали, и не один раз, как с моей левой руки сползла кожа — якобы аж до кости, жуткие волдыри вскочили у бабули и у меня на ошпаренных местах. Рука болела долго и мучительно, ее чем-то смазывали, бинтовали, я плакал ночами, плохо спал, но в итоге несчастный случай не оставил даже шрама на моей руке и в моей памяти. А вот брат мой Лешка в результате этого нелепого происшествия пострадал гораздо серьезнее и на всю жизнь. Хотя моей вины в его беде вроде бы нет, я все равно чувствую некоторую неловкость.

В общем, родители подарили мне, пострадавшему, с рукой на перевязи, велосипед. Я был слишком мал, к тому же болен, чтобы управлять сложной трехколесной машиной. Зато старшие братья плюс соседские дружки с радостными воплями высыпали во двор и начали обкатывать новехонький механизм.



Мама, отец и братья. Сентябрь 1960 г.

Первым новой техникой овладел Лешка. Он поехал — может быть, сидя, а может быть, отталкиваясь ногой, как на самокате, не знаю. За ним с улюлюканьем повалила малышня. Лешка не справился с управлением, говоря языком гаишников, и свалился в канаву. С ревом он вылез из канавы, одной рукой закрывая окровавленный глаз, другой вытягивая за руль проклятый велосипед.

В яме брат наткнулся виском на железяку и навсегда окосел. Несмотря на усилия врачей (господи, какие там врачи!), его правый глаз потерял половину зрения и упрямо норовил закатиться под переносицу. Пришлось брату до самой своей кончины ходить в очках. И это Лешке — лыжнику, боксеру, балаболу, романтику шестидесятых! В призывном возрасте по этой причине его не брали в армию. Но Лешка очень хотел служить. И достал медицинскую комиссию справками об участии в соревнованиях и требованиями, его все же призвали — в спортивную роту.

Бедный братишка! Сколько физической и душевной боли он перенес из-за той нелепой случайности! В школе он отстал на целый класс — валялся по больницам, плохо видел. На улице в минуты размолвок пацаны бесшабашно дразнили его: «Петух косою подавился колбасой!» Колбаса вообще почему-то считалась крамольным продуктом и часто упоминалась в дразнилках. «У Сережки на носу черти ели колбасу!» Или того хуже — «молотили колбасу». Как можно молотить колбасу, да еще на носу? Вероятно, «молотить» означало быстро и жадно есть.

Обваренная кипятком рука, самоистязания бабушки, считавшей себя виновной, трехколесный велосипедик, роковая травма брата — ничего из этого не сохранила моя детская память. Тем не менее на душе кошки скребут, когда я думаю об этом случае: ведь Сатурн существует, даже когда мы его не видим.

Вот такая вышла история с молоком. Этот напиток, наверное, все дети обожают. Свою корову наша семья не держала — к унынию бабушки. Но та же бабушка удачно обменивала у соседей на молоко куриные и утиные яйца. К тому же мама обшивала половину улицы, и с ней часто рассчитывались молоком. стакан молока да краюха хлеба служили роскошным завтраком или ужином.



Была и такая закавыка. Елена Липатьевна еще со времен своего дореволюционного детства имела твердое и неприятное убеждение, что козье молоко гораздо полезнее коровьего. Она произносила пылкие речи о загадочных лечебных свойствах козьего молока — решительный вития, прямой оратор, козий адвокат и пропагандист, хотя и малограмотный.

— Пей! — принуждала меня к миру бабушка. — Это козье молоко. Я его задорого выменяла у соседки. Посмотри на козочек — это ж, поди, сказка! Умные, беленькие, а какие рожки! У коровы-то небось титьки по пуду — работать не буду, а у козочек вымечко уккуратное, нежненькое. Пей, ирод, а то не пушшу на речку!

«Ирод» было ее любимым ругательством. Она повторяла его десятки раз на дню — по отношению к внукам, свиньям, собакам, пьяницам: на все худое у бабушки имелось четкое определение — ирод. Про царя Ирода я тогда не знал и думал, что бабушкино ругательство — исковерканное слово «урод». Говорила же она «гумага» вместо «бумага», «ризетка» вместо «розетка» и «тубаретка» вместо «табуретка».

Содрогаясь от страдания, я пил козье молоко. Все полезное — пресное или горькое. А ведь меня, как и братьев, пичкали еще и рыбьим жиром!

Зимой на рынке продавали замороженные молочные колеса. Парное молоко заливали в подходящую посуду — широкую миску или тазик — и выносили на мороз. Молоко замерзало. Сверху образовывался желтый, сливочный слой масла. Мерзлое молоко не скисало. От ледяного круга откалывали кусок и заносили в избу — чай пить, кашу варить. Само собой, каждый из братьев норовил немедленно сунуть в рот холодный ломтик молочного диска — домашнее мороженое таяло на языке.

Во времена «оттепели» стали модны концентрированные продукты. Правительство поощряло быстрое приготовление супов и каш из прессованных брикетов. Мама и бабушка избегали варить серьезную пищу из концентратов, но с удовольствием покупали различные кисели в брикетах — яблочные, грушевые, плодово-ягодные. Кисель мы, дети, любили горячий, пили его вприкуску с хлебом. Порой кисель и не варили, а грызли сладкие брикеты вместо конфет.

Тюря с водкой

*Однажды в выходной день к отцу заявила
пара шахтерских приятелей*

Бабуля от греха подальше сразу смылась в огород. Мама выставила мужикам капусту, огурцы, хлеб, сало и тоже шмыгнула к грядкам. Вместе с отцом за столом образовалась классическая троица. Зазвенели граненые стаканы.

В разгар их пира с улицы ворвался я — что-то взять в доме, кажется, скалку.

— Вот Колька, младший, — представил меня друзьям отец. — Мал золотник, да дорог. Знаете, какая у него память? Ну-ка, сынок, прочитай нам стишок.

...В конце пятидесятых годов «оттепель» ввела в моду поэзию. Мы жили в глуши, в забайкальской провинции, но стихи во множестве печатались в газетах и журналах, а семья всегда выписывала много прессы. Стихи звучали по радио, а радио бабушка не выключала по доброй воле: это было ее окно — всег-



да распахнутое — в большой мир. В Москве в 1957 году поставили памятник Маяковскому, под этим памятником молодые поэты декламировали свои стихи — с выражением, с апломбом, с парадоксальными интонациями. Заслуженные актеры исполняли по радио Маяковского — мощным, красивым басом. Читали Твардовского и других поэтов. В ту пору вернули народу стихи Есенина.

Небо, река, родители, стихи — мне казалось, что всегда так было и так будет. Мир таков для малыша, каков он есть в данную минуту. Откуда мне было знать, что мода на поэзию — временное явление? Я с наслаждением начал подражать громогласным радийным поэтам, будучи уверенным, что это нормально — кричать стихи, как нормально есть, пить, полоть грядки и бегать. Во мне утвердилось мнение, что стихи надо читать очень громко — повышенной громкостью они отличаются от прозы. Кто же поймет, что это поэзия, если стихи читать тихохонько, как сказку?

К первому классу я невольно выучил наизусть, наверное, всю стихотворную программу начальной школы. Представьте сами: зимними вечерами и в ненастные дни старшие братья, от Лешки до Сережки — по очереди, зубрили рифмованные строчки — одни и те же из года в год. Учили они так: читали четверостишие, затем закрывали глаза и повторяли его раз пять-шесть. А я крутился рядом. И невольно запоминал то, что сначала талдычил Лешка, потом Сашка, потом Сережка. Для меня игра, а для них — мука: не мне же стоять завтра у доски, подрагивая губами и судорожно вспоминая забытую строчку.

В общем, я научился ораторски читать стихи благим матом. Возможно, подражал ужасно модным тогда Евгению Евтушенко и Андрею Вознесенскому. Кричал я изо всех сил, но без всяких смысловых интонаций. Мама качала головой, братья хватались за животики, бабушка с неподвижным испугом глядела в пространство, а отец поощрял и всячески одобрял мое немислимое исполнение. Особенно по душе ему приходились стихи Некрасова. Отцу нравился простецкий юмор народного поэта, его тяжеловесные рифмы.

— Семья-то больша-ая! — вопил я на всю избу. — Да два-а мужика-а-то, отец мой да я.

— Молодец! Так его, жарь! Генералом будешь! Для генерала главное — командирский голос, чтоб весь полк слышал! — восторгался папка.

В общем, однажды звенели граненые стаканы.

В разгар пира с улицы ворвался я — что-то взять в доме, кажется, скакалку.

— Ну-ка, сынок, прочитай нам стишки, — попросил захмелевший отец.

По опыту я знал, что разумней рассказать и уйти: пьяные мужики быстро устают от поэзии. Я вдохнул полную грудь прокуренного воздуха и заревел дурным голосом любимого отцом «Генерала Топтыгина».

— «Дело под вечер, зимой, и морозец знатный. По дороге столбовой едет парень молодой, ямщикок обратный...»

Лица мужиков от моего неожиданного вопля вытянулись. Шахтеры враз заморгали и откинулись на стульях, как в театре. Отец горделиво поглядывал на меня сверху вниз. А я надрывался:

— «Видит Трифон кабачок, приглашает Федю. “Подожди ты нас часок!” — говорит медведю... Час проходит; нет ребят, то-то выпьют лихо! Но привычные стоят лошаденки тихо».

Отцовы приятели перевели дух, слегка свыклись с рифмованным ором, перестали моргать. Один из них даже попытался отыскать на столе бутылку, чтобы освежить напиток в стаканах.

— «Быстро, бешено неслась тройка — и не диво: на ухабе всякий раз зверь рычал ретиво; только стон стоял кругом: “Очищай дорогу! Сам Топтыгин-генерал едет на берлогу!”»

Стаканы и стекла в окнах звенели. Отца охватил мелкий залиvistый хохот. Один приятель вторил ему. Другой мрачнел и мрачнел. Я наблюдал за публичной. Ради мрачного слушателя мне пришлось набрать в румяные щеки добрую пригоршню невидимых горошин юмора и выплюнуть их в клубы табачного дыма.

— «Собрался честной народ, все село в тревоге: “Генерал в саях ревет, как медведь в берлоге!”»

Я театрально развел руки в стороны. Отец неудержимо хохотал. Слезы выступили на глазах его смешливого товарища. Но угрюмый член троицы не сдавался. То ли алкоголь на него не так действовал, то ли он вспомнил своего бестолкового сынишку, то ли еще что.

— Горлопанить каждый может, — со значением молвил угрюмый. — Но в жизни куда важнее сила, выносливость. А вот как его в забой, да смену отпахать? Станет тады горланить?

Отец вытер слезы и решил обидеться.

— Легко! Знаешь, какой он крепкий? На завтрак ест тюрю с водкой!

— Что?! С водкой? — теперь не поверил весельчак. — Дошколенок? Быть не может.

— Щас увидите! — сказал отец. — Садись, Колька.

Я поспешно притащил табуретку и подсел к мужикам. Отец тем временем налил в суповую тарелку водку и накрошил хлеб. Подал мне оловянную ложку.

— Ешь!

Тюрю я любил. Но с молоком. А тут с водкой. Что делать? Вздохнув, я молча и без перерыва вычерпал, прожевал и проглотил рыхлые и горькие от алкоголя куски хлеба. Стойкий оловянный солдатик с большой оловянной ложкой.

— Видали? — спросил дружков отец. — Иди, Колька, играй.

Я переступил порог прокуренной комнаты, вошел в кухню, и мир закачался в моих глазах. Сбоку стояла бабушкина лежанка. Я рухнул в нее, закатился к стене, зарылся с головой в жаркий мех дохи, которой бабуля накрывала больные ноги, и уже сквозь пелену сна услышал уважительный рокот пьяного мужицкого хора:

— На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а маладо-ого команди-ира несли с пробитой головой...

Ушли собутыльники, прибежали с улицы братья. Мама и бабушка собирали ужин, жарили рыбу.

— А где младший? — встрепенулась бабушка.

Молчание.

— Кто Колю видел? — с тревогой спросила мама. — Где он?

— Ну, я видел, — лениво протянул хмельной отец. — Он с нами тюрю ел.

— Какую тюрю?

— Вон... из той тарелки.

Мама схватила еще не вымытую суповую тарелку. В водочных лужицах на дне ее живому воображению предстали картины горького будущего младшего сыночка: пьяные куражи, вытрезвилочки, драки, проклятия жены и логическое завершение угарной жизни — смерть под забором.

Мама заплакала.



— Да вот он, спит на бабушкином топчане! — Сережка выкопал меня из-под дохи.

Я проспал остатки того вечера и ночь. Рано утром проснулся от дикой жаж-ды. Бабушка, молившаяся всю ночь, поднесла мне стакан холодного компота. И я опять провалился в беспмятный сон.

Целую неделю мама и бабушка травили отца страшными картинками моего трагического будущего. Только за стол — начинается песня: аспид, ирод, идол, загубишь мальчонку... Папка отмахивался от них, как мог, а я внимательно слушал. И наслушался: на долгое время стал самым отъявленным трезвенником.

Царь горы

*Однажды ранней зимой мне купили коньки — блестящие,
с загнутым носом и широким полозом. Назывались «снегурочками».
Но внучка Деда Мороза тут ни при чем, название происходит от снега*

Фабричных самокатов в моем детстве не было, но ребята строили самокаты не хуже фабричных. Берешь две доски, выпиливаешь прямоугольники на конце каждой, вставляешь на оси в эту выемку шарикоподшипник, а после сбиваешь доски под прямым углом. Поверх вертикальной доски приколачиваешь палку — это руль, за него надо держаться руками, чтобы управлять самодельной машиной. Самокатный завод отдыхает!

Доски, гвозди, молоток, ножовка имелись в каждом сарае, а сарай стоял в каждом дворе, потому что улица сплошь состояла из частного сектора. В подшипниках тоже никто не испытывал нужды. Их приносили отцы или добывали сами мальчишки в паровозных депо и на рудниках — без шарикоподшипника в те годы не работал ни один механизм. Так что за час-полтора любой мальчуган при желании становился владельцем собственного самоката.

Хуже было с дорогами. Об асфальте не мечтали. После дождя, по размокшей земле, на самокатах не проедешь. А вот когда проулки и тропинки просыхали до легкой, тонкой пыли, сорванцы вытаскивали свои самокаты и устраивали отчаянные гонки, тарахтя от усердия и ажиотажа: р-р-ры-ры-р-тры-тр! пыр-пр-тыр-тыр-пру!

Это — летом. А в зимнюю пору катались на коньках по льду Читинки. Родители прикупили нам коньки, мне и Сережке «снегурочки», а старшим братьям — дутьши. У снегурок передки загибались в виде запятых, а дутьши начинались острыми, режущими углами. Коньки крепко-накрепко привязывали к валенкам сыромятными ремнями. Для надежности ремни закручивали палочками, и эти палочки торчали по бокам валенок во время катания.

Пока я возился со своими снегурками, братья убежали на лед. Отец помог мне закрутить ремни, проверил, намертво ли прикипели к валенкам коньки, и я тоже рванул на речку. Гордость захлестывала меня, ведь новыми блестящими коньками похвастаться мог не каждый аянский парень. На крутом берегу Читинки залили горку. Залили плохо, впопыхах — с кривыми трещинами, рытвинами; по горке на оглушительных скоростях, с гиком и гамом, на картонках, санках и на тощих задах, без ничего, носились мои сверстники.

Я думал поразить приятелей сверкавшей в лучах зимнего солнца обновкой, а также необыкновенной ловкостью, которую я в себе чувствовал. Взобравшись на вершину горы, я горделиво посмотрел влево — там на речном льду резвилась

малышня; не менее гордо я посмотрел вправо — там суетились ребята постарше. Сорванцы уважительно освободили пространство для моего предполагаемого лихого спуска. Вокруг горки на минуту воцарилась тишина. Ведь на коньках, да еще новеньких, впервые надетых, с ледяной высоты никто не рисковал съехать. Это вам не картонка под задом! Я ощутил себя орлом! Ну если не совсем орлом, то царем горы — точно.

— Щас покажет! — раздался взволнованный голос.

И я показал. Оттолкнулся — и помчался. Метра три я летел реальным орлом. Но потом снегурка попала в трещину, и я плюхнулся носом в шершавый лед. Дальше, до основания горы, мне пришлось ехать на пузе, оставляя за собой кровавую от разбитого носа дорожку. Лежа, я услышал над собой злорадный хохот, переходящий в восторженный визг. Оторвал от лица руки — варежки в алом. Я заревел от обиды, от боли и поплелся на крепко примотанных коньках домой — жаловаться на горку и на весь белый свет. Бабуля меня умыла, усыпала нос и губу стрептоцидом, а отец, отмахиваясь от мамы, смеялся до тех пор, пока слезы не потекли по его лицу.

— Вот свернули санки, и я на бок — хлоп, — хватался он за живот. — Кубарем качусь я под гору, в сугроб! Да кто ж тебя поволок на горку-то?! Катался бы на речке!

Я смотрел, смотрел на него и не выдержал — тоже криво улыбнулся разбитым ртом и укоризненно закончил стишок Ивана Сурикова:

— Все лицо и руки залепил мне снег. Мне в сугробе горе, а папаше смех.

Ближе к январю возникла новая мода: суeta на коньках мальчишкам с нашей улицы приелась, и мы стали делать ледоходы-самокаты. На треугольную платформу из досок прибивали три конька: впереди, на подвижном рулевом бруске, крепилась курносая снегурка, а сзади — любые два конька, хоть дутьиши. Пилот усаживался на зимний самокат, ноги ставил на рулевой брусок, в руки брал железные спицы с заточенными концами — и вперед, по чистому льду, сколько сил хватает, отталкиваясь спицами от зеркальной поверхности реки. Разумеется, устраивались гонки на разные дистанции, и тут побеждали те, у кого бицепсы покрепче, а жира на животе поменьше.

Иногда я останавливал свой самокат в укромном местечке, варежками насухо прочищал лед и всматривался сквозь него, прижимаясь лицом. Я надеялся увидеть плывущих подо льдом щук, налимов и хариусов. Увы, ни одна рыбина не прижалась снизу к ледяному потолку, ничего не прошептала мне. Ни рыба, ни рак, ни страшный осьминог.

Валенок

*Однажды душным вечером отец прибыл с работы
в «разобранном» состоянии*

Я увидел его фигуру в конце улицы и пожалел: «Папка сегодня особенно устал в своей шахте». Бывало, что он, действительно, шатался от усталости после смены в забое. Но оказалось, что папка особенно устал в тот день обмывать с друзьями премию.

Качаясь из стороны в сторону, как ива под ветром, он приблизился к нашей калитке. Я помог ему добраться до сенок. В избе он еще немного побродил, упал



на кровать и заснул крепким сном человека, замечательно исполнившего свою задачу. Мама, вздыхая и горестно качая головой, раздела его и разула.

Утром начался кошмар.

— Где деньги? — насутился отец. Поначалу его голос звучал трезво и как бы недоуменно, однако быстро набрал командирскую силу. — Где мои деньги, я вас спрашиваю?

— Какие деньги? — ругалась мама. — Ты явился на карачках! И залег спать. Никаких денег не давал. Да никто с тобой и разговаривать не хотел. Получку, что ли, до копеечки пропил?

Отец испугался. Пропить получку считалось тяжким семейным преступлением. На что жить? На что готовить учеников в школу? Отец ничего не помнил. Совсем ничего — как допивал и с кем, как приехал домой и с кем. Есть преступление — будет и следствие. Главным следователем выступил сам преступник. Или потерпевший?

Отец сел на стул, перед ним шеренгой выстроились дети по возрасту: Лешка, Сашка, Сережка и я. На правом фланге стояла встревоженная мама, на левом фланге — каменноликая бабушка с поджатыми тонкими губами. Я доложил первые сведения: увидел отца в конце улицы, помог дойти до дверей, хотя какие у меня силенки — так, символически помог. Но пьяному, как начинающему ходить ребенку, порой достаточно держаться за нитку. Вот я и держал отца за шершавый палец.

— От тебя несло водкой! — закончил я доклад.

— Н-н-но! — построжел отец. — Говорить по существу! Что Колька слямзил, не верю. Дальше что?

Бабушка злорадно сообщила, что видеть его пьяную рожу вчера не желала и удалилась к соседям. Мама добавила, что налила отцу чаю, пока он шарашился, поставила стакан перед ним на табуретку и пошла полоть грядки.

Братья один за другим докладывали свои действия в тот роковой вечер: где были, с кем были, что делали — по минутам.

Отец вытянул из штанов ремень. В нем заговорил старший лейтенант запаса.

— Искать! — приказал он. — Всем искать деньги. Иначе попадет всем. И тебе, старая карга! — пригрозил он бабушке. — Ишь, повадились — отца обворовывать.

Семья кинулась на поиски несчастных купюр. Скоро всё в доме перевернули вверх тормашками. Белье, игрушки, банки, обувь, пальтишки, книжки — все стояло и лежало вверх дном. Перья плавали в воздухе. Дети шмыгали носами. Никто не обедал в тот день. Наконец возникли сомнения в том, были ли вообще те деньги. Отец после тяжелых размышлений и причитаний мамы («идол! перепугал детишек!») успокоился и решил, что от премии его освободили нехорошие люди в транспорте. Долго ли у пьяного мужика обчистить карманы?

— Ладно, выходите из углов, давайте чай пить, — пробурчал он.

— Петерича не выйду! — заявил Сережка. Была у него такая особенность — излишнее чувство гордости. Если его наказывали несправедливо, он до последнего не шел на компромиссы, не желал прощать обидчика, кто бы им ни был. Сашка таил обиды в себе годами и мог припомнить их спустя много времени. Лешка старался поскорее выкинуть их из головы. А я вообще относился философски: бывает всякое, понять и простить. Братья часто бывают совершенно разными по характеру людьми.

— Выходи! — выходил из себя отец и потрясал над Сережкой ремнем, как Зевс молнией.

— Петерича не выйду! — оскорбленно ревел Сережка. Мама собирала на стол, бабушка растерянно рассовывала по углам вещи — восстанавливала порушенный порядок, Лешка и Сашка умывались на кухне, а Сережка с отцом продолжали титаническую духовную битву.

Отец ожег его все же ремнем. Братишка юркнул под кровать. Там и уснул — без чаю и без ночной гигиены.

Привычная к нехватке денег семья с трудом, но пережила тот месяц и забыла неприятный эпизод.

В октябре, как всегда неожиданно, полетели белые мухи — выпал первый снег. Мухи — они и есть мухи. Не настоящий глубокий снег опустился на город, а так — предупредительный снежок. Отец принес из сеней сапожный инструмент, полез на печку, сгрузил оттуда дюжину катанок, сел на низенькую скамеечку. Я пристроился рядом, на стульчик. Мне очень нравилась эта работа отца — подшивать валенки. Каждую обувку отец внимательно ощупывал, осматривал, проверял на прочность. Валенки, прошедшие его отдел технического контроля, откладывались в одну сторону, другие выстраивались напротив мастера. Инструмент состоял из острого, как бритва, специального ножа, шила с заточенным крючком на конце, крепких ниток, мела и вара. Сначала отец плел дратву: подвешивал нитки на гвоздик в стене, многократно скручивал и пропускал их через кусок вара. Нитки становились черными, смолистыми, очень крепкими. Из голяшек забракованных валенок отец вырезал подошвы. Ставил рабочий валенок на кошму и обводил следок мелом. А затем вырезал ножом подошву по белому контуру. Прикладывал выкройку к подошве рабочего валенка, шилом проделывал дырку и поддевал его крючком конец дратвы. На другом конце дратвы вязался хитрый узелок. Работал отец исключительно аккуратно, и наблюдать за ним было сплошным удовольствием. Правда, трогать ничего не позволялось.

При осмотре очередного валенка на колени отцу выкатилась бумажная трубка. Сначала мне показалось — это туго скрученные журнальные картинки. Отцу, видно, тоже что-то показалось. Он молча и неподвижно смотрел на бумажную трубу. И вдруг одновременно с отцом мы поняли, что это такое. Конечно, это были свернутые ассигнации. В то время, до реформы 1961 года, купюры печатали роскошные, цветные, крупные.

— Мать, — растерянно и без улыбки позвал отец. — Деньги-то украденные нашлись. Оказывается, я их в валенок сунул.

Подошла мама. Взяла не денежную трубку, а валенок и со всего плеча замахнулась им на отца.

— Идол, идол! — кричала она. — Ты зачем детей мучил? Кому нужно в доме родном красть у тебя? Бессовестный! Идол!

У бабушки любимым ругательством было «ирод», а у мамы — «идол». Родственные души, вот и словами для облегчения родственных душ обе пользовались короткими и звучными, но цензурными. Обе не матерились: бабуля как верующая, а мама как культурная.

Стоит ли говорить, что немедленно после нечаянной находки побежали в магазин и устроили семейный праздник: бабушке и маме купили дорогого чаю и конфет, детям яблок, отцу чекушку и всем — колбасы. Не были забыты куры и Шарик: кто-то получил россыпи пшена, кто-то — чудную кость.



— Подальше положишь — поближе возьмешь! — вспоминал сомнительную народную мудрость повеселевший отец.

— Особенно если не помнишь сам, куда положил, — буркнула подобревшая мама.

Дед

*Однажды мой дед Михаил Ефимович поднял с земли
на территории шахты два пустых дерюжных мешка*

В нашей семье жила бабушка — мама мамы, милая и родная, роднее некуда, Елена Липатьевна Зимина. Где вторая бабушка, мама отца, я не спрашивал. Нет — и все. Не было и дедушек. И о них я ничего не спрашивал — нет, и все. Во многих семьях была такая ситуация — единственная бабушка и никаких дедушек. Коллективизация, война и сталинская паранойя унесли в могилу многих мужчин, да и женщин немало, и люди старались не бередить раны, не болтать все о павших в горькие годы.

А вот о Сталине спорили часто. Власть сама разжигала дискуссии о «культе личности». На дворе ведь шумела «оттепель». Хрущев на двадцатом съезде выступил с разоблачительной речью. Текст разослали по всей стране. Но не очень-то ему поверили.

Дело в том, что у каждой категории жителей страны имелся свой образ Сталина: для одних это был азиатский деспот, для других — отец народов, для третьих — мудрый руководитель, для четвертых — завистливая посредственность, преступный грешник, почти дьявол... Почему лик советского вождя двоился, троился и множился в народе? Да потому, что одни социальные слои жили при нем замечательно, другие жили очень плохо, третьи как-то приспособились, четвертые страдали, а некоторые... Некоторые, их было совсем не мало, их было много, — умирали.

Но все страты населения так или иначе признавали, что победить в страшной, в великой и ужасной войне без Сталина — вот в такой войне, в той обстановке, в какой эта война случилась, — было нельзя, хотя и произошла битва с гитлеризмом во многом по вине самого Сталина, с его подачи. Без него, без партийного культа Дяди Джо не помогала бы Советскому Союзу с таким энтузиазмом Америка, не сражалась бы с таким отчаянным мужеством Британия, не нашлось бы в мире столько союзников в борьбе с нацизмом, — если бы вместо Сталина во главе СССР стоял другой человек. Он умел договариваться, требовать, просить, пугать и провоцировать. Умел поднять народ на борьбу, вооружить той самой дубиной, которая «с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила» врага до тех пор, пока окончательно не погибло нашествие.

«Лишь бы не было войны!» — под этим девизом прошли мои детские годы. Победа заслоняла, отодвигала в тень преступления дьявольского семинариста-генералиссимуса.

Дед мой по отцу — Михаил Ефимович — родился в большом селе Зайково на Тоболе. В том селе все были Зайковы. Было у славян старое имя такое — Зайко, вот мужики с этим именем и основывали деревни. Населенные пункты Зайково есть на Урале, на Тоболе, даже в Белоруссии.

Погиб Михаил Ефимович в ГУЛАГе в годы Отечественной войны. Его, бывшего крестьянина, а позднее шахтера, обвинили в краже социалистической собственности — двух пустых мешков. Именно что пустых! Дед увидел эти мешки, брошенные где-то в углу, и решил по-хозяйски приспособить дерюжную тару на портянки. При выходе за ворота шахты охранники мешки вывернули наизнанку и обнаружили в швах десяток зерен. А дед эти несчастные зерна не видел, иначе бы, вероятно, сразу съел с голодухи и от греха подальше. За десять зерен — пять лет лагерей. Для него, уже с больными от работы под сырой землей легкими, это был смертный приговор.

Заклученный Михаил Ефимович Зайков умер от истощения и обморожения на ремонте путей Кругобайкальской железной дороги.

Во время ареста дед был многодетным вдовцом. Старший сын Петр служил в танковых частях Красной армии. Второй сын, мой отец, был призван в армию, ему как раз исполнилось восемнадцать. Младших, Володю и Шуру, забрали в детдом. Было это в черном от угля и слез городке Черемхово Иркутской области.

А в Черемхове Михаил Ефимович оказался так.

Во времена военного коммунизма, продовольственной разверстки и Гражданской войны тобольских крестьян так разграбили и замучили, что в селе начался голод. Самый настоящий. Чтобы организованно противостоять государственным грабегам, мужики решили создать красную коммуну. А как ее создать? Неграмотные же люди: слышали звон, да не знали, где он. По глупости обобществили все, что могли, вплоть до куриц, детей и баб. Разумеется, не все согласились с невиданным антихристианским укладом жизни. Кто смог и захотел, покидали в телеги домашний скarb, посадили стариков и детей да и подались в дальние края — искать сказочное Беловодье. По слухам, эта чудесная страна справедливости и труда располагалась где-то в Алтайских горах или за ними сразу. Туда и направился конный обоз из деревни Зайково. В числе несогласных с коммуной путешественников оказались мой молодой дед с молодой женой. У них уже имелся первенец, который, увы, прожил недолго.

Бегство из родной деревни в поисках придуманного мира не могло закончиться счастливо. Сил и запасов тобольскому обозу хватило, чтобы добраться до границы алтайских земель. Где-то возле железной дороги мужики подрядились отремонтировать разрушенный мост. Поработали, получили расчет. К этому времени они остались без лошадей, но с новыми знаниями: местные люди посмеялись над их надеждой отыскать Беловодье. Объяснили на пальцах, что это старая сказка. Нет ее, такой справедливой и богатой страны. Что дальше? Жить негде, земли нет, да и строиться не на что, а впереди — зима. И начались разговоры о Дальнем Востоке: вот где, мол, красота, вот где вольница, вот где сгодятся рабочие руки, а свободной земли — вдоволь. Бери даром хоть по гектару, хоть по десять на брата. Они ж крестьянами были, без своей земли жизни не представляли.

Сели в поезд, поехали. Кому-то денег хватило на билет до Хабаровска, кому-то до Владивостока, а деду с бабкой — только до Черемхова Иркутской губернии. Сначала дед и бабушка батрачили у зажиточного крестьянина, затем того, видно, раскулачили, хозяйство растащили, и Михаил Ефимович с женой перебрались в Черемхово — уже с четырьмя детьми. А в Черемхове в те годы стоял угольный бум. Социалистическая индустриализация нуждалась в топливе. Дед шахту ненавидел. Он сизмальства привык дышать вольным воздухом под высоким небом — на земле, а не под землей. Копи и рудники глотали мужиков,



не разжевывая, но деваться им было некуда. Дед скоро заболел и начал плевать кровью. Перед войной умерла бабушка, оставив детей на его шее.

Далее последовали арест, лагерь, смерть. Дед не прожил и полвека.

Игры мирного времени

*Однажды я залег на крыше сарая и терпеливо выжидал,
пока под его стенами для обсуждения молниеносной атаки
соберется вражеское войско*

На первом месте по массовости и азарту стояла игра в войнушку. Слишком шустрым и отважным воином я не был, но отличался оперативной смекалкой. Вот тогда с крыши под панические крики противника и восторженные вопли своих командиров я укокошил из своего верного ППШ всю зарвавшуюся, оголтелую шайку фашистов-буржуев.

Этот ППШ, и еще фигурку пионера, я любил сильнее других игрушек моего детства. Еще мне нравилась Дюймовочка в цветке: при нажатии на пружинку цветок раскрывался, и в нем танцевала крохотная девочка. Хотя чаще мы обходились самодельными игрушками: строили из спичечных коробков телефоны, из катушек — трактора, из досок и подшипников — грузовики.

Как-то с ватагой дружков я забрел в детский магазин. И там впервые увидел его — мой ППШ. Тот магазин на окраине Читы не походил на построенный как раз в те годы в центре Москвы знаменитый «Детский мир». Никаких семи этажей, одетых в гранит и мрамор, никаких эскалаторов и витражей, никаких каруселей и громадных настенных часов в виде избушки в моем детском «Детском мире» не было. Нет. Наш магазин сам походил на избушку — приземистый, одноэтажный, с грязноватыми стенами. Товары занимали душную комнату, перегороженную деревянным прилавком. За прилавком стоял одноглазый продавец, а за его спиной — на стене — висел во всей красе этот самый пистолет-пулемет Шпагина. Там, конечно, предлагались и другие интересные штуковины — железные машинки, целлулоидные пупсы, ваньки-встаньки, волчки, но что мне все эти малышовые забавы, если я, серьезный воин, своими глазами видел автомат, почти настоящий, только игрушечный?

Вошел — и глаз не смог оторвать от этого ППШ. Он висел на стене прямо напротив двери, а из рассказов братьев и отца я уже знал, что это был главный автомат Красной армии на войне с фашистами. И с японскими милитаристами. Точно такой же, только настоящий, был в армии у отца. И еще отец на войне в кубуре носил пистолет ТТ. Но пистолета ТТ в магазине игрушек я не приметил.

Деревянный приклад автомата отливал коричневым лаком. Сквозь удлиненные прорези зеленого кожуха чернел ствол. Такой же грозной черной краской, как и ствол, был выкрашен патронный диск. Скоба защищала спусковой крючок, а заодно и палец солдата. Тра-та-та — и валятся в снег проклятые враги. Тра-та-та-та! И гранатами — тыщ, тыщ! Красота.

Ребята суетились, спорили, кричали, рассматривая сокровища, хватали что-то с прилавка — и сердитый одноглазый продавец скоро прогнал нашу компанию. Я потрясенно молчал и вышел из магазина первым, не очень понимая, как можно восхищаться какими-то ваньками-встаньками, когда перед вашими глазами находится боевой пистолет-пулемет советских солдат, почти самый настоящий, хотя и игрушечный.

Представьте мое изумление, недоверие, восторг и полное смятение, когда на день рождения отец с довольным смешком вручил мне подарок — этот самый ППШ. С черным диском! С зеленым кожухом и черневшим сквозь прорези стволом! С лакированным прикладом! Конечно, я схватил автомат и немедленно нажал на спусковой крючок. Раздалась звонкая очередь! В барабанном диске работала упругая пластинка, которая яростно звенела при нажатии на спусковой крючок (братья уже объяснили мне разницу между курком и спусковым крючком). А отец рассказал об автомате другие подробности — дальность прицельной стрельбы, емкость диска, вес и размер оружия.

Этот ППШ стал моим верным другом до самого окончания первого класса, когда семья покинула славную улицу Аянскую, а вместе с ней и славный город Читу. Автомат пришлось подарить соседу Валерке.

С войнушкой связан еще один памятный для меня эпизод. Как-то летом на улице началась сабельно-мушкетерская эпидемия. Вдруг все пехотинцы в округе начали пользоваться холодным оружием. Победу в поединках приносили на кончике клинка — с помощью мечей, шпаг, шашек, ятаганов и прочих палок. Огнестрельное оружие забросили. Старшие братья изготовили себе отличные сабли, а меня вооружать не хотели: некогда им было возиться со мной, враг стоял у ворот.

Пришел с работы отец и застал меня безоружным, в обнимку с Шариком и в слезах. А на улице кипело сражение. Не заходя в дом, в брезентовом плаще, с грязными руками, папка подобрал во дворе какую-то деревяшку, махнул пару раз топором — получился широченный клинок; махнул еще пару раз — вышла ручка.

— Держи кавалерийский палаш! — протянул он мне изделие. — А коня сам словишь.

Я смотрел недоверчиво. Отец потратил минуту или две — не больше. А я томился без холодного оружия полдня! Палаш выглядел необычно: с очень широким лезвием. Таких у моих дружков не было. Не засмеют ли? Я принял кавалерийское оружие — вроде по весу хорошо, по длине удобно. Но все же меня подтачивал червь сомнения: какой такой палаш, слово-то незнакомое.

— Ну что, как? Мы рубанили-рубанили, фуганили-фуганили, а отец топором подправил — и стало впору! — произнес любимое присловье отец и направился было в дом. Но, заметив мое сомнение, остановился. — Вообще-то война, сынок, не игрушка. Не дай бог. Даже генералу убивать людей — грех, а уж солдату... Гоняйте лучше в лапту или в городки, в игры мирного времени. Вам ведь повезло родиться в тихие годы. Ну ее, войну эту.

Все же я влез на забор, как на коня, и приветственно помахал отчаянно рубившимся друзьям свеженьким кавалерийским палашом... Но слова отца царапали душу. Ну ее, войну эту? А как же фашисты? Хотя их разбили отцы наши, нет больше фашистов. Японские милитаристы? Так они отказались иметь войско. Кто же враги? Китайцы — друзья навеки. Американцы — наши союзники, совместно гитлеровцев гоняли. Англичане и французы — тоже.

А, что голову мучить, решил я, была бы армия, а враг сыщется! Слезы высохли, я снова был на коне, то бишь на заборе, с оружием в руке и снова счастлив.

Очень скоро, после революции на Кубе, американцы начали грозить нам атомной бомбой. И китайцы записались в неприятели Советского Союза: их Мао Цзэдун не поделил Сталина с нашим Хрущевым. Могучих врагов как-то



сразу стало много. Но я уже учился в школе, и размахивать саблей было некогда: без меня разберутся, думал я.

Бывало, что мальчишки постарше играли в зоску. Брели клочок кожи с мехом, в середину пришивали кусочек свинца — вот зоска и готова. Далее нужно было внутренней стороной стопы подкидывать эту вещицу, как мячик, не роняя наземь. Стояли, словно журавли в болоте, на одной ноге, и дрыгали другой — скучно.

А вот чика меня привлекала. Чикнуть — быстро ударить. Эта популярная игра известна всем поколениям советских детей. Монетки складывали столбиком, отсчитывали шагами расстояние, проводили черту на земле и от этой черты по очереди метали шайбу, чтобы угодить ею в монетный столбик. Выбирали диск потяжелее — из свинца или железа. Вот при игре в чикку мы, братья, и растранжирили, растеряли медали отца. Он, кстати, ими не дорожил, однако из-за них с нами ругалась бабушка. Очевидно, в ней просыпался гордый казачий дух: медаль от царя или от власти — святая награда, надо хранить. Мама боялась войны и всего, что с ней связано, в том числе и медалей. Награды имелись тогда почти в каждой семье, где выжил мужик.

Смерть

Однажды я умер — по-настоящему

Дело было так. Дождь лупил по стеклам. Бабушка учила меня играть в карты: в пьяницу, в подкидного дурака. Играть кое-как я уже умел, но то и дело хитрил, мухлевал. Бабушка посмеивалась. Игра не увлекала Елену Липатьевну, она просто пыталась занять меня, чтобы я не сбежал. И явно тревожилась: на дворе ливень, а старших братьев нет: болтаются с утра незнамо где.

Дождь мыл деревья, мял кустарники, терзал крыши, перемешивал грязь. А начинался день спокойно, ясно. Но потом посерело небо, забарабанили на все голоса капли.

Карты наскучили, и бабуля вынула коробку с огрызками цветных карандашей. Она рисовала ангела, я — двуногого зайца в синем кафтане в красный горошек. В ту пору я без конца создавал двуногих зайцев. Рисовать их меня научила мама. Рисовал я плохо, но старательно. На плече ушастого путника висел посох, на посохе — узелок.

Обменялись картинками — похвастаться. Я разглядывал бабушкино творение; вроде птичка — крылышки сложены на белой рубашке, золотистый хохолок на голове; но не птица: вместо клюва — губки, вместо лапок — ручки с пальчиками. И глаза — чистые, с голубым туманом.

— Кто это?

— Как кто? — удивилась бабушка. — Твой ангел-хранитель. Он здесь, рядом с нами живет.

— А почто я его не вижу?

— Люди плохо видят. Чуют лучше. Прозрачный он и махонький, как ты. Вы вместе растете. Не все, что видишь, есть на самом деле, а то, что всегда есть и было, не всегда заметно.

— Как это?

— Вона — ангел у тебя на плече прикорнул, ты его и не видишь. Ты вот зайчишку нарисовал? А видал ли их, двуногих зайчиков-то? — улыбнулась бабуля.



— В книжках видел. А вот ангелов не рисуют в книжках.

— Рисуют. Просто ты ишо не всякие книжки видал. И ангел твой пока слабенкий, мало что может. Вот силы в нем прибавится — ты с ним и познакомишься, коли он захочет. Твой зайчишка-то в школу, поди, пошел? В узелке-то, поди, конфеты?

— Не-е, морковка.

Внезапно рев бури расступился, и в узкую щелку тишины ворвался пронзительный визг — словно моего двуногого зайца с картинки подстрелили. Старушка побелела и мелко перекрестилась. Я дунул к дверям.

— Куда! Куда! Стой! Обожди меня! — У бабушки еще до войны паровоз оттяпал пальцы на правой ноге, она прихрамывала и пользовалась тросточкой. Пока она сползала с дивана, пока искала батожок, пока выбралась на крылечко...

В сизом небе металась молния. На забор рухнул электрический столб, и провода упали на траву. А под забором, на этих проводах, в струях ливня пестрела рубаха Лешки. Он явно торопился домой, прыгнул под дождем через забор — и угодил на мокрые провода. Заверещал от электрической боли, шмякнулся в лужу и бился в судорогах.

В ужасе, без всяких мыслей, машинально я ухватил братишку за ноги и поволок из лужи — прочь с гиблых страшных проводов; силенок моих не хватило, и я бухнулся на тело брата. Сразу почувствовал дикую боль и легко избавился от сознания: далее жизнь происходила без меня, хотя вокруг меня и рядом со мной. И с братом. Позднее мужики объясняли, что вроде бы электрический заряд стал проходить сквозь Лешку и курочить мои внутренности, взрываться в моих мышцах.

От крыльца, разъезжаясь на трех ногах, с горестным воплем мчалась бабушка. Ее крик я помню, он продрался в мое сознание, несмотря на боль, громы и ливень. Своей сухой клюшкой старушка отбросила провода прочь. Набежали соседи. Мы с братом распластались перед ними в грязной траве.

Один из соседей заорал (это я узнал позднее, из рассказов):

— В землю, в землю их надо! Земля заберет заряд!

Мужики схватили лопаты и мигом зарыли меня и брата в сырую землю. Как в могилу. Лишь головы торчали наружу. Нам повезло: скорая помощь приехала быстро. А пока кто-то вдвухнул в нас воздух изо рта в рот, в общем — гомонили, сутились.

Прибывший врач матом обложил всю толпу.

— Дебилы! Дураки! Кто в землю? Кто приказал? Вы их погубите! Идиоты! Они уже мертвые!

Нас откопали. Воткнули уколы, втащили в белый фургон с красным крестом, и карета скорой помощи поскакала по лужам в больницу.

— Спасите хоть младшенького! — выла старушка, стоя на коленях и воздев к небесам скрюченные пальцы. Соседки с рыданиями втащили ее в избу.

Во дворе чернели две ямы; их заполняла дождевая вода.

...Следующая картинка в памяти — кабинет доктора. Я пролежал в палате три дня и теперь сижу на дерматиновой кушетке. Мать тербит пальцы. Доктор рокошет:

— Удивительный случай. Малыш выправился за трое суток! Бригада скорой просто молодцы. Можете забирать домой. Сердце рассчитано на сто лет.



А это, — врач небрежно указал на бинты, — пустяки. Царапины. След, конечно, останется — на груди, на руке, однако шрамы, как говорится, украшают мужчину.

Грудь моя при хвалебных словах доктора тщеславно выкатилась колесом: шрамы украшают мужчину, удивительный случай... Я заметил невольное движение груди и попытался втянуть ее на место. Но гордость от комплимента врача распирала легкие, и грудь моя опять неприлично надулась.

— Старшенький? — боязно шепчет мать.

— Перспективы есть. Понадобится несколько недель. Но тоже обязательно выздоровеет.

Меня выписали из больницы, но все же я был слаб и подолгу лежал в постели.

— Слава те, Господи! — шептала бабушка и крестилась на свой запечный угол, откуда на нее заботливо взирал Николай Угодник.

Брат Лешка пришел домой через месяц. Несмотря на клиническую смерть, он всю жизнь занимался спортом — лыжами, боксом.

Детская память сохранила цветные кадры моей первой смерти — ливень, рухнувший столб, спутанные провода, тело брата в грязи, крики ужаса бабушки и подоспевших соседей. Помню дикую электрическую боль, сотрясавшую до кишок. Удивительно, но помню и секундную картинку — вид сверху: из мокрой земли, как из могилы, торчат две детские головы, а вокруг волнуется смутная толпа. Я смотрел вниз как бы с неба, однако оно не казалось мне черным и безмолвным — небо детства, даже мокрое после дождя, в рваных тяжелых тучах, радовало меня самим фактом своего существования. Это ж небо! Страшно жить без неба, а под ненастным небом — нормально, жить можно. Значительно позднее, повзрослев, я иногда поглядывал вверх, как покойник поглядывает на черную и безмолвную изнутри крышку гроба. А тогда — нормально смотрел, без ужаса, правда, не снизу вверх, а сверху вниз. И кто-то крохотной сильной ручкой тянул меня к земле, в тело, в покинутый родной дом. И одолел — втокнул все же, хотя я упирался, потому что тело внутри воняло гарью.

На тыльной стороне правой ладони сохранился шрам от огненного провода, а вот на груди шрам со временем исчез.

Когда Лешка вернулся из больницы, первым делом я спросил его:

— Что такое электрический ток?

— Трудно объяснить, — ответил всезнающий брат. — Все на свете состоит из атомов. Атом вроде звезды, вокруг него крутятся планеты — эти самые электроны. Они могут срываться со своих орбит и бежать по проводам, как бежит река из точки А в точку Б. Сунешь руку в эту реку — ток тебя за руку хватить!

— Как это наша Земля или Сатурн вдруг улетят от Солнца? — не согласился я. — В какую такую реку? Почему вдруг? Они же громадные, тяжелые.

— Вырастешь — узнаешь, — ответил брат.

Я вырос, но секретов электрического тока не постиг. В восьмом классе учитель физики объяснял мне, что атом устроен иначе, сложнее, чем звезда, что электрон — это не частица, а сгусток энергии. И вlepил мне за непонятливость годовую четверку, тем самым испортив аттестат, украшенный круглыми пятерками. Но что такое электрический ток, я не понимаю до сих пор: для меня тайна сия велика есть.

Шпиономания

*Однажды весной шестидесятого года где-то над Уралом
сбили супер-пупер заоблачный американский самолет*

Шпион выпрыгнул с парашютом, но его сдапали колхозники в поле и сгоряча едва не забили. Звали врага то ли Пауэрс, то ли Паулюс, был он то ли полковник, то ли фельдмаршал. Мы, мальчишки, жарко спорили на этот счет, и в итоге победило мнение, что фельдмаршалов, как нашего Кутузова, в разведку на самолетах не запускают. Решили, что шпион все же полковник, а как его зовут — неважно.

Шпиономания в те времена насквозь пропитала страну. Помните гражданина Гадюкина из «Денискиных рассказов»? Гад Гадюкин хотел похитить план советского аэродрома. В рассказе Дениска засунул велосипедный звонок в карман и чуть не сорвал агитационный спектакль. Шпиона Гадюкина с черной бордой четвероклассники все же укокошили без помощи Дениски.

Ключий ветер холодной войны реял и над нашей забытой богом улицей Аянской. Взрослые зачитывались приключениями майора Пронина — советским ответом буржуйскому Джеймсу Бонду. Ребяшня пылливо вглядывалась в лица случайных прохожих. Мой изобретательный брат Лешка уверял (и уверил!), что имеет в спичечном коробке портативный радиоприемник для прямой связи с главным чекистом всей Читы.

Хрущев нагнетал обстановку кузькиной мамой и гробом последнего буржуа, которого он закопает. Отец, как и все его приятели-работяги, недолюбливал Хрущева, называл его трепачом, посмеивался над тувельными угрозами «великого зодчего коммунизма», но и он с уважительной тревогой читал в газетах про Фиделя Кастро, «остров свободы» и советские водородные бомбы.

Как-то поздним вечером Лешка под большим секретом собрал нас, братьев и соседских парнишек, на крыльце дома.

— Вон, шпионы сигнализируют. — И показал рукой в темную даль.

Там, далеко и высоко в сопках, где-то над крутым берегом Ингоды мигал огонек. Он моргал уверенно, ясно, с фиксированными промежутками.

— Азбукой Морзе чешут! — заявил мудрый брат.

Некоторое время притихшая компания, не мигая, всматривалась в далекие сигналы шпионской нечисти.

— Китай или сразу американцы?

— Китай ближе, но, скорее всего, это американцы передают китайцам секретную информацию.

— Какую?

— Секретную. В сопках наверняка свито шпионское гнездо.

— Лешка, и давно это?

— Третий вечер.

— Что же ты не передал координаты чекисту по рации в спичечном коробке?

— Вчера передал. Но у меня связь односторонняя: они меня слышат, а я их нет. Может, уже засекали. Перехватят пароли и явки, а уж потом сграбастают.

— Да это просто марсиане! Разбились о скалы и зовут, поди, на помощь.

Недели на две любимым развлечением всех знакомой шпаны стало наблюдение за таинственными мигающими сигналами. Старшие ребята в тетрадке записывали точки-тире с твердым намерением расшифровать самим или пере-





дать записи «куда следует». Особая группа доверенных товарищей собиралась в поход. Меня в сопки не брали — далеко, мол, но я охотно помогал паковать в горбовики фонарики, спички, сало, сухари...

Однажды огонек погас. И больше не мигал. Особая группа не успела выйти в опасный поход за Ингоду на ловлю то ли шпионов, то ли марсиан.

— Арестовали голубчиков, — дружно решили мы. — Теперь пытаются. Всё расскажут!

Телевизоров, слава богу, тогда у народа не было, но пропаганда на радио и в газетах работала исправно. Что за маяк действовал в тех сопках, я до сих пор не знаю: может, и впрямь шпионы?..

Двуногая собачка

*Однажды Марья Ивановна на уроке труда объявила
домашнее задание: сшить мягкую игрушку*

Самим шить, без помощи родителей. Сделать это просто: нужно нарисовать на бумаге профиль животного, приложить рисунок к материи, обвести карандашом, вырезать и сшить половинки. Так я понял.

В те годы каждая женщина стремилась шить. Это спустя десятилетия появятся в продаже западные журналы с выкройками типа «Бурда-моден». А тогда обходились смекалкой и памятью бабушек-гимназисток. Советские женщины добросовестно изучали основы шитья, однако это ремесло давалось не всем. Варить суп из топора, запастись продукты на зиму, разводить цветы, шить одежду или хотя бы наволочки и шторы — без этих навыков советские домохозяйки считались неумехами. Почему? Да потому, что такой образ жизни диктовали дороговизна и дефицит. В магазинах царило уродливое качество при массовых стандартах. Именно тогда возникли стилиги — как вызов всеобщей уличной серости. Ну и, конечно, кое-что равнодушные граждане увидели на фестивале молодежи и студентов в Москве. А наша учительница Марья Ивановна чутко прислушивалась к ветрам времени.

Женщина со швейной машинкой вызывала всеобщее уважение. Мама имела врожденный талант швеи. Она обшивала не только всю семью, но и половину улицы. При этом мама никогда не делала выкровок: глянет на человека, покрутит его вокруг оси, измерит гибким сантиметром — и готово: приходи завтра за брюками или платьем. За свою жизнь мама пошила горы трусов, маек, рукавиц, штанов, рубах, платьев, курток и даже пальто. Она любила шить, а брала за работу сушие гроши.

Мне казалось, что нет ничего легче, чем сшить собачку: я же наглядился на мамин стремительный труд. Бабушка выделила мне кусочек плюша, немного ваты и две пуговицы для глаз. Я нарисовал на бумаге Шарика — в профиль. Бабуля, послунив химический карандаш, поправила рисунок. Я рассердился, потому что все хотел сделать сам. Марья Ивановна особо предупредила, чтобы мы шили сами, без помощи взрослых. К слову, бабуля задолго до школы научила меня вдевать нитку, завязывать узелки, пришивать пуговицы и делать стежки цыганской, то есть большой, иглой. По рисунку я выкроил из плюша две половинки. Вложил между ними вату и зашил края иголкой с длинной ниткой. Затем прищпандорил глаза, они получились особенно замечательно — яркие пуговицы на черном плюше. Хвост крендельком — вылитый Шарик.

Я остался весьма доволен своим изделием, хотя что-то меня тревожило. Бабушка улыбалась: я решил, что ей нравится мой задорный щенок.

Учительница с сомнением повертела в руках мою игрушку и одобрила. Но поставила четыре. А не пять! Я едва не расплакался: мне хотелось пять! Почему только четыре? Марья Ивановна наморщила лоб:

— Коля, вот если бы у твоей собачки имелось четыре лапы, я бы поставила тебе пять. Но у нее их только две! Разве бывают собачки с двумя лапами?

Тут до меня дошло. Две лапы, а не четыре. Я не догадался вырезать и вшить брюшко с внутренними сторонами лап, тогда их вышло бы четыре. Собачка должна состоять не из двух половинок, а из трех частей! Бабушка наверняка видела недостаток в моей поделке, но я слишком хотел сделать все сам, рассердился на нее за помощь — и вот результат. Не отлично! А я так гордился своей работой! Хорошо, но не отлично!

Возвратившись из школы, первым делом я поплелся к Шарикю. Он радостно вскочил на задние лапы и лизнул меня в нос, раз, другой и третий.

— Ну вот, — сказал я Шарикю, — ты молодец! Четвероногий! А я пришел тебе только две лапы.

С тех пор в моей душе поселилась надежная неуверенность. Что бы я ни делал, всегда думал: а что не так? А чего я не вижу? Двухногая черная собачка немим укором висела над моею головой. Что скрывать: вечные сомнения в своих способностях изрядно помучили меня в жизни и сильно мешали в работе.

Зеленое пальто

Однажды мы надели фуфайки, и началась зима

Фуфайками у нас называли стеганные на вате телогрейки — верхнюю теплую одежду.

Я был младшим, четвертым сыном в рабочей семье. Родители работали на износ, но денег катастрофически не хватало, приходилось занимать у соседей — до полочки, до аванса. Потом следовал короткий праздник сытости (колбаса, конфеты!), возвращались долги, впроголодь тянули время, снова жалкий заем...

— Как же так! — четырехлетним карапузом укорял я маму и отца. — В семье всегда должна быть хотя бы тысяча рублей в запасе.

Родители от души смеялись. Тысяча рублей — хорошая месячная зарплата. Где ж их взять? Денежки их не любили, монеты и купюры водой текли сквозь пальцы.

Понятно, что одежда передавалась по цепочке, от старшего к младшему. Мне доставались вещи от Сережки. Я не страдал нисколько по той причине, что не имел пиетета к одежде — что давали, то и надевал. К тому же Сережка был удивительным чистюлей и аккуратистом. Он лично следил за своими вещами — гладил утюгом штаны, чистил обувь. Мама не могла нарадоваться на него, ставила в пример его отношение к вещам. И порой вздыхала: ну что бы ему не родиться девочкой?

По первому снегу отправились мы дружной ватагой в ближайший лесок. Развели костерок, уселись кругом, дышали зимней свежестью, жарили сало, кусочки которого натывали на веточки. Обалденно вкусно! Брат мой Сережка устроился возле огня в фуфайке, которая в ближайшие дни должна была

перейти ко мне: моя-то стала шибко маловата, а для Сережки новая телогреечка была почти готова — не хватало пуговиц.

Смотрим — от Сережкиной (которая через пару дней должна была стать моей) фуфайки поднимается дымок. Говорим ему: горишь! А Сережка разомлел, и лень ему шевельнуться.

— Отстаньте, — говорит, — от меня. Это пар от снега идет, туточки снизу немножечко шает, — ввернул он какое-то бабушкино словечко.

Дальше — больше: дым от Сережки столбом повалил, круто завоняло горелой ватой. Тронули парня — а полбока у фуфайки нет: выгорела. Давай тушить брата снегом, хохотать до упаду, передразнивать бедолагу: «Шает фуфаечка, туточки немножечко шает...»

Мать всплеснула руками. Что делать? К той зиме семья справила обнову — приобрела теплое одеяло зеленого цвета, в клеточку. Мама решительно сдернула одеяло с кровати.

Через пару дней ударил мороз, и мы пошагали в школу, гордясь обновками: Сережка — черной фуфаечкой с металлическими пуговицами, а я — зеленым в клеточку пальто. Мать пожалела резать дефицитную материю и соорудила пальто длинное, до пят, а чтобы не поддувало, в поясе затянула: со стороны я выглядел шагающей гусеницей. Длинное пальто ограничивало маневренность в ближнем бою, а о стратегических перебежках в нем и думать было нечего. Ноги путались в подоле. Я резко потерял возможность прицельно метать снежки в противника — бац, бац, бац! В первый день я не придавал значения хихиканьям товарищей, меня радовала мягкая, ватная броня. На подходе к дому я увидел в окошке маму: она поджидала меня, вероятно, желая со стороны полюбоваться на отлично выполненные вещи — умного сына и новое пальто. А злодей Валерка Попов, заметив, что я отвлекся, поставил подножку, и я полетел в сугроб. Валерка дико захохотал и поскакал прочь. Его сместило мое зеленое в клеточку пальто. А мама шибко огорчилась. В тот день она не решилась его укорачивать, но спустя неделю все же взяла ножницы и обкорнала подол.

Много позже редактор одной из газет, в которой я работал, явился на службу в новом зимнем пальто. Очень-очень длинном, зеленом в клеточку пальто. Я знал, что произойдет дальше, и это произошло. В редакции воцарилось легкомысленное настроение. Пальто не мешало редактору играть в снежки и строить крепости, наверное, потому, что он и не хотел заниматься такими замечательными вещами, однако дамы, тетки, бабы и барышни редакции хохотали в тот день по любому поводу. Элегантные журналисты, облачаясь в заграничные дубленки, насмешливо поглаживали усики. Редактор отработал в зеленом пальто недолгий срок и ушел на пенсию. Он не понимал причины смешков в свой адрес. Возможно, в послевоенные годы он тоже недобрал полноты эстетического чувства и не испытывал пиетета к одежде.

Детство не с чем сравнить. Оно несравненное. Всегда, у всех и всюду.

Семейная классовая борьба

Однажды мое счастливое детство закончилось. Как кончается все на свете, кроме самого света. Мне было восемь с половиной лет

Как я теперь понимаю, между отцом и бабушкой шла незримая классовая борьба. Отец родился в шахтерском городе Черемхово. Хотя его родители по

происхождению принадлежали к тобольским крестьянам, сам он рос и учился в рабочей семье — без надела земли, без скотины, без сева, косьбы, жатвы — вне крестьянского ритма жизни. Отстоять смену в забое, вернуться в умотанном состоянии домой, поужинать, выпить заслуженные двести граммов — и спать до новой смены. Таков был его ритм жизни.

А бабушка Елена Липатьевна родилась и выросла в казацкой семье. Бабуле хотелось огород, хозяйство, скотину — ее крестьянскую психологию невозможно было переменить. Она смотрела на мир по-иному, чем отец.

В центре маминого мироздания находились ее дети.

Один из маминых братьев — дядя Миша — уродился бестолковее других. Ему, как я понимаю, не везло с женщинами. Он отличался редким легкомыслием, гулял налево и направо. При этом, будучи бездетным по здоровью, считал свои похождения невинной забавой, к тому же зарабатывать нормально не умел. Какой женщине хочется надолго связывать свою судьбу с симпатичным, но ленивым, непостоянным и бездетным голодранцем?

Жил он в Хабаровске. Бабушка была малограмотной, и мама писала родственникам письма вместо бабушки. Обе они жалели непутевого дядю Мишу. И вот он явился летом 1961 года в Читу. Явился якобы повидаться, а в действительности — изгнанный очередной женой из дому. В кудрявой дурной голове дяди Миши возник план: вернуться в Хабаровск с подкреплением в виде родственников, на людях пасть жене в ноги и умолить принять его обратно. Он был уверен в успехе предприятия.

Отец сначала ответил на этот план категорическим отказом. Сам набедокурил — сам отвечай.

Но дядя Миша — безработный и бездомный — продолжил осаду. Он ныл, страдал, жаловался и никуда не уезжал. И ежедневно расписывал, какой замечательный город Хабаровск, как прекрасно там будет жить большой дружной семье — то есть ему с женой и всем нам. А что в Чите? В Чите плохо. Отец работает на Черновских копях — ездить далеко, труд опасный, перспектив нет. Домишко худой, холодный. Засыпной — между досок зола да опилки. Это я любил наш дом всей душой, а дядя Миша сразу углядел и щели в полу, и заклеенные клеем двойные рамы, между которыми на зиму бабушка укладывала слоями вату и посыпала для красоты осколками елочных игрушек. И давил на слабое бабушкино место: мол, что это за огородишко — куцый хвост, а земля — сплошной суглинок, то ли дело в Хабаровске — огороды громадные, почва — чистый чернозем. И Амур рядом — богатая река, не то что убогая Читинка.

И уговорил, черт языкастый. Сначала бабушку с мамой, потом и отца. Отец проявил временную слабость. Шахтерское дело, все знают, тяжелое. Карьера хоть какого-то начальника отцу не светила, он кричать на людей не любил, не хотел. Трудился обычным шахтером. Выполнял норму, в меру выпивал, ценил друзей, таких же рядовых, простых работяг, и никогда не помышлял вступить в такую-сякую партию. Отец, как и все в нашей большой семье, имел доверчивое сердце. Излишняя доверчивость — беда многих русских людей. Помани, обмани — и готово. Доверчивость легко рождает желание обмануть. А трудолюбие одних рождает стремление к эксплуатации у других. И еще терпение. Конечно, рабочий русский человек терпит до конца. Ему обещают коммунизм и горы золотые — он верит, трудится и терпит.

Отцу начал сниться в мечтах теплый белый дом на берегу Амура. Слишком дорого нашей семье обошлись его сны! И он протрезвел, но поздно.

Короче, продали родители дорогую моему сердцу избу на улице Аянской и собрались всей оравой в далекий чужой город Хабаровск. Я плакал. Горячий язык Шарика слизывал холодные слезы с моих щек. С благодарным упреком глядел он на меня. Собачку и уток оставили новым хозяевам. На берегу Читинки я набрал в карман цветных камушков — на память о речке моего детства. Однако камушки эти я высыпал по пути на вокзал. У взрослых это называется «сжечь мосты». Домашний скарб увязали в мешки, упрятали в коробки, сложили их в будку грузовика вроде тех, что хлеб возили, и поехали. В той будке хватило места и братьям, и бабушке, и маме, и змею языкастому дяде Мише. Отец по-командирски занял сидишку в кабине.

Прибыли в Хабаровск и всей ватагой — восемь человек — явились под крыльцо бывшей сожительницы дяди Миши. Грязные, измученные, с узлами в руках, словно погорельцы, глядели мы с надеждой на высокие окна чужого жилища. В дом женщина нас не пустила. Даже детям не позволила умыться. Вышла на резное крыльцо, глянула сверху на «родственников» и обложила всех отборным матом — и дядю Мишу, и бабушку, и маму, и отца. Ее визгливая брань хорошо разносилась в тихом вечернем воздухе. Вдали раздавались редкие гудки паровозов. Отец повернулся и молча побрел назад — к вокзалу. Следом поплелись и мы. Последним, свесив голову, черпая носками сапог неприветную землю, волочился дядя Миша.

На вокзале семья провела в общих размышлениях пару суток. Мы, братишки, подолгу рассматривали грандиозный памятник Ерофею Хабарову на привокзальной площади. Бронзовый казак стоял на высоком постаменте, со свитком в руке, и смотрел куда-то в дальнюю даль. Помню, родители сделали попытку найти подходящее жилье и как-то устроиться на новом месте. Я был вместе с ними на берегу Амура. Другой берег колоссальной реки действительно терялся в тумане. Вода казалась серой, безжизненной. Нам указали на белый, словно игрушечный, домик, который продавался. Отец пошел торговаться один. Вернулся с зеленым лицом. Губы его прыгали. Он зло заругался на дядю Мишу. Сон рассыпался, раскололся на мелкие кусочки, как фарфоровая чашка. Оказалось, что с нашими деньгами ничего подходящего в Хабаровске мы купить не сможем. Отцу это объяснили понятно, на чистом русском языке. Наш домик на улице Аянской родители продали раз в десять дешевле, чем такой же стоил бы в Хабаровске. К тому же шел 1961 год — люди еще не привыкли к новым деньгам, в головах путались старые и новые цены; возможно, и по этой причине родители сильно продешевили.

Сидя на горе домашнего скарба в углу тесного, еще старого железнодорожного вокзала Хабаровска, в окружении бабушки, смурных родителей, унылых братьев и кудрявого черта языкастого дяди Миши, я понял, что детство мое закончилось. Семья — вот она, однако ехать нам было некуда, да и не на что, и ни одна живая душа в целом свете нигде нас не ждала и не радовалась бы нашему приезду.



Кристина ГОРТМАН

ТЕЛЕГА С КУЛЬТУРОЙ И ИСКУССТВОМ

*Да. Лучше поклоняться данности
с убогими ее мерилami,
которые потом до крайности,
послужат для тебя перилами...*

Иосиф Бродский

Почему спивается русская деревня? Уже много лет прогрессивная мировая общественность знает, что любая зависимость, в том числе и алкогольная, происходит от недовольства реальностью и невозможности эту реальность изменить. Короче, от отчаяния...

Справедливости ради замечу, что часть этой прогрессивной общественности так же благополучно спивается, сидя в городе, но здесь отчаяние вариативно, как россыпь благ и соблазнов, городом предлагаемых. Проще говоря, каждый городской отчаян по-своему, отчаяние же у сельчан похоже и берет начало в безнадежной безработице, помноженной на сенсорную депривацию. Ведь все, что осталось у этих добрых людей, — это магазин «Рябинка», бывшая средняя школа с заколоченными ставнями и заржавевший колхозный трактор, ну и семья с детьми. Попытки уехать или заняться фермерством не у всех увенчиваются успехом, и в результате постоянное желание дела, денег и событий не удовлетворяется ничем, кроме (рано или поздно) мечтаний и забвения.

Вот и бежит босое простоволосое село от своего отчаяния напрямик в овраг хмельного веселья, где все расписано яркими этиловыми красками, где нет нищеты и страха, — таковы были мои представления о русской деревне ровно до того момента, пока я на несколько часов не очутилась там.

* * *

Село Красное (Кемеровская область) еще каких-то сто пятьдесят лет назад числилось центром Касьминской волости — шутка ли, почти триста дворов было и рысаков выращивали для армии! В 1908 году в Красном возвели каменный храм, в то время как даже в Новониколаевске на весь город каменный собор имелся тогда лишь один, а в Цегловске (будущее Кемерово) так и вообще все церкви были деревянными.

В Красное ехали из Томска на знаменитые Брюхановские ярмарки, здесь работал маслодельный завод, было сельское училище и церковно-приходская школа — короче, жизнь кипела.

Знакомство же с современным Красным лично у меня началось с бывшего дома купца Пьянкова, когда-то владевшего двумя конезаводами и поставлявшего лучших лошадей императору Николаю II. Сейчас сохранившийся особняк



Пьянкова — памятник архитектуры, здесь расположен сельский музей истории крестьянского быта.

Директор музея, хрупкая, но активная Надежда Макаровна Зинкина, встречая меня, радушно хлопотала — не потому, что я желанный гость, а потому, что они тут всех так принимают, я видела. Оказалось, что Надежда Макаровна сейчас проходит онлайн-обучение развитию локального туристического продукта, а параллельно разрабатывает с коллегами реконструкцию Брюхановских ярмарок и пеший маршрут по историческим местам села — человек занятой, без шуток, и дел у нее выше крыши!

После посещения музея мы с настоятелем церкви Святой Троицы протоиереем Василием Ануфриевым полчаса проговорили о том, как развивается приход. За последние годы здесь появилось несколько частиц мощей святых, в том числе и почитаемых во всем мире (Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, Серафима Саровского), — в этом сельском храме никогда с 1908 года не было столько святынь!

Ну а после наступила самая вкусная часть моего пребывания здесь: наваристый борщ вприкуску с салом от хлебосольных сельчан, моих друзей, которые всю жизнь живут в Красном. Для поглощения борща, кстати, мне вручили серебряную ложку 1882 года. «У нас, — говорят, — еще есть столетняя вилка австрийского производства, военный трофей, и маленькая серебряная ложечка. Красное — село старое, здесь и не такое найти можно...» И всё извинялись за беспорядок дома: делают ремонт, да и второй ребенок только месяц как родился...

* * *

Ехать от Красного до моего дома в Ленинске-Кузнецком — около часа, и у меня было время сопоставить то, что я еще утром думала о русской деревне, с тем, что я только что увидела.

Колхоз в селе закрыли десять лет назад, скорая работает только в будние дни, шестьдесят домов выставлены на продажу — но почему же мне встретились только активные жизнерадостные люди, которые строят планы на будущее? «Да, работы все меньше, — сказали друзья из Красного, — кто-то уезжает на вахту, кто-то перебирается в Краснодарский край, кто-то — на Север, чтобы пораньше выйти на пенсию. Конечно, у нас есть и пьяницы, и асоциальные семьи, но их в процентах примерно столько же, сколько и в городе. Если хочешь жить нормально — ты найдешь такую возможность, где бы ты ни жил».

Эта поездка и этот разговор изменили не только мое представление о русской деревне, но и мое понимание своего профессионального существования. Когда-то, уезжая из Ленинска-Кузнецкого в Новосибирск, а затем из Новосибирска в Москву, я была уверена, что никогда не вернусь — огни больших городов освещали тысячи путей развития и сотни перекрестков, где я встречала единомышленников. Мы генерировали идеи, воплощали их, учились друг у друга, искали, падали и поднимались.

Первое, что сказал нам мастер курса на вводном занятии по режиссуре во ВГИКе: кино — дело командное. Даже великий Чаплин, будучи сценаристом, композитором, режиссером, монтажером, актером и продюсером в одном лице, не обошелся без актрисы Вирджинии Черрилл, звукорежиссера Джеймса Л. Филдса и сотен других коллег, благодаря которым и смог создать свои киношедевры. Без команды ничего бы не сделали ни Чаплин, ни Тарантино, ни Данелия, поэтому, говорил нам мастер, ищите свою команду.



Студенческий билет ВГИКа давал нам возможность посещать театры Москвы бесплатно (только в Малом приходилось платить двадцать рублей, что нас ужасно возмущало), и там, смотря спектакли из ниш или со ступеней театральных проходов (места студентам выделяли редко), мы понимали еще одну прописную истину: командное дело — не только кино, но и театр. Команда была основой и на кинофестивалях, и в интернет-изданиях, куда я писала студенческие рецензии, — залогом успеха любого дела, за которое мы брались, всегда оказывался коллектив одаренных личностей, профессионалов, заряженных на продуктивную работу.

Но одно дело — сказать об этом, и совсем другое — действительно найти своих. Мы искали друг друга методом проб и ошибок: студенты-продюсеры пропадали на так называемых «сценарных ярмарках», читая десятки сценариев, пьес и прозаических произведений в поисках прекрасного сюжета; художники не пропускали ни одного показа вгиковского кинофестиваля, где можно было подсмотреть, кто из операторов лучше работает со светом и камерой, а значит, выгоднее предьявляет зрителю предметный мир кадра; режиссеры не выходили с актерских экзаменов по мастерству (а актеры по сарафанному радио передавали друг другу отчеты о работе с тем или иным студентом-режиссером); звуко-режиссеры следили за всем вышеописанным, и только «мультики» (режиссеры анимации) жили своей жизнью, поглядывая на остальной студенческий люд с долей отрешенности, изредка перемешанной с любопытством...

Договорившись однажды о съемке учебной работы с оператором и звуко-режиссером, я очень волновалась: мы снимали документальное кино, в котором необходимо фиксировать жизнь, и второй дубль в нем не предусмотрен. С этим оператором мне еще не приходилось работать, его неигровых работ я не видела и не знала, насколько он подготовлен к методу наблюдения. Документалисты прекрасно знают, как важен оператор, чувствующий точный момент, когда нужно включить камеру (или, наоборот, не выключить ее), чтобы поймать нужную эмоцию героя или зафиксировать ситуацию, которая потом спасет весь фильм. Мы много толковали об этом со съемочной группой, договаривались о системе знаков и жестов на съемке, обсуждали тему, идею, места и людей, которых будем снимать. Ребята были полны энтузиазма, и это вселяло надежду, что мы сделаем достойный фильм.

Накануне дня «икс» я позвонила оператору, чтобы напомнить о времени сбора, и внезапно услышала от него слова, больше подходившие глупому персонажу низкосортного сериала: мол, мне рассказали, что ты говорила обо мне плохо, поэтому я ничего снимать с тобой не буду. Так я впервые столкнулась с тем, что называется «закулисная игра», «грязные сплетни» или «шоу-бизнес, детка», — оказывается, студенты творческих профессий не только оттачивали навыки командной работы, но и упражнялись в умении вставлять палки в колеса.

В один миг мой корабль пошел ко дну: наш фильм внезапно остался без человека с киноаппаратом, и была всего одна ночь на поиски нового оператора и введение его в курс дела. Но мне повезло!

С этим новым оператором, Тимофеем Лобовым, и звуко-режиссером Сергеем Ермаковым впоследствии мы сняли еще несколько студенческих работ и даже документальный фильм на пленку с запуском на киностудии ВГИКа и совместным производством на Киностудии им. Горького. Пожалуй, это были последние годы, когда кино снимали на пленку, — после 2010 года практически все производство в России и мире перешло на цифру. Но главное осталось неизменным: команда как была, так и до сих пор остается главной движущей силой в творческом проекте. Один в поле не воин.

Именно этот постулат я часто вспоминаю, живя и работая в маленьком городе Кемеровской области под названием Ленинск-Кузнецкий. Вопреки моей юношеской уверенности, что я сюда никогда не вернусь, я не просто вернулась, а задержалась здесь на одиннадцать лет по семейным обстоятельствам непреодолимой силы. Плавая баттерфляем по тихой гавани провинциальной жизни, я периодически делала шумные вдохи над водой в виде работы в Новосибирске и Томске, но затем вновь возвращалась на эту небольшую глубину, стабильную в своем штиле.

Одиннадцать лет, уезжая и возвращаясь, я открывала для себя мир маленького шахтерского города, воевала с ним и смирялась, ненавидела его и восхищалась им. Мне сразу стало понятно, что про кино здесь можно забыть, равно как и про театр. Кинематографом тут жители называли пошлые комедии и блокбастеры категории В, демонстрировавшиеся на экране единственного в то время в городе кинотеатра «Победа», театром — новогодние представления в местных домах культуры, не отличавшиеся, мягко говоря, художественной новизной. Вины на ленинск-кузнецанах за это не было — истинно творческая сфера тем и отличается от финансовой, что в ней не спрос рождает предложение, а именно наоборот: искусство подтягивает до своего уровня, обогащает зрителя, дает ему пищу для ума и эмоций, а ответственность за эти процессы лежит непосредственно на культурных руководителях и выстроенной ими системе в отдельно взятом городе и отдельно взятой стране.

Я не могла отделаться от этих мыслей, когда видела, что пока там, в столицах, спектакль «Рассказы Шукшина» собирает «Золотые маски», Алексей Учитель встречается с драматургами на «Любимовке», а Кама Гинкас ставит Ибсена в Александринском театре, сюда, в этот маленький прекрасный город, приезжает юморист из телевизора с концертом, следом — цирк, а затем — всеми уже забытая звезда поп-музыки девяностых. И люди идут на эти выступления и радуются...

Тогда мне казалось, что в Ленинске-Кузнецком я единственная, кого смущает данное положение вещей, — так мне пришлось познакомиться с идейным одиночеством. Ни о какой команде речи не шло, привычное творческое pos сменилось на растерянное и беспомощное его. В поиске применения своим навыкам я пришла к выводу, что писательское дело — вероятно, то занятие, которое поможет мне здесь сохранить свои потребности и умения. Профессия, связанная с текстом, казалась наименее зависящей от команды. Я выбрала путь писателя как примиряющий с одиночеством и позволяющий не сойти с ума.

...Отрицание оказалось первой остановкой на этом пути. Женщина в блузке, служительница центра занятости населения, кхекнула, увидев мой диплом: да, работу вам найти будет сложно. В этой небрежно брошенной фразе прозвучала ирония даже не кадровика, а непостижимая ирония судьбы: когда-то я поступала в НГУ и ВГИК как в лучшие вузы страны с надеждой, что их дипломы откроют мне все двери, — и кто бы мог подумать, что ключи к дверям ленинск-кузнецких предприятий лежали совсем в других местах! Вакансий журналиста, сценариста, режиссера здесь отродясь не бывало, зато требовались машинисты, горнорабочие, механики, учителя и врачи.

Писателя как профессионала здесь отрицали, это не считалось работой, люди не видели в ней никакой практической пользы, человек пишущий в этом городе был не нужен. Только на одном чудом уцелевшем островке, в «Городской газете» (бывший «Ленинский шахтер»), еще держалась могучая кучка мастодонтов журналистики, но, к сожалению, штат был под завязку укомплектован редактором и двумя корреспондентами и молодежь не принимали. Мне при-

шлось признать, что такое, казалось бы, совершенно не зависящее от места жительства автора дело, как писательство, все-таки — профессия крупного города.

* * *

Первая связь с «Большой землей» была налажена с помощью телевизионных сериалов, где я стала работать сценаристом. Удовольствия от скандальных мелодрам и псевдодока было мало, как и связи с литературным трудом, но, во-первых, появилась хоть какая-то возможность творить, а во-вторых, семья наконец-то была накормлена. Тем не менее отрицание писательской деятельности как значимого занятия набирало новые обороты среди местного населения.

Когда-то давно, еще в университете, мы обсуждали этот интересный феномен: сложно поверить, что сосед по подъезду, какой-нибудь дядя Петя, с которым здороваешься в лифте, — нобелевский лауреат или, например, Герой России. Нам кажется, что такие люди — избранные, небожители, и потому не могут, как все, есть, спать, выбрасывать мусор, жить в нашем подъезде. Конечно, я не претендовала ни на орден, ни на премию, но оказалось, что сценарист для местных — примерно то же, что и вышеописанный дядя Петя, если точнее — человек, застрявший где-то между цирковой обезьянкой и нобелевским лауреатом. С одной стороны — интересно, с другой — не верится. Кино, книги, литературные журналы для ленинск-кузнечан словно существуют где-то там, в другой галактике, в ином пространстве и времени, и, услышав о моей работе, люди похихикивали и смотрели искоса — в общем, не верили и не воспринимали всерьез.

Логично предположить, что одна из естественных реакций человека на такое отношение — замкнутость на своей «инопланетной» деятельности и отстранение от сомневающегося социума. Но тогда это оказалось невозможным: я обнаружилась уже на следующей станции своего пути, которую условно назову переизбытком.

Менталитет жителей больших и малых городов отличает, помимо прочего, разное отношение к личному пространству друг друга. Если в мегаполисе уважение к чужим границам порой доходит до абсурда и даже отдает равнодушием, то в районных центрах — обратная история. Любой житель маленького города испытывает давление переизбытка внимания людей разной степени близости, а по причине общей тревожности и большого влияния традиций отсюда вытекает еще и излишек требований соответствия стандартам — быть как все. И чем сильнее человек отличается от этих абстрактных «всех», тем сильнее на него давление.

К тому времени я уже знала нескольких прозаиков и поэтов, живших со мной в одном городе и деливших одну долю. Для поддержания штанов и сохранения нервов они работали кто где (в регистратуре поликлиники, на шахте, в методическом кабинете Дома культуры), а по выходным встречались узким кругом в каминном зале библиотеки им. Крупской, чтобы почитать и послушать стихи и прозу друг друга, ездили на фестивали и конкурсы за свой счет, за бесценок или совсем бесплатно публиковались в альманахах и сборниках. Среди них были прекрасные авторы, и я наблюдала за этим шокирующим феноменом — человек дело своей жизни долгие годы вгоняет в рамки хобби, уделяя большую часть времени работе, которая его не радует. Было очевидно, что дело здесь не только в средствах к существованию, но и в давлении общественного мнения.

Это Толстой и Достоевский зарабатывали своими нетленками, а ты, житель Ленинска-Кузнецкого, прекрати заниматься ерундой и займись полезным делом! В этом требовании маленького города за последние пять лет ничего не



изменилось — писатель в провинции и сегодня вынужден маскироваться под «нормального человека».

...Так появилась моя первая большая пьеса «Угольная пыль», которую опубликовали журнал «Сибирские огни» и ряд электронных изданий, прочитали со сцен театров Новосибирска, Москвы, Риги. Пьеса, которая заняла первое место в номинации «Весь мир» международного драматургического конкурса «Баденвайлер» (2018). В этот драматургический текст я вылила всю свою боль за творческую личность в условиях маленького давящего города и постаралась поговорить с читателем о том, к каким катастрофическим последствиям это давление может привести. К тому времени я была уже на третьей станции своего пути — станции недостатков.

Развитие интернета позволило мне вести дела в формате «удаленки» — я продолжала писать корреспондентские материалы и телесериалы лучшего качества, чем в 2012 году, но настоящую жизнь мне дали пьесы. Вот где творческая душа могла разгуляться!

После жестких рамок кинодраматургии и условностей журналистики мир театрального текста казался раем: здесь тебе и возможность поговорить о настоящем, и полная свобода в построении конструкции, и тысячи путей развития. Пьесу моего друга Вовы Зайцева поставил Константин Райкин в «Сатириконе», и мы поняли, что это не просто занятие для души, а еще и профессия, которая может кормить. В какой-то момент я обнаружила себя уже несколько недель сидящей перед компьютером и не выходящей из дома, а очнувшись, поняла, что за эти три недели посмотрела по несколько спектаклей Туминаса, Фоменко, Додина, Захарова, Някрошюса, но мне показалось мало. Я вновь нырнула в глобальную сеть и поглотила все доступные спектакли «Театра.doc», Серебренникова, Рыжакова, Панкова, Бутусова — и все равно мне казалось недостаточно. Наконец я поняла, в чем причина ненасытности: театр надо смотреть живьем.

Вновь всплыло уже почти забытое мной слово «команда», неотъемлемой частью которой в театре всегда был, есть и будет зритель. Пандемия показала, что без людей в зале нет энергии, спектакль не идет. Справедливо и обратное, ведь смотреть постановку в записи через интернет — все равно что красть из собственного кармана. Но это еще полбеды, а настоящая беда заключается в том, что современный мировой и российский театр уже давно вышел за рамки одних только спектаклей. Читки, лаборатории, мастер-классы, семинары, проекты, эксперименты — все это давно набирает обороты и развивает театральное сообщество, выводя и драматургов в том числе на качественно новый уровень. Театральные авторы общаются, перенимают опыт, учатся на ошибках друг друга, смотрят постановки — и «подпитываются» и набираются идей.

Что же в Ленинске-Кузнецком? У нас увеличилось количество площадок для новогодних представлений, правда, люди, которые их делают, состарились на десять лет. Недостаток актуальных театральных и литературных событий, а потому и единомышленников создал здесь для редкой созидающей единицы невероятное творческое голодание, которое, по мере развития креативной России, обостряется в геометрической прогрессии.

Мы разговаривали с Дмитрием Филипченко, членом Союза писателей России, организатором тех самых встреч поэтов и прозаиков в каминном зале библиотеки им. Крупской, редактором литературных альманахов «Образ» и «Кольчугинская осень», организатором Всероссийского фестиваля поэзии им. Алексея Бельмасова и творческих встреч с поэтами и писателями в Ленинске-Кузнецком — кажется, что такая продуктивная работа уже давно должна бы принести плоды, но на недавнюю встречу с новосибирским поэтом Сергеем Са-

мойленко приехали всего двадцать пять зрителей. Для города с населением в сто тысяч человек это катастрофически мало... Спрашиваю у Димы, почему так. У него единственная версия: интернет стал увлекательнее, общество потребления диктует свои правила, люди перестали интересоваться живой литературой.

* * *

Делая документальный фильм о Воронеже, я наблюдала толпы и очереди на Платоновском фестивале. Я занимала столик заранее на поэтических битвах в Новосибирске, чтобы было где сесть. Я вижу, как на читках пьес-победителей конкурса «Ремарка» (каждый год в новом городе) яблоку негде упасть. Вряд ли дело в интернете...

В 2019 году, вспомнив свои мысли об ответственности культурных руководителей и выстраиваемой ими системы, о том, что искусство должно воспитывать читателя и зрителя, обязано прививать вкус, вести за собой, давать пищу для ума и эмоций, — ныряю в эту самую систему и становлюсь одним из руководителей: заведующей отделом во Дворце культуры и искусства. Знакомлюсь с коллективом, радуюсь: вот она, команда! Борюсь с требованиями вышестоящего руководства о стандартных схемах сценариев, с повторяющимися из года в год песнями и танцами на массовых мероприятиях, с розочками из гофры и колоннами из пенопласта. Воюю с начальственным страхом перед творческим экспериментом, бьюсь с трафаретностью и однообразием.

Организирую мероприятия, готовлю сценарии, веду приемы, монтирую фильмы, провожу репетиции, играю в детских программах, пишу отчеты, анонсы, планы, ищу реквизит, работаю на праздниках, работаю на выходных, работаю без выходных. Тону...

И вижу, как вместе со мной тонут профессиональные хореографы, музыканты, вокалисты, режиссеры — вся наша команда.

Четыреста двенадцать мероприятий в год — дорожная карта культурного учреждения, обязанность, наложенная на него государством. Это одно-два мероприятия в день, которые необходимо готовить и репетировать. Без выходных и отпусков. Мы оказываемся перед выбором: либо работать на совесть, либо потонуть. Я остаюнавливаюсь.

Передо мной сидят уставшие, обессиленные, давно разочаровавшиеся люди, у которых нет ни сил, ни желания развиваться и которые говорят мне: «Мы делали ставки, надолго ли тебя хватит...»

Я возвращаюсь в свой тихий домашний угол, включаю компьютер и пишу новые сценарии для Москвы, документальные пьесы для Санкт-Петербурга, статьи для Екатеринбурга, две книжки для Новосибирска. Дмитрий Филиппенко анонсирует выход нового альманаха и предстоящую встречу с профессиональным литературным редактором.

Дворец культуры и искусства стоит. Город заволакивает смогом из смеси январского мороза и угольной пыли. Бегают бродячие собаки, дети идут из школы. Мы с Ленинском-Кузнецким живем разными, параллельными, жизнями. Я вспоминаю свою поездку в село Красное и слова моих друзей: «Если хочешь жить нормально, ты найдешь такую возможность, где бы ты ни жил». И понимаю, как были правы эти простые ребята, берегущие серебряные ложки XIX века, откопанные ими в огороде.

И задаю всего один вопрос, повисающий без ответа в угольном воздухе: Русь, куда же несешься ты и почему не замечаешь плетущуюся сзади телегу, которая везет культуру и искусство в мой маленький город?

ЛЮБОВЬ ЛАЗАРЕВА: ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВЗРОСЛЫЙ МИР

Профессиональный художник-график и иллюстратор Любовь Лазарева сотрудничает с региональными и центральными издательствами («Эгмонт», «АСТ», «ЭНАС-КНИГА», «Эксмо», «Махаон», «Качели»), она работала с произведениями Агнии Барто, Корнея Чуковского, Павла Бажова, Джанни Родари, Яна Ларри, Михаэля Энде, Владимира Шамова, Евгения Мартышева, Таисии Пьянковой. Принято считать, что художник рассказывает о себе своими картинами, но это рассказ о зрелом человеке и его отношении к миру, а нам захотелось узнать, как человек начинает свой творческий путь. Ведь очень часто истоки реки определяют дальнейшее ее течение и характер — так и в искусстве: самые первые впечатления и работы помогают в неожиданном ракурсе увидеть то, что делает автор сейчас. Поэтому мы попросили Любовь Лазареву рассказать, что повлияло на ее интерес к изобразительному искусству и как происходило становление ее как художника.

* * *

Я родилась и живу в Новосибирске. В советское время это был прекрасный город для тех, кто хотел стать ученым, музыкантом или артистом, но с художественным образованием все было печально, а я с детства представляла себя именно иллюстратором! И прежде всего на меня повлияла бабушка — живопись была ее несбывшейся мечтой.

Вообще, судьба моей бабушки, как и многие судьбы в первой половине XX века, сложилась драматически, поэтому, несмотря на художественное образование, художником она не стала. Но каждый год, приезжая к нам в гости на все лето, она с блеском исполняла роль Арины Родионовны: рассказывала сказки, придумывала для моих друзей и меня разные игры и рисовала все, что бы мы ни заказали: красавиц, сценки из нашей жизни, сказочных героев. Самая первая в моей жизни книжка-раскладушка была нарисована ею. Так что бабушка — это мой первый учитель.

А второго мама стала искать после моих настойчивых просьб — лет в девять я объявила, что срочно должна учиться рисовать. Знакомые посоветовали кружок изобразительного искусства, который вел пожилой художник-любитель, неимоверный энтузиаст Георгий Александрович Фролов. Увидев мой пыл, он стал заниматься со мной индивидуально: я приносила ему наброски, композиции, а он их очень дотошно разбирал, и на эту-ды я впервые поехала тоже с ним. Этот человек замечательно умел вдохновлять детей, но, конечно, не мог дать профессионального образования.

И тут вдруг очень своевременно в Новосибирске открылась первая художественная школа — конечно, я туда побежала! Там работали в основном учителя, до этого преподававшие в вузе, а сама школа располагалась в здании художественного факультета пединститута.

В то время никому и в голову не могло прийти, что с детьми нужно заниматься как-то по-особенному, поэтому, насколько я могу судить, мы прошли вузовскую программу по всем специальным предметам и спрашивали с нас, как со взрослых. Замечательная была школа!

После ее окончания я еще занималась некоторое время в студии художника Александра Сергеевича Чернобровцева, где под руководством мастера рисовали в основном художники-любители всех возрастов, но были и студенты профильных вузов и факультетов. Помимо практических занятий, Александр Сергеевич рассказывал много интересного о теории изобразительного искусства и психологии восприятия. В студию Чернобровцева я ходила на протяжении двух последних школьных лет.

А дальше пришло время выбирать вуз, и по-хорошему надо было уезжать из дома — в Красноярск, в Москву, в Ленинград или еще куда-то. И вдруг я засомневалась... Мне было семнадцать лет, и я хотела быть исключительно великолепным художником, а не каким-то там заурядным. А вдруг я ошиблась в своем призвании и буду потом всю жизнь что-то из себя выжимать и завидовать другим? А вдруг я не поступлю с первого раза или вообще не поступлю, потому что конкурс огромный? А не лучше ли получить профессию попроще и честно делать что-то однозначно полезное?

В общем, я попросту струсилa и выбрала архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института. Правда, там тоже преподавали рисунок, живопись, скульптуру — они и стали моими любимыми предметами! Атмосфера на факультете была очень интересная, как сейчас бы сказали — креативная: вокруг были и маститые, и начинающие архитекторы, а я готовилась стать полноправным представителем этого цеха.

Но однажды осенью, в начале четвертого курса, решив сделать в подарок под-

руге ко дню рождения маленькую рукотворную книжечку о ней и наших детских играх, я сочинила текст и начала рисовать картинки. И наступил момент истины — я испытала такой драйв, что стало совершенно ясно: хочу заниматься этим всю жизнь, независимо от того, великолепный я художник или заурядный, готова учиться, уехать из дома, поступать столько раз, сколько понадобится! Однако мои родители были против: они сказали, что сперва нужно завершить одно образование, а уж потом браться за второе. Я приуныла. Ждать два года!

Но недаром говорят, что самое важное — четко сформулировав запрос, адресовать его ко Вселенной, что я и сделала. Ответ был получен практически сразу: писатель Юрий Магалиф готовил сборник сказок к своему юбилею и общие друзья предложили мне сделать парочку пробных картинок, чтобы показать Юрию Михайловичу. И — о чудо! — они ему понравились. Кстати, через много лет я нашла эти первые пробы и могу уверенно сказать, что слово «чудо» — не преувеличение...

Магалиф привел меня в издательство, где я нашла еще одного учителя, значимость которого невозможно переоценить, — Виталий Порфирьевич Минко, главный художественный редактор, был настоящим асом! Потом, когда мы стали друзьями, он признался, что пришел в ужас, увидев, кому Магалиф собирается доверить свою юбилейную книгу, но, к счастью, богатый опыт работы с подобным контингентом у Виталия Порфирьевича был. В 1950-х годах, когда он приехал по распределению в Новосибирск из Львова, ему пришлось искать рисовальщиков по всему городу, приспособлявая их к книжному делу, и в результате собралась замечательная команда, в которой были такие художники, как Спартак Калачев, Эдуард Гороховский, Светлана Ким, Александр Шуриц и множество других талантливых людей. Оформля-

ли они книги свежо, новаторски и по-настоящему мастерски! На этих книжках я росла и даже не догадывалась, что многие из художников не были изначально профессиональными иллюстраторами — но зато профессионалом был Минко.

И вот тогда, в издательстве, он терпеливо взялся обучать меня. Работа длилась в целом около двух лет (в те времена издательские планы были невероятно долгосрочными), некоторые картинки я перерисовывала по три-четыре раза, но в конце концов все иллюстрации были приняты.

К тому времени я успела окончить институт, но вместо того, чтобы ехать учиться, вышла замуж, так что сын и сборник Магалифа появились на свет в один год. Тираж был огромный, и до сих пор встречаются люди младше меня лет на десять-пятнадцать, которые при знакомстве изумляются: «Так это ты рисовала? А я очень любил эту книжку в детстве!»

К сожалению, так получилось, что на этом сборнике сказок закончилась целая эпоха — пришли 1990-е годы, и качественные цветные книги для детей вновь стали издаваться только много лет спустя...

Но и в черно-белых иллюстрациях есть своя прелесть! Вскоре я почувствовала, что у меня действительно что-то получается — без заказов не оставалась никогда, а с некоторыми работами мне сказочно повезло, например, с произведениями Льва Штудена, Михаэля Энде, Елены Ильиной, с русским фольклором и стихотворениями Георгия Семенова.

К тому же благодаря развитию интернета появилась возможность сотруд-

ничать с большим числом авторов и издательств.

Понятно, что каждый художник узнаваем, но все же я стараюсь не заикливаться ни на приемах, ни на техниках и всегда боюсь оказаться в плену каких-нибудь созданных мною же клише — если я вдруг ловлю себя на этом, тут же отправляюсь на поиски чего-то нового. Меня вдохновляют природа и творчество других людей — и литературное, и художественное, и сценическое. Вдохновляет и моя вторая работа, которая совершенно неожиданно появилась пятнадцать лет назад, когда меня пригласили в детскую студию «Старая мельница» заниматься с ребятами анимацией. В этой сфере мне тоже многое пришлось осваивать самостоятельно. Впрочем, современная авторская анимация в чем-то родственна книжной графике и точно так же предполагает бесконечное движение и поиск. А общение с детьми, творческое взаимодействие с ними — это вообще мощнейший источник энергии!

«Для того чтобы вырастить из ребенка хорошего человека, достаточно каждый вечер читать ему перед сном хорошую книгу» — не помню, кому из известных людей принадлежит это высказывание, но если умножить количество всех детей на количество вечеров (хотя бы за семь лет), то станет ясно, что работы у тех, кто делает книги, очень много. И это здорово!

*Подготовлено по материалам,
предоставленным Л. П. Лазаревой
и Новосибирской областной детской
библиотекой им. А. М. Горького*



АВТОРЫ НОМЕРА

Горепёкин Роман Александрович родился в 1972 г. в Новочеркасске Ростовской области. Окончил Новочеркасский политехнический институт. Работает заместителем директора ООО «КБ “Тренажерные комплексы”». В свободное от работы время — музыкант. Лауреат премии «Сибирских огней» в номинации «Проза» (2020). Живет в Новочеркасске.

Гортман Кристина родилась в 1986 г. в Ленинске-Кузнецком. Окончила факультет журналистики Новосибирского государственного университета, училась на режиссерском факультете ВГИКа. Работала сценаристом телевизионных сериалов, сценаристом и редактором документальных фильмов, ведущей эфира и редактором на сибирских радиостанциях. Драматургией занимается с 2016 г. Живет в Ленинске-Кузнецком.

Дроботова Ольга родилась в 1970 г. во Фрунзе. Окончила архитектурное отделение Фрунзенского строительного техникума. Работает преподавателем детской школы искусств. Живет в Новосибирской области.

Зайков Николай Николаевич родился в Черемхово Иркутской области в 1953 г. В 1956 г. семья переехала в Читу, где и жила до 1961 г. В 1975-м автор окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Затем учительствовал в деревне, служил в армии, тридцать лет работал в газетах, из них в течение пятнадцати лет (с 1992 по 2007 г.) — главным редактором ежедневной независимой газеты «Вечерний Новосибирск». Живет в Новосибирске.

Ивантер Алексей Ильич родился в 1961 г. в Москве. Постоянный автор журналов «Наш современник», «Москва», «Иерусалимский журнал», «Дружба народов», «Сибирские огни» и другой периодики.

Королев Андрей Александрович родился в 1964 г. в Кемерове. Окончил филологический факультет Кемеровского госуниверситета. Был профессиональным футболистом, более тридцати лет работал в газетах. Публиковался в журналах «Огни Кузбасса», «После 12», «Сибирские огни». Живет в Кемерове.

Кырова Татьяна Михайловна родилась в 1962 году в д. Пухово Курганской области. Окончила Миасский геологоразведочный техникум. Финалист и лауреат ряда сетевых литературных конкурсов. Автор двух сборников прозы. Живет в Красноярске.

Леушев Николай Геннадьевич родился в 1956 г. в Архангельской области. В 1979 г. окончил лечебный факультет Архангельского медицинского института. Работает врачом-терапевтом. Автор ряда рассказов, печатался в журналах и альманахах «Приокские зори», «Огни над Бией», «Истоки», «Земляки» и др. Живет в поселке Урдома.

Лозович Виталий Васильевич родился в 1957 г. в Воркуте. Учился на филологическом факультете Сыктывкарского университета. Более тридцати лет работал кино- и телеоператором на Воркутинском телевидении, а также в ГТРК «Ямал» в Салехарде. Печатался в журналах «Север», «Дальний Восток», «Аврора», «Огни Кузбасса», «Урал» и др. Опубликовал два романа и сборник повестей. Лауреат ряда литературных премий. Член Союза журналистов России и Международной федерации журналистов. Живет в Салехарде (ЯНАО).

Михня Святослав Борисович родился в 1975 г. в Твери. Окончил исторический факультет Тверского государственного университета. Работает журналистом. Автор трех поэтических сборников и нескольких краеведческих книг. Живет в Твери.

Огарков Владислав Борисович родился в 1946 г. во Львовской области в семье военных. Жил в Средней Азии, на о. Сахалин, на Северном Кавказе, в Подмоскovie, в Эстонии. В 1969 г. приехал на строительство Усть-Илимской ГЭС и остался в Сибири. Инструктор по спортивному туризму, охотник, резчик по бересте и дереву, журналист, писатель. Работал фрезеровщиком, токарем, строгальщиком, журналистом в газетах и на радио. Автор нескольких книг прозы. Живет в с. Шаманка Шелеховского района Иркутской области.

Прашкевич Геннадий Мартович родился в 1941 г. в с. Пировском Красноярского края. Прозаик, поэт, переводчик. Автор романов «Секретный дьяк», «Носорукий», «Теория прогресса», биографических книг о Жюле Верне, Уэллсе, Брэдли и др. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат ряда литературных премий. Живет в новосибирском Академгородке.

Романова Татьяна Сергеевна родилась в 1992 г. в г. Каргополе Архангельской области. Окончила Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «государственное и муниципальное управление». Работает менеджером по персоналу. Прежде не публиковалась. Живет в Санкт-Петербурге.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 16.05.2021. Дата выхода № 6 за 2021 г. в свет 18.06.2021.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.